

The book cover features a complex collage of historical and political imagery. At the top, the Brandenburg Gate is visible. Below it, a large blue and white flag with the letters 'OSI' is prominent. To the right, a small inset shows a portrait of a man in a military uniform. The bottom section includes a portrait of a man in a military uniform on the left and a group of people, some in military uniforms, on the right. The text is overlaid on yellow rectangular backgrounds.

*Михаил
Черненко*

*Чужие
и свои*



SHOUT
SHARE **IT**

Annotation

Документальный, полный ярких подробностей рассказ о том, как автор, тогда еще подросток, оказался в числе угнанных в Германию советских людей. После освобождения он стал переводчиком советской контрразведки, действовавшей на оккупированной немецкой территории, участвовал в арестах и допросах немцев, но в конце концов сам попал под подозрение и был отправлен в Советский Союз.

- [Михаил Черненко](#)
 - [Глава первая. Знакомство \(Харьков\)](#)
 - [Глава вторая. Эшелон](#)
 - [Глава третья. Лагерь \(Фюрстенберг\)](#)
 - [Глава четвертая. Штеттин](#)
 - [Глава пятая. Опять Фюрстенберг](#)
 - [Глава шестая. Берлин](#)
 - [Глава седьмая. Красная Армия](#)
 - [Глава восьмая. Оккупация](#)
 - [Глава девятая. «Смерш»](#)
 - [Глава десятая. Оперсектор, или Ge-Pe-U](#)
 - [Недосказанное](#)

Михаил Черненко
ЧУЖИЕ И СВОИ
Документальная повесть

Глава первая. Знакомство (Харьков)

Часов в шесть или в половине седьмого утра мы с соседом Абрамом Ефимовичем шли домой из очереди за хлебом. К открытию магазина, к девяти, кому-то надо было туда возвращаться и стоять уже до конца, пока привезут и будут «давать» хлеб по карточкам.

Это был сентябрь сорок первого года, бои шли уже под Киевом. Абраму Ефимовичу предстояло еще после ночного стояния в очереди идти на работу, он был зол и сказал, что лучше уж пусть поскорей приходят немцы. И если его семье будет тогда полагаться не по триста граммов хлеба, как сейчас, а по двести, потому что они евреи, то свои восемьсот грамм на четырех человек он будет получать без всяких очередей. Потому что немцы — очень организованный народ, у них порядок должен быть во всем. А очередь за хлебом по карточкам — это советское безобразие...

Многие уезжали в эвакуацию со своими заводами или учреждениями. Бабушка сушила из сэкономленного хлеба сухари, говорила «не знаю...» и вспоминала, как в 1918 году в Житомире тоже стояла какое-то время немецкая армия, и ничего — офицеры были вполне приличные люди. Отец пожимал плечами и о чем-то советовался с сослуживцами. Он работал в юридической консультации, был защитником, так раньше называли адвокатов.

«Если завтра война, всколыхнется страна...» А дальше, согласно этой песне, «и на вражьей земле мы врага разгромим малой кровью, могучим ударом...». Ну хорошо, пусть временное отступление. Я был уверен, что скоро всё изменится и фашистов прогонят.

Занятия в школе не начинались. Одноклассники, уезжавшие со своими родителями, не вызывали у меня зависти или презрения. Мне это представлялось чем-то вроде отступления по приказу. И соответственно, я немного даже гордился — а я вот не уезжаю, «я не отступаю». Но как бы там ни было, а все у нас дома хорошо понимали, что никак нельзя так вот просто, даже ненадолго, остаться при немцах маме. Хотели подделать ее паспорт: стереть слово «еврейка» и вписать «русская» или «украинка». Ни отец, ни мама, ни тем более бабушка, с тушью обращаться не умели. Дали мне. Я попробовал для начала смыть какую-то точку или хвостик буквы в другом месте. Сразу полезло пятно, а то, чем пишут в паспорте, не поддавалось нисколько. Ничего не вышло и из попытки соскоблить какую-нибудь букву —

сразу делалось заметно.

Потом, когда уже стало ясно, что Красная Армия уходит, а мы никуда не уехали, паспорт «потеряли» — изорвали на кусочки и сожгли их. А живший в нашем же доме служащий домоуправления, как тогда назывались будущие ЖЭК, РЭУ и так далее, старый уже человек Иван Иванович Полунин тайно выдрал в домовоей книге страницу, на которой были записаны сведения из маминого паспорта. И заполнил все заново на другой странице. Как это можно было сделать незаметно? Может быть, наша семья была записана на последней заполненной странице, а дальше шли уже пустые, потому что буква «Ч» в конце алфавита. Или потому что номер нашей квартиры был один из последних в доме. Точно не знаю.

В конце октября (в теперешней энциклопедии написано, что 25-го) в Харьков вошла немецкая армия. За несколько дней до этого не стало электричества; все знали, что электростанцию взорвали. Перестала идти вода, еле-еле текла из крана только в подвале. Заводы еще с лета эвакуировались, и последние несколько дней в городе было безвластие — какие-то типы бегали по улице и били окна; магазины, если там еще что-то оставалось, разграбили. С кондитерской фабрики жители тащили целыми мешками какао-бобы.

Во второй половине дня мы увидели сверху, из окна нашей квартиры на пятом этаже, солдат с автоматами. Они были в незнакомой чужой форме.

А стрельбы не было, во всяком случае, на нашей улице и поблизости. Прошло дня два или три, и взрослые стали понемногу успокаиваться — вот, смотрите, никого не режут, не убивают. На улицах встречаются немецкие патрули, хорошо вооруженные солдаты, и офицеры в добротном обмундировании. Тишь да гладь, разве нет? Ничего похожего на то, что еще несколько дней назад нам внушали газеты и радио.

И тогда меня в первый раз отпустили из дому. На разведку.

С одноклассником Юркой мы топаем по улице Дзержинского и глазеем по сторонам. Прохожих почти нет, занявших наш город немцев тоже. Издали видим: у какого-то дома стоит часовой. Ну и что, какое ему до нас дело? Ан нет: часовой шагает навстречу, сгребает нас и показывает в подворотню. Шагайте, мол, туда.

Во дворе стоят автомашины, солдаты их разгружают и носят в дом какие-то тюки и ящики. Нам суют в руки ведро и щетку, дают тряпки и велят, сопровождая немецкие слова повелительными жестами, эти машины мыть. Ничего не поделаешь — попались. Отскребаем грязь, таскаем воду из подвала. Когда с первой

машиной покончено, приходит офицер. Осматривает нашу работу, качает головой и объясняет по-немецки, что мы ее сделали плохо — там не отскребли землю с рессор, тут не отмыли. С некоторым удивлением обнаруживаю, что, хотя далеко не все слова мне известны, я его речь понимаю. Вот уж не думал про такое, когда учил немецкий в школе, да еще мама меня учила...

Приходится мыть снова. Потом второй грузовик, потом третий. Мы порядком испачкались и устали. Осталась только советская легковушка «М-1», на ней видны пробоины. К нам подходит солдат, говорит «komm!» и показывает, чтобы мы шли за ним. Чего им еще надо?

Нас приводят в комнату на первом этаже, там столы, вокруг них стулья и табуретки. Показывают — садитесь. И солдат в белом переднике поверх военной формы кладет перед нами вилки и ножи (!) и ставит тарелки с картошкой, перемешанной с кусочками мяса. Чудеса! А хлеба на столе почему-то нет.

После этого неожиданного обеда мы домыли последнюю машину, и нас отпустили. Расходились мы с Юркой по домам в детской уверенности, что ничего плохого нам и дальше от немцев не будет.

А дома меня ждали уже в панике, и тому были свои причины. Не всех кормили в тот день немецким обедом...

У нас дома много лет стояла в буфете бутылка вина, о назначении которой и причинах такого долгого хранения я не раз пытался дознаться. Родители улыбались и отвечали нечто невразумительное. Став постарше, начал подозревать, что хранят ее к какому-то неординарному семейному торжеству. Может быть, к моему совершеннолетию. Или к серебряной свадьбе родителей. Так вот, решилась судьба вина очень просто. Немецкие солдаты, ходившие в тот день по квартирам нашего дома «с обыском», обнаружили его и унесли — так сказать, реквизировали на военные нужды заодно с какими-то попавшимися им на глаза припасами: сахар там был, бутылка постного масла...

А из соседней квартиры уже выгнали семью Абрама Ефимовича, и они ушли жить в подвал.

Перед войной отец был уже довольно известным в городе адвокатом. И у нас дома случались посещения бьющих челом просителей с приношениями. Отец обычно кипятился, пытался выпроводить ходоков; бабушка его урезонивала — раз уж имеешь с ними дело, не обижай людей. Это, дескать, не взятка, а благодарность; только объясни им, что платить гонорар в юридическую консультацию им все равно придется.

Так вот, через несколько дней после того «обыска», рано утром раздался настойчивый стук в дверь. Все переполошились, бабушка пошла открывать, и в квартиру ввалились три или четыре гражданки разного, в том числе юного, возраста, во главе со здоровенной теткой, укутанной в пуховый платок. В руках у тетки — корзинка с припасами. Тетка бухается в ноги отцу и голосит: «Ой, Борис Сергеич, ой, батенько ридный, рятуйте! (Спасайте, по-украински.) Гришку забрали!»

Тетку с трудом подняли с колен и стали расспрашивать. Прежде всего: кто забрал? «Полицаи...» Выясняется, что Гришка — это теткин сын, уже дважды побывавший в подзащитных у моего родителя по причине нанесения гражданам телесных повреждений. И вот недавно Гришка опять напился и набил морду соседу. А брат соседа, «як нимци прыйшли», пошел служить к ним в «українську поліцію». Сосед нажаловался брату, и вот — «другий день, як Гришки нэмае...».

Довольно долго отец, чуть не плача, объяснял тетке: поймите, пожалуйста, я теперь никто, ни милиции, ни суда больше нет, ко мне тоже приходили с обыском... А та повторяла и повторяла свое. Так и ушла, наверное, в надежде, что адвокат, защитник, поможет буяну Гришке выпутаться и на этот раз.

Ничего хорошего не приходится ждать и от подделки в домово́й книге. Потому что через несколько дней после прихода немцев появился управдом, которого уже довольно давно никто в доме не видел. Первым делом он стал проверять домовую книгу и вскоре добрался до той самой страницы. И стал спрашивать Ивана Ивановича, не лазил ли кто в книгу. «Вот тут написано, что жена Черненко — русская», а ему, управдому, вроде бы помнится, что было записано не так... И что, мол, думает об этом служащий домоуправления Иван Иванович?

Иван Иванович, едва дождавшись, чтоб тот ушел, пришел к нам и рассказал об этом. Рассказать-то рассказал, а что, если управдом станет копать дальше и спрашивать паспорт?

Разносится слух, что где-то за городом, за Тракторным заводом, собирают мерзлую свеклу — ее посеял пригородный совхоз и не успел убрать. Так вот ее выкапывают теперь из уже начавшей подмерзать земли и что-то из нее готовят. Кто-то из соседей там уже побывал, свеклу принес, ее готовили и ели, и сосед уверяет, что это очень вкусно и даже напоминает тушеное мясо. И вот ранним утром мы с отцом отправляемся за этой свеклой. Уже по дороге становится понятно, что туда идут сотни людей. За тем же самым.

Мой папа совсем не силач, он полный и квелый. Ему должны

были делать операцию, с ней что-то не вышло, и он постоянно носит под одеждой бандаж. Такое устройство вроде широкого толстого пояса с зашитой в нем стальной полосой. Она прижимает ему низ живота — от грыжи. Так что идем мы плохо, нас все время обгоняют. Когда мы часа через полтора приходим к этому полю, там уже копошатся, наверное, тысячи. Земля замерзла, руками не откопаешь. Вблизи уже все копано и перекопано, надо плестись по этому полю куда-то дальше. Мы идем, ищем, где торчит из-под земли замерзшая или сгнившая ботва. Совок, с которым мы пришли — лопаты у нас нет, — гнется; выковырять из земли грязную замерзшую свеклину трудно. За два часа работы — я пытаюсь рыть мерзлую землю, отец кладет добычу в торбу и волочит ее по полю за мной — набирается с грехом пополам десятка два этих корнеплодов. Мы тащим добычу домой, отец едва плетется...

Бабушка и мама качают головами. Вечером растапливают чем-то плиту — почти во всех квартирах их, к счастью, не разрушили, когда год или два назад проводили чудо науки и техники — газ. Бабушка, замечательно умеющая готовить, колдует с нашей добычей, неодобрительно качая головой. Вечером на столе появляется сковородка с неаппетитно выглядящими серыми кусочками неизвестно чего. Едим. Обещанный «вкус тушеного мяса», мягко говоря, не ощущается. Довольно противно и никакой сытости.

День или два вода еще шла из кранов еле-еле, потом перестала течь совсем. Весь дом ходил в подвал с ведрами. Потом и тот кран опустел. Нашлась какая-то колонка — кран с водой в переулке не очень далеко от нашей улицы, и там стали собираться длиннющие очереди людей с ведрами. Потом воды не стало и в колонке, и всем пришлось ходить «вниз» — в низину за городским садом, километра за два от нашей улицы. Когда выпал снег, ведро или бачок можно было везти на санках, а до тех пор носили в руках. Причем воду могли по дороге отобрать немецкие солдаты, у них ее тоже не было.

Один из них и забрал у меня однажды два ведра воды, которые я пер оттуда, из низины. Это случилось почти у самого дома.

Отобрал, можно сказать, еще по-благородному: заставил вылить воду в какой-то их бак, а ведра оставил мне. Возненавидел я его всей возможной в мои пятнадцать лет ненавистью и очень долго относил ее ко всем соотечественникам того солдата.

Прошло совсем немного времени после того, как к отцу

приходили просители за посаженного полициями Гришку. И однажды в нашем доме, как, наверное, и везде, жильцы стали шепотом передавать друг другу, что на площади Дзержинского казнили людей. Мы с соседскими мальчишками пошли туда узнать. По улице в ту сторону молча шло довольно много людей, и сразу чувствовалось, что ничего хорошего нас там не ожидает.

Так оно и оказалось. На известном всему городу доме обкома партии к перилам балкона были привязаны толстые веревки. На них висели мертвые люди со связанными за спиной руками. У каждого на груди — кусок фанеры с крупной надписью. На одной из этих фанерок было написано корявыми буквами, что Григорий такой-то — это был сын той тетки, что приходила искать защиты у моего отца, фамилию их я не помню, — «повешен как убийца и поджигатель».

Так эта новая власть заявляла нам о себе.

Ночью проснулись от сильного грохота. Взрыв! В окно было видно, как за домами, наверное на соседней улице, к небу поднимается столб пламени. Все уверены, что «взорвалось у них» — у германской армии. Где-то воет сирена, проносятся машины.

Пожар продолжался до рассвета.

А утром из квартиры в квартиру шепотом передавали: взорвался «дом Косиора», известный всему городу особняк секретаря украинского ЦК, исчезнувшего, как многие другие, в конце тридцатых. После него в особняке поселялся каждый следующий главный партийный секретарь — уже обкома, после того как столица Украины перешла в Киев. И немцы, конечно, тоже заняли этот дом под какой-то свой штаб.

Очень скоро стало известно, что немецкие военные начальники там же, в своем штабе, и жили. Теперь их хоронят в городском саду. Ставят таблички: генерал такой-то, полковник такой-то. И так далее, десятка два табличек.

Все уверены, что в городе действуют партизаны, и ждут. Но взрывы не повторяются.

Скоро у нас дома не осталось никакой еды. Продать что-нибудь из вещей в городе практически невозможно. Да и пытаться бессмысленно — не дадут ни гроша. Надо идти в деревню — «менять»: городские вещи, например хорошую одежду, на продукты питания. Меня соглашается взять с собой пожилой дядька Валентин Николаевич из соседнего дома, у него в деревне родственники.

Все уже знают: чтобы идти за город, нужно разрешение. За

ним обращаются в районную управу. Выстаиваю в очереди, показываю метрику. В то «старое доброе время», когда я родился, в свидетельстве о рождении ничего не писалось про национальность родителей, так что в этом смысле со мной было все в порядке. Мне выдали справку, в ней написано (по-украински, конечно), что мне разрешено до такого-то числа выходить за пределы города Харькова.

В дорогу у меня было крутое яйцо, наверное из каких-то бабушкиных тайных запасов, и кусок макухи. (Объяснение для сегодняшнего поколения: макуха — это жмых семян подсолнечника. То, что остается, когда их на маслобойной фабрике дробят и отжимают из них будущее постное масло. Вперемешку с лузгой, естественно. Макуха была одним из немногих продуктов, которые продавались за советские деньги на возобновившемся вскоре после прихода немцев харьковском главном рынке, именовавшемся «Благбаз»: Благовещенский базар, такое вот христианско-советское сложное слово по имени находящейся рядом с рынком церкви. Продавали макуху плоскими кусками; часто круглыми, похожими на точильный камень. Она пахла подсолнечным маслом. Когда грызешь и понемножку прожевываешь, очень даже забивает голод, хотя и не надолго.)

Прошагав целый день, мы без особых происшествий добрались до села Веселого, вот такое хорошее имя. И там легко нашли — все друг друга знают — родственников Валентина Николаевича. Они нас накормили досыта горячей вареной картошкой. Утром я ходил по избам. «Тетя, вам не надо отрез на платье или мужские туфли сорок первый номер?» В ответ объясняют, что надо не туфли, а спички. И мыло. Спички у меня с собой были — коробков, наверное, пять. И еще иголки, потому что в городе было известно, что это очень ходовой товар. С иголками и спичками дело пошло лучше.

Давали мне борошно — зерно, по-украински, немолотые зерна ржи или пшеницы. Да только не в тех количествах, на которые рассчитывала бабушка. Какая-то тетка взяла иголки и, явно меня пожалев, насыпала целую меру — такой довольно большой черпак, литров, наверное, пять. Еще сменял новый шерстяной шарф, за который дали полведра пшеницы. Вот и все. И уже когда мы собрались уходить, хозяйка избы, поохав и покачав головой, взяла у меня еще какие-то вещицы, насыпала мне в торбу еще с ведро зерна и дала (сказала, в придачу) кусок сала — граммов, наверное, триста.

Хозяйка нас на прощание плотно накормила и посоветовала,

чтоб не возвращались той дорогой, которой пришли: там полицаи могут запросто отобрать продукты. Сказала, чтобы мы шли в другую сторону, на деревню с красивым именем Черкасские Тишки. От нее можно выйти на шоссе, по которому ездили до войны. Это дальше, зато безопаснее. А по шоссе идет в сторону города много народу. Там ездят немецкие автомашины, поэтому полицаям не до саночников и они меньше придираются.

Утром того дня мороз был покрепче, чем накануне. Яркое солнце, снег блестит, дым из труб медленно тянется к голубому небу. Собрали мы санки, увязали поклажу и, попрощавшись с хозяйкой, пошли, куда она показала. Это была занесенная снегом дорога, вернее, самой дороги под снегом видно не было, но вдоль тянулись столбы. Провода на них висели только кое-где, остальные были оборваны. Мои санки были плохие — «финские», на которых я года за два или три до этого катался с горки. Тащил я их, хоть и не тяжелые, с трудом. И холодно мне сначала не было. Но очень скоро снег пошел сильнее, его мело в лицо обжигающим ветром, а телеграфные столбы постепенно становились едва видны. Приходилось уже останавливаться и вглядываться, чтобы не потерять столбы, и при этом почему-то оказывалось, что столбы гораздо дальше, чем я думал. Вспомнил «Капитанскую дочку» Пушкина — как молодой Гринев с Савельичем едут зимой в кибитке...

Валентин Николаевич тоже оказывался где-то в стороне, он чертыхался и звал меня. Потом он совсем пропал из виду, откуда-то издали донесся его голос, а я никак не мог вытянуть санки из очередного замета; руки стали как чужие, а нос и щеки я, кажется, совсем перестал чувствовать. Тогда я повернулся к ветру спиной, но это получилось — лицом в обратную сторону от той, куда нам идти. Стал оглядываться. Было непонятно, где какая сторона. Вокруг свистит, метет, а я топчусь посреди этой кромешной зги. Холод пролез уже под одежду, ноги совсем зачоченели. Я присел на корточки и пригнулся, чтоб хоть немного защититься от ветра.

Кажется, стало теплее. И захотелось прилечь — просто так. Ну, может быть, задремать на минутку.

И тут со всей отчетливостью давно читанной детской книжки я вспомнил, что так замерзают насмерть. И что если сейчас же не поднимусь и не пойду дальше, пусть из самых последних сил, то мне — как.

С трудом поднялся на ноги. Потянул санки за веревку, руки уже тоже плохо слушались. Потом услышал голос чертыхающегося Валентин-Николаича. Он шел почему-то в другую сторону, мне навстречу. Пурга, кажется, чуть потише, но в

поле становилось все темнее. Телеграфных столбов совсем не видно.

И мы, еле передвигая ноги, поплелись. Уже просто наугад. Через сколько-то времени, совершенно не могу сказать, было это десять минут или два часа, впереди послышался лай. А потом мы увидели что-то светящееся. Окно!

Нас пустили в избу. У меня отморожены щеки и подбородок, пальцы на ногах. Валентин Николаевич отморозил нос и пальцы на руке.

Метки от этого похода — мерзнувшие зимой пятна на лице оставались на мне лет тридцать. Потом вроде бы сошли понемногу.

Как и в любом оккупированном гитлеровским войском городе, наступил страшный день развешанных на улицах объявлений: «Жидам города Харькова...» Я это, естественно, не списывал, помню не дословно, а суть. Там приказывалось «всем жидам города Харькова» такого-то числа, это был завтрашний день, идти к восьми часам утра в поселок Тракторного завода. (Завод выпускал в начале войны танки, его еще летом эвакуировали на восток.) Что надо иметь при себе продукты, теплые вещи, документы, все свои деньги и ценности. Что не подчинившиеся приказу «будут расстреляны». Подписавшим значился какой-то высокий немецкий начальник, кажется генерал.

Самое поразительное, что у нас дома, когда я примчался с этой «новостью», взрослые, всячески стараясь поначалу выпихнуть меня из комнаты, до самой ночи в чем-то еще сомневались и без конца спорили — идти туда маме или не идти. Звучало и такое: идти маме с папой вдвоем. Ведь если не подчиниться и не идти, то куда же деваться? Во второй половине дня бабушка ушла к своей сестре, у которой был дом в дачном поселке километрах в двадцати от города: узнать, не разрешит ли она маме там пожить. К тому времени я уже полным ходом встрял во все эти разговоры. Попрекал отца, повторял, что надо было эвакуироваться. И что пусть все что угодно, но только не на Тракторный. В общем, день этот для нашей семьи поставил, что называется, все точки над «и».

Бабушкина сестра сказала, что пожить у нее маме можно, но недолго. Кто-нибудь дознается, и тогда могут отобрать дачу. У бабушкиной сестры были, кроме того, большие счета к советской власти, потому что обоих ее сыновей арестовали в тридцать седьмом году и об их судьбе ничего не было известно. И очень может быть, что она уже надеялась больше на немецкую власть,

чем на советскую.

Споры взрослых тем не менее не кончились, и совсем поздно вечером меня спровадили спать. А ночью ко мне прибежала мама в слезах и сказала, что сейчас она будет собираться и мы с ней пойдем в дачный поселок. Что я понесу вещи, провожу ее, но там с ней не останусь, потому что так они решили: «тобой не рисковать».

Рано утром, когда мы с мамой уходили из города, сотни людей шли с вещами в сторону Тракторного, в гетто.

Наверное, многие из них верили, что останутся в живых...

А моей деревенской добычи хватило ненадолго. Через сколько-то времени, когда морозы отпустили, отправились мы снова в деревню «менять», на этот раз уже вместе с отцом. Пошли опять в Веселое, просто потому, что туда я знал дорогу. Добрели на второй день. Какая-то женщина признала меня, пустила ночевать. Утром походили по избам, чего-то наменяли; отец был даже доволен. А главное — будет что отнести маме. И вот, собрав санки с небогатой добычей, вышли мы, чтобы двигаться в обратный путь, — как прямо на деревенской улице нас остановил полицейай. И с какими-то угрожающими словами и соответствующим выражением лица повел за собой.

Спрашиваем, за что, в чем дело? Отвечает, что «кажут (говорят), що вы жидаы...».

Отец возмущается: «Я украинец!» — тычет тому советский паспорт. Полицейай отмахивается и бурчит, что не его это дело.

Привели нас в «комендатуру» — какую-то избу, в которой грелись деревенские полицейай. Посадили за барьер. С перепугу, наверное, я спросил у полицейая, показавшегося мне вроде бы добрей других: что с нами будет, мы же украинцы... «Якщо жидаы, — отвечствовал служитель оккупационной власти, — мабуть (может быть, наверное), повисять».

Хорошо помню, что я почему-то не испугался. «Внутренне собрался», наверное, как пишут в романах. Сидим, ждем. Отец нервничает.

Вскоре появился старший — хмурый мужчина средних лет, в цивильном. Не обтрепанный, но и не то чтобы хорошо одетый. Городское неновое пальто, валенки. Оглядел нас подозрительно, сел, достал карандаш и приступил к процедуре: «Як фамилия? Имья та по-батькови?» Отец отвечает: «Черненко Борис Сергеевич и мой несовершеннолетний сын Миша».

И тут вместо ожидаемых «других» вопросов происходит нечто удивительное. Предводитель полицеев вскидывается, поднимается с табуретки и, словно в ожидании чего-то

приятного, пялит глаза на моего отца:

— Борис Сергійович? Дз вы працывалы за бильшовыкыв?

— Я защитник, адвокат, — отвечает отец.

А мрачный полицай, расплывшись в улыбке, бросается его обнимать.

Кричит: «Борис Сергеич! Так я ж Грыщук! (Фамилия — приблизительно; я ее не запомнил.) Вы менэ оборонялы (защищали) по эс-вэ-у!»

Через минуту я понял, что нас собирався допрашивать бывший подзащитный отца по какому-то политическому делу тех тридцатых годов, когда еще судили судом, а не «особым совещанием». Что СВУ — Союз вызволения, т.е. освобождения, Украины (от советской власти, разумеется), а суд по таким делам был закрытым. Адвоката назначала какая-то инстанция, ему полагалось только «ознакомиться с делом» и произнести некую слегка защитительную речь перед этим секретным судом. Насколько помню со слов отца, обвиняемый при этом не присутствовал, и адвокат его так ни разу и не видел. Такая вот юстиция.

...Зато теперь в селе Веселом нас с отцом, вместо процедуры, упоминавшейся хмурым конвоиром, тут же отпустили на все четыре стороны. И еще снабдили на прощание полбуханкой хлеба и советом отцу — не попадаться старостам и полицаям, «якщо вы такий чорнявий, як жид».

Если повезет, то, как известно, везет и дальше. Полицай доверительно посоветовали поспешать: неподалеку на дороге лежит пристреленная лошадь — разживетесь мясом. Мы послушались. Лошадь нашлась километра через полтора, и с помощью какого-то ножика, который был у нас с собой, чтоб отрезать, если придется, хлеба, нам удалось отковырять от уже начавшей замерзать туши здоровенный кусок, целое богатство. Мясо к тому времени уже было совершенно недостижимой роскошью.

На обратном пути отец сказал, что, если вернутся наши, он будет проситься на работу в НКВД. Его еще долго трясло от пережитого с полицаями.

До города добрались к вечеру следующего дня, попасть домой до комендантского часа уже не успевали. Пошли проситься на ночь к жившему поближе сослуживцу отца Маркову. У них было почему-то тепло, нас накормили и оставили ночевать. И еще был замечательный сюрприз: туда пришла мама. Оставаться у бабушкиной сестры было уже нельзя, и маму спрятала у себя родственница Марковых, она жила в соседнем с ними доме.

С моими родителями она до этого не была даже знакома.

Стал чуть-чуть оживать базар. Не было прилавков или навесов — их давно пожгли; просто толклись люди; один у другого что-то спрашивал, вдвоем отходили в сторону, и там происходила сделка, торговля — с рук в прямом смысле слова. Из «товаров» на базаре хорошо помню те самые какао-бобы, что разграбили пред уходом Красной Армии с кондитерской фабрики. Их было чуть не изобилие, во всяком случае, больше предлагали, чем спрашивали. На вкус они горькие и маслянистые. Только нам было не до шоколада... Еще хозяйственное мыло — у кого-то, наверное, оно сохранилось, но чаще всего у продавца был только один кусок. Уже упоминавшаяся макуха, подсолнечные жмыхи. И еще там продавали — совершенно уже из-под полы, потому что за такими продавцами охотились полицаи, «немецкий хлеб» — буханки кирпичиком, которые получали немецкие солдаты и офицеры. И сало — в небольших кусках, грамм, наверное, по двести или триста, чтобы продавец и покупатель, если кого-то из них прихватит полицай, отделались малым...

Постепенно как бы вернулись советские деньги. Солдатский хлеб стоил на базаре триста или четыреста рублей буханка. (Перед войной зарплата в шестьсот рублей считалась неплохой.) Еще ходили оккупационные марки — немецкие деньги, но народ хорошо понимал, что они ненастоящие, их старались не брать. А настоящих немецких денег в тогдашнем обороте, насколько я могу судить, не было.

Добытое в деревне зерно толкли в ступе и варили из него кашу. Потом появились самодельные ручные мельницы наподобие нынешних кофемолок. Два куска жести, на них выбито множество дырочек с заусеницами от гвоздя. Один прикреплен к деревянному конусу или цилиндру, другой — внутри корпуса «мельницы». Одно в другом надо чем-то крутить, тереть. Самодельные эти мельницы были большой ценностью, у нас дома такой не было, одалживались у соседей. Из размолотых в такой штуке зерен пшеницы, ржи или ячменя получалось что-то вроде крупы или даже грубой муки; из нее варили болтушку или замешивали некое подобие теста, пытались печь лепешки.

У кого-то в подвале осталась картошка, расходовали ее по штуке или две, очистки тоже пекли на раскаленной железной поверхности печки-буржуйки или плиты. Они, картофельные очистки, превращались в нечто приятно пахнущее и аппетитное, только очень уж уменьшались в размерах, и сытости от них не получалось никакой. Пробовали смазывать сковородку или противень свечкой. Ничего не получалось: стеарин сразу

застывал, превращая продукт в несъедобный. А вот воск, у кого был для натирки пола, для этого вполне годился. Лепешка или оладья, испеченная на воске, была очень вкусной...

Чтобы затопить печку, надо раздобыть хоть какие-то доски или палки. Везде, где еще оставались деревянные заборы, их сломали и растащили. Мебель и книги мы решили не жечь, что бы там ни было. Если же удавалось найти хоть какие-то обломки дерева, то натопить комнату все равно было невозможно, и дома у нас был мороз. Воды в водопроводе по-прежнему не было, и, соответственно, канализации как бы не существовало, она замерзла. По утрам жильцы выносили ведра, и во дворе пятиэтажного дома росла гора из смерзшихся нечистот.

Так весь город.

Не знаю, везде ли, а в Харькове адвокаты были по большей части людьми беспартийными. Наверное, поэтому немцы старались вовлечь кого-то из них во власть. Однажды отец пришел домой в ужасе — защитник служит районным бургомистром и затеял «проверку» коллег: полицаи приводят к нему бывших сослуживцев и он их самолично «обследует» в своем кабинете.

Отец попытался заработать на пропитание подушечками, это такие самодельные конфеты из патоки. Кто-то давал ему пятьдесят или сто этих подушечек, и отец продавал их на базаре по штуке. Замерзал он там сильно, но потом стало получаться — ему оставалось от двух или трех таких порций около двухсот рублей. И тогда отец приносил домой полбуханки хлеба. Или пяток самодельных лепешек, которыми тоже кто-то уже стал торговать. Но всего этого было совершенно недостаточно, чтобы прокормиться.

У отца хранились золотые часы с гравировкой; они остались еще от деда, с которым бабушка разошлась очень давно. И вот кто-то сказал отцу, что их можно продать немецкому офицеру за продукты. И отец, когда шел утром на базар торговать леденцами, взял эти часы с собой, чтобы показать их или передать тому человеку. А вечером домой он не вернулся: его арестовали, прямо на базаре. То ли полицаи, то ли немецкий патруль, никто точно не мог сказать. В золотых часах было дело или так вышло случайно, мы никогда не узнали.

Пробовали спрашивать, искать — ходили в бывшую тюрьму НКВД, где теперь хозяйничали полицаи, и в какой-то дом на главной улице Сумской, про который говорили, что там гестапо, — все без толку. В общем, через несколько дней мы с бабушкой поняли, что остаемся вдвоем.

Были мы в это время как нищие. Нас иногда звали соседи, чтобы немного покормить. Я опять ходил в деревню по начавшейся распутице, теперь уже километров за пятьдесят, менять какие-то вещи. Вернулся еле живой, с трудом дотащил санки с добычей — два ведра зерна и бутылка из-под водки с подсолнечным маслом. Потом какое-то время нас с бабушкой выручал человек, который считался большим прислужником фашистов, — поставленный ими «обер-бургомистр» всего Харькова адвокат Семененко.

Бабушка пошла к нему просить за отца, ее легко пустили. Бабушка мне рассказала, что Семененко разговаривал с ней сочувственно; сказал, что арестовало, наверное, гестапо и узнать у них он ничего не может. И дал бабушке талоны на обед и бургомистровскую столовку на всю неделю. Велел никому не говорить и приходить еще.

И недели две я ходил каждый день с этими талонами и с кастрюльками к какому-то окошку во дворе рядом с бывшим кино на Сумской улице, стоял там в очереди и приносил домой самый настоящий обед — суп и второе. Еще до этого раза два кормил нас бесплатно бывший завмаг и подзащитный отца Абрам Павлович, который был, конечно, украинцем; он открыл что-то вроде частной столовой.

Но все эти чудеса быстро кончались.

Мы с бабушкой постепенно переставали верить, что отец вернется. Ведь если он жив, то хоть что-нибудь нам бы о нем сказали. И с маминым нелегальным житьем стало к этому времени совсем плохо — люди боялись ее прятать. А кто соглашался пустить к себе хоть на несколько дней, те не разрешали приходить к ней, чтобы у соседей не было лишнего повода что-то заподозрить. Встречаться, чтобы передать еду, надо было на улице. Пока был с нами отец, это как-то происходило через его знакомых, а потом, к концу зимы, стало так, что мы с бабушкой подолгу ничего не знали про маму.

Проще говоря, не знали, жива ли она.

Вроде бы началась понемногу весна, дома уже хоть немного теплее. И вот в это время я стал впадать в какую-то апатию. Терял ощущение происходящего, наподобие того, как зимой в поле, когда замерзал. Но встряхнуться не мог. Скорее всего, и не сознавал этого. (Это, конечно, теперешние слова, тогда никаких слов просто не было.) Не хотел идти за водой. Ведь что с ведром воды, что без него — какая разница? Не мыться же... Еды дома никакой, и нечего отнести маме, если она даст о себе знать.

Пропадаем мы, это очень даже ясно.

И вот в один из таких дней, это было уже, наверное, начало мая, пошел я отмечаться на «биржу труда», такой был заведен в городе порядок. Без этой отметки в бумажке, которую полагалось носить при себе, могли прямо с улицы забрать полицаи.

Там мальчика и прихватили...

На листке размером с половину тетрадной страницы, который мне дали вместо отметки биржи труда, мои имя и фамилия были вписаны в отпечатанную форму из таких примерно слов: «Мобилизован на работу в Германию, явиться для отправки на железнодорожную станцию Харьков по адресу такому-то такого-то числа к такому-то часу, имея при себе исправные одежду и обувь, это предписание и продукты питания на одни сутки...»

Было это напечатано по-русски или по-украински — не помню. Подпись-закорючка немецкими буквами. Продуктов у нас дома к тому времени все равно не было. И еще запомнился, прямо как отпечатался в памяти, молодой немец, который этот документ выдавал. В желто-зеленой форме, но без погон, значит, не военный. Лицо совсем не немецкого типа. Одно плечо ниже другого. Говорил на ломаном русском доброжелательным тоном.

Отнесся я к происшедшему почти равнодушно. Не сейчас, так в другой раз заберут, какая разница...

Сколько же раз потом меня про это спрашивали и допрашивали! Почему не сбежал, почему пошел с этой бумажкой на сборный пункт, на станцию? Почему не спрыгнул с поезда? Раз не сбежал, значит, добровольно... Ковыряли, шпыняли, а также время от времени писали «куда следует» доносы. (Там, правда, и без них все знали.) Писателями были чаще всего те, кому происходившее в войну по-настоящему и не снилось.

Когда вернулся домой, бабушка, выслушав меня, помолчала, а потом вздохнула и сказала, что раз так случилось, то что ж поделать. Раз отправляют туда работать, значит, будут кормить. «Может, Бог даст, ты выживешь. Пусть хоть там...» — сказала бабушка.

До назначенного дня оставалась еще, кажется, неделя. А через день или через два к нам постучалась незнакомая девочка и передала записку от мамы. И сказала адрес, куда мне идти к ней.

Мама написала, что накануне едва не погибла, что нести еду не нужно, а нужно что-то из одежды, чулки попроще и платок на голову. Еще мешок или наволочку и какие-то мелочи — иголку, нитки, пуговицы. И чтобы я сжег письма, которые лежат в ящике ее стола, и пришел, куда скажет девочка. Обязательно сегодня, потому что завтра мама уходит надолго.

Мы с бабушкой сожгли в печке письма, собрали нужные вещицы, и я пошел. Встреч с немцами я к тому времени уже не боялся. Они, военные, как бы сами по себе, к нам обычно не лезут. А если придется, отвечал по-немецки, вспоминал уроки, которые раньше терпеть не мог, и, что называется, заговаривал зубы. Когда говорил с ними по-немецки, это оказывало хорошее действие. Уж по крайней мере, ведра с водой не отнимут. Лишь бы не полицаи.

Людей, у которых ждала мама, мужа с женой возраста примерно моих родителей, я не знал. Были они какие-то очень спокойные и основательные. Нас с мамой усадили за стол и сытно кормили, не помню чем, а помню, что очень вкусным. К сожалению, не знаю имени хозяина. Может быть, Иван Алексеевич, но я не уверен. Кажется, он работал до войны бухгалтером. Он мне как-то очень твердо втолковывал, что мы были вроде как совсем дураки, потому что нельзя же так, и что скрываться маме надо не в городе. А в деревне, и подальше от Харькова, где ее наверняка никто не узнает. И что завтра мама в такую деревню пойдет с его родственниками. Это в сторону города Сумы, уже не в Харьковской области.

И еще — чтобы мы не беспокоились, что все будет хорошо...

Была ли у мамы с собой хоть какая-нибудь немецкая бумажка, я не знаю. Наверное, профсоюзный билет или липовая справка из домоуправления, которую написал и поставил печать тот же святой человек паспортист Иван Иванович.

Я сказал маме про Германию. Мама, если можно так сказать, сдержанно пришла в ужас. Но сказала, как бабушка, что, может быть, я останусь жив.

И мы попрощались.

Глава вторая. Эшелон

Место, откуда отправляли в Германию, было на окраине. Довольно далеко от вокзала, которого, собственно и не было, его взорвали наши перед отступлением из Харькова. Какое-то обшарпанное одноэтажное здание, больше похожее на барак.

Собралось там довольно много народу, но было тихо — все помалкивали. У входа украинский полицаи указывал женщинам проходить куда-то дальше, а всех мужчин заворачивал к столу, рядом с которым сидел немец в белом халате, накинутом поверх офицерской формы. И каждый должен был, опустив штаны, показать то место. А немец в халате тем временем спрашивал на ломаном русском языке фамилию и сколько лет. Что-то записывал и после этого, потрогав пальцем в резиновой перчатке причинное место, кивал головой — проходи, мол, дальше. Я решил, что это они проверяют, не обрезан ли кто.

Что мне шестнадцать лет, я ответил по-немецки. Он спросил еще что-то и откуда я знаю язык; я сказал, что учил в школе. Застегнул штаны и огляделся. Неподалеку стояли в сторонке несколько человек, одетых лучше остальных, в том числе одна женщина. Еще я подумал, что ей, наверное, видно, как мужчины опускают штаны, и что как же так можно — женщине здесь стоять... А немец в докторском халате ткнул пальцем и сторону этой компании и велел мне стать туда же: «Будешь переводить!»

Один из тех людей, широкоплечий высокий мужчина в пальто и кепке, обернулся и стал внимательно смотреть на меня. Что называется, изучающе. Поманил пальцем, я подошел к нему. Спрашивает: «Тебя, пацан, как зовут?» Я ответил, что Миша, и спросил: а что? Он улыбнулся: «Я тоже Миша. Ты по-немецки калякаешь?» Наверное, он слышал, как я отвечал немцу в халате. Я сказал, что да, немножко.

«Давай сюда и держись за мной». — «А как вас зовут по отчеству?» Он посмотрел на меня как бы с удивлением, хмыкнул и ответил, что он — Михаил Иванович Сергеев, но отчество — это сейчас никому не нужно, и чтоб я его звал просто Мишей. «Вы взрослый, неудобно». Он усмехнулся и сказал, что неудобно штаны через голову надевать. Но если мне это важно, то можно для начала называть его дядей Мишей. А вообще же — помалкивать и слушаться.

Довольно долго ничего не происходило, только прибавлялось народу. Потом стали выпускать через другие двери во двор. Там

оказался железнодорожный путь, и на нем стоял состав — товарные вагоны с открытыми дверями и дощатым настилом внутри и несколько вагонов от пригородного поезда; до войны они назывались дачными. Вдоль поезда расхаживают немецкие солдаты и офицеры, почти все без оружия; разговаривают друг с другом, смеются. В общем, выглядело все это довольно легкомысленно, на охрану не очень похоже. Только один толстенький капитан суетился, кого-то подзывал, что-то приказывал то одному, то другому солдату. Солдат сразу вскидывался, выкрикивал: «Jawohl, Herr Hauptmann!» — и вприпрыжку, звеня привешенным на поясе котелком, бежал исполнять приказанное.

Возле вагонов я увидел девочку из нашей школы, мы молча переглянулись. Потом обнаружилась еще тетка из соседнего дома, которая хмуро на меня уставилась, но ничего не сказала. Молодой довольно противный дядька из компании Михаила Ивановича, тыча в мою сторону пальцем, стал объяснять немецкими словами тому капитану, что вот, дескать, этот мальчик может перевести, когда вам понадобится. Тот пробурчал «Ja-ja!», дальше слушать не стал и убежал куда-то. Капитан этот был начальником эшелона, а остальные военные, потом это стало понятно, просто отпускники; в немецкой армии солдатам и офицерам полагался отпуск. Кажется, с фронта домой раз в полгода на две недели.

Когда началась посадка, Сергеев позвал меня за собой, и мы залезли в дачный вагон, вместе с его компанией. Вдоль состава бегал унтер-офицер с двумя или тремя солдатами, в каждом вагоне назначали старшего и пересчитывали людей. Унтер записывал и выкрикивал кому-то числа — сверяли, наверное, сколько получается «пассажиров». Все это продолжалось довольно долго, начало темнеть. Мы с дядей Мишей тихо сидели рядом. В конце концов эшелон тронулся, но очень скоро опять остановился. Отсюда было видно, что это недалеко от вокзала, вернее, от его обгорелых развалин — вокзал взорвали наши перед уходом Красной Армии из Харькова.

Опять довольно долго стояли, а когда стало уже совсем темно, наверное около полуночи, началась воздушная тревога — прилетели наши. Где-то высоко вспыхивала вдруг осветительная бомба, спускающаяся на парашюте, и вокруг становилось светло; были хорошо видны рельсы, стрелки и уцелевшие железнодорожные постройки. Грохали взрывы, где-то стреляли зенитки. Видеть и слышать, как наши бомбят станцию, было приятно. Дядя Миша Сергеев толкал меня локтем в бок и

бормотал тихонько: «Видал? Вот так их! Эх, вдруг бы завтра...»

Через сколько-то времени самолеты улетели и пальба вокруг прекратилась. Вскоре эшелон тронулся. А про начинающееся наступление Красной Армии на Харьков в мае 42-го года, которое закончится поражением, и многие-многие тысячи погибнут или будут взяты немцами в плен, мы тогда ничего, конечно, не знали.

Поезд шел, нами никто не интересовался, и скоро я заснул сидя. А когда проснулся, было уже светло. И по солнцу было видно, что эшелон идет на юго-запад.

Первая большая остановка была на станции Знаменка; это в Кировоградской области по дороге на Одессу, так что было совершенно непонятно, куда нас везут. Меня позвали идти переводить, чтобы все приготовили котелки. Но после второго или третьего вагона немец понял, что остальным все уже известно и так и объявлять ничего не надо. Эшелон стоял часа два; раздавали густой суп из полевой кухни и по большой пайке хлеба. Хлеб был настоящий, хорошо выпеченный, он казался мне тогда совершенно замечательной едой или даже лакомством.

Дальше эшелон пошел уже на запад, через Белую Церковь. И где-то в этих местах, когда поезд долго стоял просто так на перегоне, появился возле нашего вагона какой-то тип, очень похожий на полицаю. В хорошем пиджаке, похоже — с чужого плеча; брюки-галифе, немецкие сапоги. На лоб свисает «чупрына» — этакий чуб, как бы запорожский. Морда хмурая, злобная. Спросил меня по фамилии и позвал за собой. Мы отошли в сторону. Спрашивает: «Это ты — Черненко?» — «Я». Он по-украински: «Скажи свое призвище». — «Черненко». — «Ще раз скажи!» — «Черненко...» Он скривился. «А ну, скажи «кукуруза»! — «Кукуруза». — «А ну ще раз — «ку-ку-ру-за»!»

Я никогда не картавил. Глядя на мерзавца почти ясными глазами, продекламировал еще несколько «кукуруз». Рожа собеседника перекосилась, выражая какие-то противоречивые чувства, наверное, как у собаки академика Павлова, про которую я читал в книжке еще до войны. Как же так — настучали, что в эшелоне еврей, а он не картавит! Постояв еще немного и что-то бормоча, полицай — это было общее для того времени название всех прислуживающих немцам — удалился, качая чубом. Пошел к своему вагону.

Удалиться-то он удалился, а как быть дальше?

Когда поезд тронулся, дядя Миша спросил подозрительным тоном: чего ему от тебя было надо? Больше по наитию, чем по какому-либо разумению, я ответил, что не знаю. Приставал, мол,

фамилию зачем-то спрашивал. К моему ответу дядя Миша отнесся, кажется, без особого доверия. Пробурчал что-то про мою чисто украинскую фамилию и велел к этому типу, если явится опять, не подходить: «Я с ним сам говорить буду. Не ... ему! А ты бы лучше держался поближе к гауптману, ... его мать, — понял?» Дядя Миша Сергеев, это я уже усвоил, часто выражался весьма крепко.

Проехали поздно вечером или ночью станцию Шепетовку, всем хорошо известную до войны. Она была пограничной, пока не освободили — так это называлось, и мы в это свято верили — Западную Украину и Западную Белоруссию, которые были в Польше, когда на нее не напала Германия. А на следующее утро, на каком-то уже заграничном для нас полустанке мы увидели в первый раз пассажирский поезд. Он стоял на соседнем пути, был весь из красивых заграничных вагонов, но выглядел очень странно. Вагоны были битком набиты хорошо одетыми людьми, которых из вагонов не выпускали, а вдоль поезда прохаживались с собаками-овчарками и автоматами на груди молодые парни в военной форме с черными петлицами — эсэсовцы.

Больше всего в вагонах было женщин и пожилых мужчин, можно даже сказать — стариков. Причем находились они там в страшной тесноте, буквально друг у друга на головах. Между пассажирами, это было хорошо видно через окна, громоздились вещи — очень много вещей. Большие кожаные чемоданы, детские коляски, велосипеды, и все это тоже совершенно не помещалось там, в купе заграничных вагонов, и торчало во все стороны. Кто-то сказал, что это везут богатых евреев из Франции. Или вообще из Западной Европы. И что, мол, понятно, куда их везут...

Мне и, наверное, многим другим это было тогда еще непонятно. Если фашисты загоняют евреев в гетто или хотят всех убить, то зачем же везти их через всю Европу в сторону СССР?

Паровоз погудел, охранники с собаками и без собак полезли в тамбуры. И тот эшелон ушел на восток. А наш вскоре тоже тронулся и пошел на запад.

На второй день пути я уже немного разбирался, кто едет с нами в вагоне. Тетка и противный — это был, наверное, ее муж — врачи. Он сначала на каждой остановке бегал по вагонам и старался быть рядом с капитаном, начальником эшелона. Но потом перестал — было ясно, что лечить пока некого. Пожилой дядька с портфелем, хорошо одетый и говорливый, назвался профессором и все повторял, что вот он едет в Германию и будет профессором теперь уже там. Дядя Миша при этих его словах

сказал что-то очень выразительное в своем духе, на что профессор обиделся. По каким наукам он был профессором, я не запомнил. Еще там было несколько человек, угрюмых немолодых мужчин, которые держались отдельно от всех остальных. С самого начала как уселись в углу, так больше ни с кем и не общались. Друг с другом тоже почти не разговаривали. Часто доставали из толстых больших портфелей свертки с продуктами, бутылки и стаканы. Прикладывались к ним и долго жевали; видны были только спины. Мы с дядей Мишей Сергеевым решили, что это какие-то бургомистры или другие важные шишки из полицаев. Непонятно было только, зачем их везут в Германию. На что они там нужны?

Какое отношение имел к этой публике дядя Миша Сергеев, было непонятно. Попробовал спросить его — кем вы были дома? «На заводе работал», — буркнул, нахмурившись, дядя Миша, всем своим видом показывая, что не надо задавать лишних вопросов.

Суп давали, кажется, еще только один раз — на второй день. Потом где-то, уже не помню где, выдали по полбуханки хлеба, сказали — это до конца пути, чтоб потом не спрашивали. Железная дорога, перестеленная немцами на их ширину колеи, была в Западной Украине и в Польше однопутная. Кое-где вдоль пути стояли старинные семафоры с опускающейся и поднимающейся «рукой». А с обеих сторон рельсов долго был густой необозримый лес. Если бы не идущий поезд, была бы, наверное, полная тишина вокруг. Я с грустью подумал, что там, в этом лесу, обязательно должны быть партизаны. Может быть, они даже видят нас. И что напасть на эшелон партизанам совсем нетрудно — подумаешь, два-три десятка немецких солдат, почти все без оружия! И что не нападают они и не собираются нас освободить по каким-то своим, нам неизвестным причинам...

Были это детские мечты-бредни, или я так рассуждал сам с собой — сказать не берусь. А всерьез одолевали меня мысли о приставах чубатого с «кукурузой» и — страх. Особенно после того, как на станции Люблин в Польше мы увидели первый раз в жизни людей в полосатой одежде. Штаны, что-то вроде куртки и колпак на голове — всё полосатое. Полосы то ли темно-синие, то ли черные по грязному белому. Если бы не эсэсовцы с автоматами за спинами этих людей, было бы похоже на неудачно пошитые пижамы.

Измощенные, небритые, люди в полосатом работают на путях под охраной эсэсовцев в каком-нибудь десятке метров от нашего эшелона. Молодой унтер-офицер пренебрежительно поясняет: это же евреи и уголовные преступники, чего их жалеть! А пожилой солдат-отпускник качает головой и мрачно

произносит непонятное слово. Кажется, «карцет». Что это такое, никто из нас не знает.

Потом будем знать, что это всего две буквы, К и Z. Так у немцев обозначают концентрационный лагерь. Один из них здесь рядом — Майданек, в котором будут уничтожены полтора миллиона человек.

В вагон, где мы ехали, набивалось постепенно все больше немецких солдат. Потом стали устраиваться и офицеры; наверное, они садились по дороге или им не хватило мест со своими.

Потянется ли дальше ниточка от чубатого полица, который приставал с «кукурузой», мальчик, разумеется, не знает. Но все равно боится. И видно, не зря. Прямо в вагоне, через одну-две скамьи от нас с дядей Мишей наш русский доктор пристаёт к немецкому офицеру. Не все слова знает, показывает на пальцах, но гнет свое: как, дескать, узнать про человека, не важно про кого, вообще — еврей он или нет? Офицеру, кажется, все это неинтересно, и он не очень понимает, чего этот русский к нему пристаёт. Долго молчит, вежливо слушает. Наконец меланхолически произносит: «Alle Juden sind beschnitten» — все евреи обрезаны. Чего ж, мол, еще?

Мало ли что! — не унимается активный доктор и опять вьжется к офицеру. Жестикулирует, повторяет, что «а если найн? ну, ниht обрезание?». Показывает пальцем, как пилят. Похоже, что офицеру это уже надоело. Он смотрит в окно, сопит и, наконец, объявляет, явно собираясь на этом закончить беседу: «Dan ist er eben kein Jude! — говорит немец уверенно, с нажимом. — Тогда он, значит, не еврей...»

Просто и ясно. Хорошо бы, и остальные так считали. Кажется, еще раз пронесло, но после такого второго звонка мне становится совсем уж неуютно. Сколько можно? И как на этой карусели выкрутиться?

Дело к вечеру, поезд идет все быстрее; говорят, это уже Германия. Последний для меня день в эшелоне (я этого, естественно, не знаю). Недолгая остановка на чистенькой, совсем заграничной станции Бромберг (это теперешний польский Быдгощ). Отцепили паровоз, он дает короткий гудок и куда-то уходит. А к эшелону уже медленно катится другой паровоз. Сияет какими-то латунными частями и вообще выглядит так, словно его вымыли с мылом. Из окошка кабины глядит весьма упитанный, излучающий спокойствие и достоинство машинист. На нем синий форменный мундир с начищенными до блеска пуговицами.

Из-под отворотов мундира видна — совершеннейшее чудо

! — белая рубашка с галстуком. Наверное, увидев такое, мальчик подумал, что дело совсем плохо, что раз так, то войну у них не выиграть...

Миновала еще одна ночь. И ранним утром, едва рассвело, эшелон стал тормозить и остановился. Чистенький перрон, везде написано крупными буквами, что это город Нойбранденбург. Новый, значит, Бранденбург. Интересно! Суетятся, бегают вдоль вагонов несколько человек в добротной гражданской одежде. Главный из них — пожилой, седой. В пальто, на голове шляпа-котелок. Помню и теперь выражение его лица (морды, по моим тогдашним представлениям, поскольку — немец), озабоченное, но доброжелательное. С ними начальник эшелона и кто-то из сопровождающих унтеров. У нас в вагоне уже знают, что ночью к поезду прицепили вагоны с людьми, которых везут в Германию откуда-то из другого места. Кажется, здесь их собираются отцепить.

Мы с дядей Мишей выходим из вагона и видим, что множество плохо и как-то не по-нашему одетых людей уже стоят сгрудившись на перроне. Немец в котелке пытается что-то им втолковать. Ему подсказывают — есть переводчик. Прибегает солдат, меня чуть не волоком — скорей, скорей! эшелон пора отправлять! — тащат к этой компании. Из криков и шума следует, что все очень просто: в этом городе оставляют сколько-то человек (может быть, это было пятьдесят, а может, сто), а остальным — обратно в вагоны и ехать дальше.

Пока продолжается неразбериха — кто-то не хочет уходить от своих, кто-то не взял с собой вещи и полез за ними обратно в вагон, — немецкий господин в котелке спрашивает меня, а почему бы и мне тут не остаться. Мы тебя пошлем работать на хороший завод...

Вот он шанс!

Отвечаю, что я вместе с одним дядей. «Он на заводе работал. Можно нам вместе?»

Пожилый в котелке пожимает плечами и одобрительно кивает. Какой-то железнодорожный служащий в форме теребит его, повторяет, что поезд надо отправлять.

Бросаюсь к дяде Мише, сбивчиво объясняю, что можно остаться здесь. Дядя Миша сразу же понимающе кивает головой. И мы, ни о чем больше не сговариваясь и никому ничего не говоря, делаем тот самый «шаг, который может изменить жизнь». Мы хватанули свои пожитки и вывалились на перрон. Через несколько минут эшелон отправился дальше, а мы остались — вместе с белорусами из прицепленных ночью вагонов. И в тот же

день, после бани и вошебойки, были отправлены под охраной на здешнем, уже совершенно немецком, поезде в маленький городок в получасе езды от этого Нойбранденбурга.

Там на станции прочли имя городка — Фюрстенберг. Где это находится, в какой стороне Германии, мы тогда понятия не имели.

И вот привели нас...

Глава третья. Лагерь (Фюрстенберг)

Привели нас, уже прошедших неведомую сегодня процедуру Entlausung, а если по-русски — вошебойку, вымывшихся какой-то вонючей жидкостью; уже записанных в какие-то бумаги у дома с вывеской «ARBEITSAMT» на фронтоне, — привели на тихую улочку маленького городка Фюрстенберга. Аккуратные одноэтажные строения, вокруг зелень, за домиками видна вода. Вывеска: «Gemeinschaftslager», «общественный», что ли? Ничего себе лагерь! Ни решеток, ни колючей проволоки; из окошек выглядывают и хихикают девицы, явно соплеменницы.

И тут появляется фигура — фашист, ну прямо с карикатуры в газете «Правда». Здоровенный. Бело-рыжий. Голубые свирепые глаза. Сутулый, как рисуют бандитов в детских книжках. Затянут в синий френч и такие же галифе, явно из очень добротной материи. Сапоги сверкают. Синяя форменная фуражка с высоченной тульей. Резиновая дубинка на ремешке. На левом рукаве широкая красная повязка с черной свастикой в белом круге. И еще на повязке написано большими буквами: Der Lagerfurer.

Сказал он нам примерно такую, весьма внушительную, хотя и короткую речь из двух-трех десятков слов, из коих главное в частотном анализе явно не нуждалось: verboten, «запрещается!». И необходимые, так сказать, пояснения о мерах поощрения. Каждый, кто нарушит Ordnung, будет, ясное дело, bestraft, наказан. Ежели кто чего украдет, то попадет в KZ, — и показал рукой себе за спину (дело происходило, как мы очень скоро узнали, по соседству с концлагерем Равенсбрюк, именно его имел в виду оратор). Кто учинит Sabotage, будет, разумеется, erschossen (расстрелян). Ну, а кто «покусится на немецкую женщину» — такой глагол я бы поставил в меру моего тогдашнего догадочного понимания немецкого языка, — тот будет, ясное дело, mit Tode bestraft — покаран смертью... А теперь, ребята, шагом марш — вот по этой дороге, в лагерь!

Вот где все оказалось по-настоящему! Проволочный забор. Два мрачноватых барака. Двухэтажные койки — голые, одни доски. Спать-то как? И когда дадут поесть?..

К нам приставлены два старика, один из них — довольно инвалидного вида, у другого на ремне за спиной — тяжеленное ружье, винтовка. Появился прицеп, привезли ворохи какой-то дряни, вроде бы похожей на мешковину. Привозят и солому, жесткую солому, никак не сено. Матерчатая дрянь оказывается

как бы матрацными мешками, их велят набивать этой соломой. Каждый получает еще один мешок поменьше — как бы подушка, ее тоже надо набить соломой. Еще раздают одеяла, по два на каждого: на одно ложиться, другим накрываться, поясняет хромой старик. Одеяла тощие, из какого-то выношенного сукна, что ли. Попутно выясняется, что водопровод в лагере есть — труба с двумя десятками кранов, а вместо уборной — пока только яма, ее наспех вырыли прибывшие раньше нас. Загородки хоть какой-нибудь и прочих удобств для пользования этим заведением еще не сделали, это достается вновь прибывшим.

Потом нас ведут строем на фабрику. Недалеко, от силы минут десять. Цехов пока не видели. Позади аккуратной немецкой столовой несколько наспех сколоченных столов со скамьями по обе стороны. Плещают каждому в котелок варева, важно названного «зуппе», а по сути дела — баланды. У кого котелка нет — ждет соседа. Но окошко кухни скоро закрывается, и кто-то остается ни с чем. По возвращении в бараки выдают наконец-то по пайке серого, хорошо выпеченного хлеба. Похоже, грамм двести пятьдесят или триста. Все с жадностью едят.

А наутро нас по первому разу чинно выстроили, нагромоздили на какой-то табуретке листки из плотной бумаги с именами и фамилиями (насколько знаю, никаких других документов для нас так до самого конца и не было, только спустя примерно год всех фотографировали с номером на груди, и эти фотографии туда приклеили). Выкликали по очереди и с помощью харьковской девицы-переводчицы из женского лагеря спрашивали: образование и специальность?

Из всей компании человек, может, в пятьдесят, большинство которой были парни и дядьки из Западной Белоруссии, почти каждый отвечал, что «якая там специальность, якое образование! Два роки хадив до школы (или, соответственно, четыре года). По крестьянству были дома...» Лагерфюрер и кто-то из фабричного начальства решали дело в основном по признакам стати. Крепкий рослый мужик — произносилось загадочное пока слово *Presswerk*. (Уже к вечеру выяснилось, что это цех горячей штамповки тяжелых стальных чушек, адова работа.) Горожан, особенно если с семилеткой или выше, записывали в еще более непонятый *Schruppwerk*. К ночи, после второй смены, все уже знали, что это — цех токарных полуавтоматов, на которых те же чушки, но уже превратившиеся под тяжеленными прессами в цилиндрические заготовки, проходят первичную обточку, «обдирку».

Дядю Мишу, назвавшегося инженером, записали в *Schlösserei*.

Это название я понял сразу — в слесаря. Еще одного дядьку из Белоруссии, назвавшегося «майстером», определили туда же.

Вслед за этим — поразительное дело — трех здоровенных мордастых парней, радостно завопивших в ответ на вопрос о специальности: «Полицай, полицай!» — лагерфюрер тут же назначил помогать немецким охранникам — «вахманам». Будете, дескать, Lagerpolizei, лагерной полицией. Слово это было немедленно принято в тамошний лагерный русский язык, насколько знаю — повсеместно. На кой ляд эта липовая «полиция» лагерфюреру и вообще немецкой власти сдалась, не понимаю и сейчас. Впрочем, самим немецким охранникам-вахманам эта компания придурков была очень удобна. Сбегай туда, погляди там, проверь то...

Правда, кончили двое из троих «полицейскую» службу очень скоро и оказались сообразно своим статьям в горячем цеху: за какое-то мелкое воровство по баракам. С такими вещами у немцев было строго.

Но вернемся к распределению. Когда очередь дошла до меня и лагерфюрер, уже приметивший мой еще как бы начальный немецкий, уверенно сказал, что быть мне в лагере переводчиком, я, выражаясь высоким штилем, совершил — не по логике будущих событий, а по некоему наитию, что ли, очень нужный поступок: стал отказываться. «Мне бы научиться работать, — бубнил мальчик. — На станке бы... Или с мотором!»

Присутствовавшему дядьке в пиджачном костюме — заводскому начальнику это, видимо, понравилось, а лагерфюрер махнул рукой. Что он себе при этом думал, мне неизвестно. И я был записан в ученики слесаря, в цех вместе с «инженером» Мишей большим. От солагерников же получил во время всей этой процедуры кличку — Миша маленький.

(Избежав таким образом «придурочного» переводческого места, мальчик, как выяснилось спустя три года, ушел от самого простого продолжения — отправиться сразу, без долгих разговоров, в свои советские тартары.)

Механический цех оказался чистым и ухоженным, как и весь городок. Множество всевозможных станков и участков, от кузницы и жестяницкой до изготовления калибров. Немыслимое дело — ничто не валяется, все доделано и почищено, все в полном порядке. Потолки высокие, проходы ничем не заставлены. У станков шкафчики, тумбочки. У кого-то рядом цветок в горшке... (Вскоре узнал и увидел, что в других — старых заводских цехах — дело обстоит похуже, а про цехи горячие, где рвется огонь из печей, а трехпудовые, наверное, болванки идут

под пресс раскаленными докрасна, и говорить нечего — там не до горшков с цветами.) Тут же был определен к верстаку и оказался в компании немчат; кто-то постарше меня или, может быть, мне однолетки. А кто и явно младше, лет по четырнадцать.

А Мишу большого, который на самом деле был до войны автомехаником, хорошо знал металлообрабатывающие станки и вообще, что называется, был мастер на все руки, поставили к шлифовальным станкам в помощники к немецкому мастеру по фамилии Штир, что означает по-немецки «бык, телец».

В цеху, в облицованной кафелем уборной, чистенькой, как и все у них, кабины с аккуратными табличками, четыре варианта. Для немцев. Для иностранцев. Для учеников. Для военнопленных. А как же остальным русским, гражданским, Zivilrussen, как нас там поначалу называли, — без этой необходимости? Оказалось, сортир для нас сколочен из досок и поставлен на вольном воздухе, за цехом. Почему только для нас, а не для военнопленных? А потому, что военнопленному ни под каким видом выходить из цеха без охраны не разрешается. А нам если уж надо, то что поделаешь. Такие вот градации — для высшей расы и прочих...

Кошунственное признание: мальчик вскоре почувствовал, хоть и на лагерной койке в бараке, некоторое как бы облегчение. Отлегло, свалился с души какой-то камень. Голодно? Ясное дело, не слишком сытно, да разве сравнить с тем, что было недавно дома — постоянная неизвестность, удастся ли вообще хоть что-нибудь съесть. И будет ли вообще следующий раз? А тут каждый день — пайка. Не ахти какая, но все же грамм 250 или даже 300 — хлеб у немцев плотный. Каждый день, худо ли, бедно, а какое-то варево в обед. И еще ощущение, что как там будет дальше, посмотрим, но пока что я от всех этих еврейских подозрений, кажется, сбежал. Кому здесь такое в голову придет!

Однажды, правда, сильно перепугался.

Погожим летним днем возвращаюсь после своей укороченной смены с завода в лагерь. Возле барака бродит старик вахман, скучает. «Ты, значит, пришел!» — глубокомысленно замечает, увидев меня. Произношение у него, это даже мне понятно, какое-то очень уж корявое. Старик вопросительно бормочет еще что-то, явно обращаясь ко мне. Отвечаю ему, что не понял — nicht verstanden... Старик недоволен и повторяет громче: «Du! Hja ! Yud?» Я это понял как «ты — здесь — еврей?» и, мертвя от страха, завопил, что нет: «Nein, Russisch!»

А он, продолжая сердиться, ворчал, что, мол, ничего подобного: в России, конечно же, плохо! Это здесь, в Германии, хорошо: «Deutschland yut!» Слава Богу, уже немного привыкнув в

цеху к не очень понятной речи здешних немцев, я догадываюсь, что старик говорит на ярко выраженном мекленбургском диалекте, Plattdeutsch. Что немецкое gut у них ут. А «дэ» вместо «тэ» — так кто же его разберет, особенно с перепугу. Ничего на самом деле страшного, старый хрен всего только ждал моего подтверждения, что Германия — это хорошо. Черт с вами, пусть будет «ут», людей пугать не надо...

Не прошло и двух недель, как с мальчиком приключилась небольшая история с пугающей перспективой. Это про «кто тронет немецкую женщину...».

Из окошка заводской (немецкой!) кухни-столовой меня поманила пальчиком смазливая девчонка. Волосы черные, прическа высокая, румянец во всю щеку, глаза так и стреляют. Я подошел и получил миску, наполненную чем-то средним между супом и кашей. Тут же с удовольствием умял. Девчонка выглядывает снова, смеется и показывает — а котелок у тебя есть? Наполнила еще и котелок. Посмеялась, помахала ручкой и спряталась в окошке.

Так повторилось несколько раз. А потом девчонка подговорила меня задержаться после работы. Потом стемнело, и мы вместе вышли через проходную и пошли по дороге к лагерю и прошли уже мимо лагерной проходной. И пошагали дальше вдоль забора. И тут девчонка взяла меня под руку, прошептала: «komm!» — пойдем! — и стала поворачивать в лесок... Надо честно признаться, что первым делом я вспомнил об обещанном за такое «пойдем!» в первый день по прибытии, и постыдным для своего будущего мужского самолюбия образом уклонился. Убоялся, проще говоря.

На том роман и пошел на убыль. А потом та девчонка пошла служить в СС. Я ее встретил года через два, уже в одеянии, в котором определил, поглядев на ее стройные ножки, скрытые теперь чуть не до пят, неведомый ранее предмет: юбку-брюки. Но бывшая девочка, а на этот раз уже, наверное, Unter-чего-то-там-фюрер, в военной форме с черными петлицами и, кажется, даже с черепом и костями, глазом не повела. И глупому мальчику стало ясно, что личная жизнь бывшей кухонной девчонки пошла совсем в другую сторону.

В лагере плохо. Тем, кому на фабрику во вторую смену, к двум часам — еще так-сяк. Утром и днем можно хоть на солнце погреться, под деревом посидеть — сосны, среди которых поставлены бараки, вокруг не вырублены. А вечером — совсем тоскливо. Пайка давно съедена, одна-единственная лампочка едва

освещает Stube, барачную комнату с полутора десятками двухэтажных кроватей, на которых лежат или сидят люди. Соломенные мешки, тощие одеяла. Горячей воды в лагере еще нет, отмыться по-настоящему негде, постирать одежды — тоже. Кто-то иногда умудряется — в цеху. Много небритых, заросших. Мало у кого есть бритва, намылить лицо — нечем. Кто-то привез с собой парикмахерскую машинку, ее выпрашивают и хоть изредка обстригают отрастающую бороду. (Меня в то время проблема бриться еще не занимала — нечего было брить.)

У большинства нет обуви, вместо нее — выданные нам здесь колодки, так мы называем деревянные «башмаки», сабо. Или же «туфли» — деревянная подошва толщиной сантиметра три с перепонкой из грубой кожи. (Немцы называют эти устройства, соответственно, Holzschuhe и Holzpantoffeln; многие из них, особенно в горячих цехах, тоже ходят в них на работе.) И те и другие страшно натирают или «набивают» ногу. Нет ни носков, ни портянок — можно только взять в цеху тряпки, которыми вытирают станок, но они не держатся...

Белья у многих тоже уже нет — у кого истрепалось, а у кого и не было. Пропитавшиеся заводской грязью спецовки. Вши развелись, жуткая мерзость, заставляющая все время чесаться, расчесывать немытое тело. Постоянно висит тяжелый запах, хотя городские ребята порой пытаются проветривать помещение, открывают окно.

Находятся заводи́лы — петь песни. «Напрасно старушка ждет сына домой, ей скажут — она зарыдает...» — поначалу чаще всего эту. Еще приживаются песни или «блатные» вроде неизменного «Гоп со смыком», или жалобные, каких я потом, в другие времена, больше нигде не слышал. Про Олю, утопившуюся из-за несчастной любви, и ее подлого соблазнителя («Оля красоткой была, русые косы вились...»). Или про шоферку Галю, водившую «форд», которую безумно любил шофер Костя, водивший грузовик «АМО». Гордая Галя поставила Косте условие: только «когда «АМО» «форда» перегонит, тогда Галочка будет твоя...». И как при попытке обгона, если воспользоваться языком нынешних милицейских протоколов, обе машины рухнули в пропасть... (Между прочим, спустя лет двадцать один очень знаменитый в то время литератор исполнял под гитару эту песню как свою собственную. И подтверждал это с явным неудовольствием, если находился наивный слушатель, который зачем-то спрашивал — чьи слова?)

Еще появлялись песни, сочиненные кем-то уже там, в неволе; они неведомыми путями переходили из лагеря в лагерь. Разное

они «выражали», хотя и не всегда изящным слогом. В частности, то задевавшее нас обстоятельство, что иные девушки из женского лагеря отдают явное предпочтение более обеспеченным кавалерам. Например, поляку или французу, каждый месяц получающему из дому посылку (по-немецки Paket). Так что в лагерном варианте бессмертного «Синего платочка» пелось, прошу извинить, такое: «В синем измятом платочке // В лагерь тащила пакет: // Девушка с ОСТА, среднего роста, // Знает французский минет...»

Однажды Иван Коренев, учитель из Белоруссии, вкалывавший на заводе в горячем цеху у печей, начал читать вслух своим могучим басом стихи, наверное, Некрасова. В другой раз Иван стал спрашивать — может, кто знает на память что-нибудь длинное, чтоб на весь вечер? И тут я выискался с «Золотым теленком», которого вместе с «Двенадцатью стульями» знал чуть не наизусть.

Ничего, слушали с удовольствием. Бывало, что во время таких «коллективных чтоток» заходил кто-нибудь из вахманов, прислушивался. Старик, который напугал меня своим ут, иногда подозрительно спрашивал: russisch Marchen? (русская сказка?) nix Bolschewik? Отвечали, что «никс», и старикан, бормоча что-то свое, удалялся.

Теперь давайте посмотрим, что оно вообще такое, этот Фюрстенберг и что такое фабрика. Маленький немецкий городок на железной дороге, полпути от Берлина к Балтийскому морю. Кругом вода, река Хавель, протоки, каналы. (Позже стало понятно, что по другую сторону одной из проток у самой фабрики — концлагерь Равенсбрюк, один из самых страшных, в основном женский.) Несколькими километрами дальше — крохотный городок Люхен. Здесь в сорок пятом будет последняя ставка последнего (я бы сказал сегодня, самодеятельного) «командующего Восточным фронтом» — главаря СС и СД Генриха Гиммлера.

Но до этого еще ох как далеко. А пока — на окраине Фюрстенберга фабрика, на которой, если верить вывеске у проходной, должны были производить вязкую пряжу или что-то в этом роде. Однако верить вывеске было незачем, потому что всем вокруг было прекрасно известно, что на самом деле это военный завод. Никакого секрета из этого, если не считать вывески у ворот, не делалось.

Совершенно в открытую приходили вагоны со стальным прокатом, совершенно открыто уходили с готовой продукцией — заготовками для зенитных снарядов. Может быть, эта самая

секретность была у них «не на уровне», а может, смысла в ней не видели — не знаю. Впрочем, если бы и хотели, то вряд ли могли ее соблюсти: какие уж секреты, если чуть не всех немцев позабавляли в армию, а работают на заводе угнанные с оккупированных в первые два года войны советских территорий парни, мужчины и молодые женщины, именуемые здесь «остарбайтерами», — это мы; несколько десятков поляков в похожем положении, и еще — советские военнопленные.

Из немцев же оставались — дирекция, начальники цехов, мастера. Еще женщины — станочницы и на кухне. С десятков инвалидов. Кое-кто из тех незаменимых, которые у нас называются асами 8-го разряда, — электрики, токарь-универсал, к примеру. Разумеется, пожилые. И еще ученики. Этих, впрочем, как только достигнет призывного возраста, так тут же забирали служить в армию — и на фронт.

Раз в неделю ученики в цеху не появлялись — ходили в какую-то *Berufsschule*, профтехшколу, судя по названию. С образованием дела там обстояли каким-то иным, нежели у нас в СССР, образом. Однажды в разговоре с этими немецкими парнями я упомянул об алгебре, которую проходил в шестом классе. Собеседники переглянулись и выразили непонимание. Это, мол, наверное, что-то ненужное... Попытка прояснить дело с другой стороны — изящной словесности, успеха тоже не имела: я сказал, что читал дома стихи такого немецкого поэта — Генриха Гейне. В ответ — опять недоумение. В общем, я решил, что образование у них сильно хромает. Что Гейне еврей и, следовательно, в фашистской Германии вычеркнут отовсюду, я еще не знал.

Довольно долго не знал этого и про Маркса. Тут нас, впрочем, очень скоро просветили; у них в то время это было навязчивой идеей, на каждом шагу: все зло от евреев, все беды Германии от евреев, проклятые евреи... Еврей Маркс, еврей Рузвельт, еврей Каганович, еврей Литвинов-Финкельштейн — советский посол в Америке (Финкельштейна, однако, они ему придумали). Потом в этот список добавился еще Илья Эренбург, который за свои антифашистские статьи в советских газетах стал у фашистов, можно сказать, самым страшным евреем.

В лагере нас было, если так можно сказать, несколько поколений — люди из разных мест, привезенные в Германию в разное время. Как бы разные землячества. Самые первые — из Запорожской области, почти все молодые парни, непонятно каким образом оказавшиеся не в Красной Армии. Потом парни постарше и дядьки, вплоть до пожилых, из Западной Белоруссии; почти все деревенские. А по прошествии нескольких месяцев,

осенью 42-го, население лагеря сразу сильно увеличилось: привезли сталинградцев, угнанных из пригородов и самого города, где продолжалось сражение. Кого там только не было! От мальчиков из ремесленного училища до совершенно явных недавних красноармейцев и командиров, переодетых в гражданское и избежавших таким образом категории военнопленного — самой страшной в немецкой неволе. (В том числе явных дезертиров, которые здесь, в лагере, об этом благоразумно помалкивали.)

Повторилось «распределение», и при опросе об образовании и специальности обнаружили и среди сталинградцев очень интересные специальности: повар, пекарь и колбасник. И еще — портной и сапожник. И опять, о чудесная немецкая доверчивость, лагерфюрер назначил повара — поваром в имеющую вот-вот открыться специально сооруженную кухню-столовую для нашего брата; пекарю же и колбаснику определил быть при поваре помощниками — на разделку продуктов, раздачу обеда и прочее. Поскольку, объяснил им на полном серьезе лагерфюрер, ни пекарни, ни тем паче колбасной пока не предусмотрено. Портному же и сапожнику обрадовался и оставил их при лагере — обслуживать нас.

«Повар» слегка умел готовить — подучился, как он мне потом, смеясь над простофилей-лагерфюрером, рассказывал, за той же колючей проволокой: сидел еще дома, при советской власти за какую-то уголовщину. (Позже мне пришлось убедиться — кое-что он умел делать здорово. Например, страшно быстро и почти без слез резал лук.) О пекаре и колбаснике все понятно и так, а портной и сапожник знали ремесло на самом деле, хотя вряд ли профессионально. Были они младшими командирами Красной Армии, в неразберихе отступления и плена (а может быть — дезертировали, точно не знаю) сумели стать «сельскими жителями» с украинскими фамилиями. Чего никак нельзя было сказать о внешности и произношении.

Нам полагалось носить на груди знак — прямоугольную, почти квадратную нашивку синего цвета с белыми буквами OST. А полякам — нашивку желтого цвета с сиреневой буквой P, латинское «пэ». Нашивок этих довольно долго не привозили, и за нами держалось сокращение ZR — ZivilRussen.

Если кто из нас говорил немцу, что я, дескать, не русский, а украинец, то для немца это было как бы признаком твоей принадлежности к чему-то не столь низкому, как пресловутое «ZR». Я этим тоже легко пользовался благодаря фамилии, хоть и без особой пользы. А в общем, можно сказать, что заводские немцы в национальном вопросе применительно к Советскому

Союзу не очень-то разбирались. И что есть еще, например, Белоруссия и белорусы, воспринимали с недоверием.

А дурацкая нашивка OST прожила до самого конца (были и такие, кто не сдрючил ее сразу даже после освобождения), хотя спустя год или больше немецкое начальство пробовало заменять ее на другие нашивки — отдельно русские, белорусские и украинские. Украинская была с трезубцем, какой и сейчас всюду изображает независимая Украина, а остальные две помню плохо. Впрочем, в фюрстенбергском лагере эти сложности не прижились. Наверное, к тому времени, когда очередные фюреры выдумали три разные нашивки вместо одной, большинство из нас уже не воспринимало подобных затей немецкого начальства всерьез. Еще чего! Зря перешивать какую-то дрянь, курам на смех. Обойдётся!

У военнопленных же прямо на истрепанных мундирах неизвестно какой армии, в которые они были одеты, написано краской на спине SU, SovietUnion. То же и на коленях штанов, по одной грубо намалеванной букве на каждом колене. Военнопленным много хуже, чем нам. Жили они в жутком бараке, колючая проволока в двух шагах от стен, никакого свободного места. Ходили на завод и обратно только под конвоем вооруженных немецких солдат. Не имели никакой одежды, кроме быстро превращавшихся в лохмотья штанов и мундиров с накрашенными буквами. Бланду, которую им привозили солдаты-охранники в обед, получали и ели под открытым небом.

На второй или третий день моей жизни в фюрстенбергском лагере двое военнопленных сумели каким-то образом выбраться с завода и бежать. Наверное, от полной безнадежности — ушли в чем были, с накрашенными буквами SU...

Потом привезли их трупы с запекшейся кровью, первые, увиденные здесь. В лагере говорили, что беглецов настигли и застрелили в какой-то деревне, километрах всего в десяти к востоку.

Надо, наверное, все подробно о самом главном в той жизни — об ее величестве пайке. Со всеми потрохами, которыми она, бывало, сопровождалась, или «без ничего». А также о горячей пище, полагавшейся один раз в день, в обед, и о дурацком напитке, лагерное название которому — кава. Германия — страна порядка, там полагается утренний кофе и еще по разным другим поводам — тоже кофе. А поскольку у воюющей чуть не со всем миром страны настоящего кофе, судя по тому, что пили сами немцы, не было и быть не могло, то на его место нужен был заменитель, Ersatz. Некая бурда, но обязательно с прежним

благозвучным именем.

Этот напиток привозили в лагерь в здоровенных бачках, устроенных наподобие термоса. Во всяком случае, жидкость оставалась там почти горячей довольно долго. Жидкость именовалась Kaffee, а на самом деле была очевидным суррогатом. Из чего — неведомо.

Один раз в день, в обед, — суп, баланда. Без мяса, разумеется. Не слишком густое варево из капусты или брюквы. Немного картошки, моркови. Качество и сытность — по-разному. Первое время в фюрстенбергском лагере доходило до того, что в этом так называемом «зуппе» плавала нарезанная нечищенная картошка. Потом кормить стали лучше, на заводе поставили специальный барак — русскую кухню со столовой. Там уже суп был даже с заправкой из мелко нарезанного лука, поджаренного на маргарине. А в городе Штеттине, теперешнем польском Щецине, куда я попаду потом, гороховый суп был густой и просто вкусный. Даже из брюквы, к которой вот уже полсотни с лишним лет я испытываю стойкое отвращение, там умудрились готовить варево лучше. По крайней мере — сытное.

Наша хлебная пайка была, оказывается, предметом серьезных забот самых что ни на есть высоких тогдашних фюреров. В очень серьезной книге Павла Поляна «Жертвы двух диктатур», изданной в Москве ничтожным тиражом в 1996 году, подробно и со ссылками на документы прослежено, как ее назначали и утверждали, сколько граммов и чего нам полагалось. Главный же принцип, который мы очень скоро усвоили еще в 42-м на своей шкуре, был простой: чтоб не померли и могли работать, но ни грамма сверх того.

И дураку ясно, что такую тонкую грань соблюсти непросто. Так что бывали и неприятности. Для обеих сторон, поскольку от голодного работника — какая работа? Тем более на чужого дядю.

Так вот, пайка. Уже к осени сорок второго она начала худеть. Буханку хорошего плотного хлеба, которую сначала делили на четверых, стали резать на пять частей. Вслед за этим сам хлеб стал хуже. Потом еще хуже; стало ясно, что пекут его специально для нас. И довольно скоро наступил день, когда в лагерь привезли и стали раздавать черные липкие ломти чего-то такого, что и хлебом назвать нельзя. Больше похоже на глину. И тогда начался бунт.

Это не для красного словца и не потом выдуманно. Просто несколько человек, только что вернувшихся со смены с тяжелой работы, из горячего цеха, подержав в руках те черные ломти кинули их обратно в ящик. Посоветовав при этом в известных русских выражениях поляку-раздатчику, чтоб забирал такой хлеб

обратно и кушал его на здоровье вместе с лагерфюрером. Отошли в сторону, собрались у забора и стали там тихо совещаться. И тогда стали подходить другие, взявшие раньше, хоть и с руганью, свои пайки, и тоже стали бросать их раздатчику. Сопровождая это действие, разумеется, очень многими звучными выражениями, которые теперь называются ненормативной лексикой. Та еще была лексика!

И стало ясно, что следующая смена, которой пора на работу, на завод идти не собирается. Пускай сначала дают хлеб! Всполошились вахманы, примчался из города лагерфюрер. Поорал, явно для порядку, что-то насчет того, что Германия не может кормить своим хлебом всех русских (под аккомпанемент ответных криков — еще неизвестно, чей хлеб едят сами немцы!). В общем, «хлеб из глины», как мы его тогда прозвали, увезли. Дали нам в тот день что-нибудь взамен или нет, не помню. Знаю только, что после того случая в лагере стали снова выдавать настоящий хлеб.

Кто работал в горячих цехах на самой тяжелой работе, тому полагался дополнительный паек раз или два в неделю: пайка весом, наверное, больше полкило, и к ней маргарин и так называемая колбаса. Причем были две категории занятых на тяжелой работе, которые назывались по-немецки *Schwerarbeiter* и *Schwerstarbeiter*. То есть тяжелая работа разделялась на просто тяжелую и самую тяжелую. Соответственно и величина дополнительных пайков была у них разной; которые «шверст» — получали в свои добавочные дни по половине полуторакилограммовой буханки. Всем остальным тоже давали в эти дни маргарин и «колбасу», только совсем маленькие порции, один раз мазнуть по хлебу.

«Колбаса», которую я теперь пишу в кавычках, была каким-то полусырым перемолотым с костями и слегка присоленным мясом в несъедобной оболочке. Какого происхождения — не знаю. Казалось очень вкусным, наверное, потому, что ничего другого мясного для нас не существовало. Еще по пятницам выдавали к хлебной пайке малюсенький бумажный кулек с сахаром, наверное 50 грамм. И еще выдавали, не помню, вместо сахара или так и по каким дням, немного сладкого продукта, который по-русски в те годы назвали бы джемом, а в Германии это именовалось мармеладом. Курящие, которыми объявляли себя, ясное дело, все подряд, раз в месяц получали немного какой-то крупно нарезанной дряни, считавшейся махоркой. Некоторые немцы на работе оставляли нашим покурить — остаток от своей сигареты. Вот, пожалуй, и все — окурки в то время нигде не валялись, и сильно курящим ребятам приходилось худо.

А кощунственный для советского человека вопрос: если сравнить все это с положением дел в других, своих лагерях, что получится? — такой вопрос я ни себе, ни кому другому тогда не задавал; впервые задумался над этим только очень много лет спустя. Принадлежал к большинству, долго верил.

Вот еще какая была однажды история; она пришлась на то время, когда и хлеб делался все хуже, и маргарина всю неделю не давали. Народ начинал уже роптать. И вот под вечер привозят в лагерь хлеб, и приходящий к нам раздавать пайки старик поляк объявляет: сегодня вам добавление к хлебу, вместо маргарина — сыр!

Открывает продуктовый рундук, там навалены слегка обернутые в бумагу какие-то порции. Гляди ты — большие! Грамм, наверное, пятьдесят, а может, и больше. Первые получившие разворачивают завертку. Содержимое сильно пахнет и выглядит страшновато — проступает плесень, цвет какой-то желто-зеленый... Что поделать, какая-никакая — а прибавка к хлебной пайке. Пробую, жую.

Не проходит и десяти минут, как почти наступившее уже некоторое умиротворение враз рушится: кто-то обнаруживает на своем куске этого сыра белого червячка, личинку. За ним другой, третий. Поднявшийся шум перерастает в угрозы, раздатчик сбегает от греха подальше на проходную к вахманам. Опять явно назревает бунт: нас хотят кормить червяками!

Телефон у вахманов исправен, и через пять минут приносится разъяренный лагерфюрер: «В чем дело? Где червяки? Покажите!» С нескольких сторон ему протягивают куски этого самого «сыра». Лагерфюрер берет их один за другим, внимательно разглядывает — и разражается длинной и очень громкой речью. Орет на охранников, на поляка, на нас, машет кулаками. Я пытаюсь понять смысл и наконец улавливаю: начальник лагеря кричит, что все здесь — и болваны-соотечественники, которым зря доверили важную миссию караулить русских, и сами русские, с которых какой уж тут спрос, — ни черта не смыслят в деликатесах! И что только последний болван не знает, что настоящий Harzerkase — гарцский сыр — должен быть с личинками, что с ними он созревает! Их надо счистить ножиком — и всё!

Он вытаскивает из кармана складной нож, поднимает над головой, продолжая кричать, сыр с плесенью. У всех на глазах находит червячка и аккуратно сбрасывает его. Разевает рот — «вот, смотрите!» — и с явным аппетитом жует одну из наших порций. За ней вторую. «Кто еще отдает?»

Народ начинает понемногу расходиться по баракам. Бунт не состоялся. Однако и опыт с вонючим сыром больше не повторяется.

Через много лет в солидной гостинице в городе Эрфурте в ГДР я увижу за завтраком у «шведского стола» нечто напоминающее те заплесневелые куски. Официант подтвердит: да-да, это Harzerkase; господин, towarisch, желает попробовать? Товарищ, ясное дело, пожелал. Принес на стол две порции — жене и себе. Первая порция осталась нетронутой, сам же я быстро убедился, что вкус этой штуки и в мирное время — что называется, на большого любителя. Но личинок не обнаружил!

Быв определен в слесарные ученики, я попал под сокращенный для тех времен рабочий день: всего восемь часов. И отсюда сразу же возникла проблема с перемещением из завода в лагерь. Одному не разрешается, а строй поведут еще через два с лишним часа. Проблема, впрочем, очень скоро разрешилась, потому что обеим сторонам было понятно, что бежать отсюда, в сущности, некуда. А хромоногие охранники лагеря, вахманы, так плетутся, что хождение строем выглядит для заводского начальства, которому требуется работа, да поскорее, совершенно нелепо. А смены на заводе разные в разных цехах, так что надо поспевать, а не плестись. В общем, этот суровый порядок с обязательным хождением строем вскоре постепенно рассосался.

Но это не сразу, и мне не раз приходилось, дойдя от цеха до проходной, там ждать, пока кто-нибудь из немцев будет идти из завода. Вахман на проходной обычно «помогал»: вот, русский мальчишка ждет, заberi его с собой до лагеря. Благо ходьбы — каких-нибудь пять минут.

И в один прекрасный день меня подхватил на проходной кончивший свое дежурство заводской вахман, явно проявлявший интерес к недавно появившимся на заводе русским. Был он довольно молодой и, видимо, не очень здоровый. Может, инвалид, а может — «со странностями», как теперь говорят. Иначе молодому было ни в жизнь не избежать фронта. Двинулись мы в недалекую дорогу, и парень этот, кстати явно хромавший, тут же стал меня что-то расспрашивать про нашу советскую жизнь и вообще про Russland, и еще — а так ли уж нам здесь, в Германии, хорошо? За проволокой ведь...

Раздалось гудение мотора, навстречу нам пронесся блестящий лаком легковой автомобиль-фаэтон с двумя или тремя пассажирами в хороших костюмах — и круто затормозил.

На заднем сиденье обернулся и что-то прокричал нам мрачный господин, и мой сопровождающий стремглав кинулся к

нему. Полунемая сцена продолжалась недолго: господин в роскошном костюме орал на вахмана, тыча пальцем в мою сторону, вахман послушно кивал головой — да-да, конечно, jawohl!

Машина взревела и помчалась в уже предупредительно открытые ворота фабрики, вахман вернулся огорченный — ему явно влетело за меня. Объясняя мне, что вот-де большое начальство не позволяет, чтоб русские расхаживали иначе как строем, он несколько раз повторил вполголоса: Gestapo! И я отправился за проволоку, ощущая даже некоторую неловкость: вот подвел такого хорошего немца, ему за меня еще и всыпали. А слово «гестапо» меня изрядно напугало; значение его очень хорошо знал еще с советского мирного времени, да и в оккупированном Харькове звучало оно зловеще. Не хватало мне еще только гестапо!

Никаких, однако, последствий вроде бы не произошло, однако приветливый немец-вахман на заводе улыбался мне теперь только издали. А до следующих упоминаний зловещего слова было еще ох как далеко. Почти как до «Семнадцати мгновений весны».

Женский лагерь, возле которого в первый день мы слушали лагерфюрера, сильно не похож на наш. Вполне приличный одноэтажный дом. Рядом еще один дом, в котором живут «иностранцы» — такие же пригнанные на работу в Германию рабочие, как мы, но из других стран. Французы и бельгийцы — те вообще считались здесь свободными людьми, получали из дому посылки, хороший паек, а на фабрике — полную немецкую зарплату. Там же живут поляки, по положению нечто промежуточное между иностранцами и нами: они обязаны носить на одежде тряпичную букву «Р». И еще в том же доме и в том же коридоре, где комнаты наших женщин, — кабинет и спальня самого господина лагерфюрера. Такое вот деликатное соседство.

Еще им всем выдавали постельное белье. И на фабрику они с самого начала ходили без строя. С чего бы такие преимущества?.. Девушки ведь из того же Харькова. Неужели всего-навсего из-за любвеобильности лагерфюрера? А черт его знает!

А деньги? Деньги хоть какие-то нам платили? И даже, наверное, сначала — а у самих-то «хозяев», у немецких рабочих, вахманов, мастеров и так далее — деньги были? Конечно. Иначе получился бы беспорядок, нарушался бы неременный Ordnung, что совершенно недопустимо. И, согласно этому тамошнему порядку, нам, «остарбайтерам», «цивильным русским», тоже полагалась зарплата. Намного меньшая, чем немцам, но все же зарплата.

Тогдашние деньги были, насколько помню, довольно похожи на нынешние германские марки и назывались рейхсмарками. Немецким рабочим и мастерам их платили каждую неделю по пятницам. Нам — раз в месяц. Раздавал деньги, уже разложенные каждому в отдельный конверт, «майстер», начальник цеха. Сколько? Увы, смысл этой игры был для меня в то время очень мал, так что цифры весьма приблизительны.

Кажется, немецкий станочник, токарь или, допустим, шлифовщик, получал марок 70 или 80 в неделю. Рабочий попроще, подсобник по-нашему, — марок пятьдесят. Ас, опытный мастер своего дела, может быть, сотню. В горячих цехах, рассказывали ребята, немцам платили еще больше, может быть, что и по полторы сотни в неделю. А нам?

Мише большому полагалось, кажется, больше полсотни, а то и почти семьдесят, в зависимости от количества и сложности прошлифованных изделий или деталей. Да вот только раз в месяц, а не за неделю, как работающему рядом с ним мастеру-немцу. Ребятам в горячих цехах — соответственно 80–90 или, может, сотня с небольшим. Мне доставались сначала совсем гроши, меньше 30 марок; много позже, в конце 43-го года, когда я уже самостоятельно слесарил, платили гораздо больше, марок 50–60. Кажется, так, но, повторяю, не ручаюсь, очень уж это было втростепенным делом.

Но вот можно ли было купить хоть что-нибудь за эти деньги — это уже, как говорится, совсем другой вопрос. Потому что чистенькая и ухоженная, несмотря на войну, Германия тех времен была страной всеобъемлющей и всепроникающей карточной системы. От хлеба и штанов до сигарет и ниток — все продавалось, а вернее — распределялось, исключительно по карточкам. Торговцы-нарушители, о которых немцы иногда говорили — причем испуганным шепотом, — попадали в концлагерь, в KZ.

Я никогда не видел всей немецкой продовольственной карточки, со всеми ее талонами, но знаю, что количества продуктов, которые по ней выдавались, не слишком отличались от лагерных. Однако же немцы, с которыми мы каждодневно общались на работе, явно не голодали. Кроме ежедневного обеда в заводской столовой, у них был через три часа после начала работы пятнадцатиминутный перерыв на завтрак, Kaffeepause. Из портфелей и рюкзаков извлекались привезенные из дому алюминиевые коробки с бутербродами и жестянки наподобие наших довоенных бидонов для керосина, только поменьше, — с ненастоящим кофе. В нашем цеху множество этих бидончиков, любовно называемых Kaffeekanne, еще до перерыва загромождали

кузнечный горн, где всегда были раскаленные угли.

Судя по разговорам рабочих-немцев, многие из них сажали возле дома овощи, а картошка им полагалась по карточкам. И еще у них были чуть не в каждой семье — кролики, для которых собирали где только возможно траву, набивали ею мешок и везли домой на велосипеде.

А нам? Хотя какие-нибудь «непайковые» лакомства нам хоть когда-нибудь доставались?

Да. Главное из них — картошка.

В числе прочих хозяйственных служб на заводе было и свое овощехранилище, подвал. Туда картофель и овощи сгружали из вагонов, оттуда везли на кухню тачкой или таскали двуручными корзинами. Ставили на эту ответственную процедуру освобожденных от работы в цеху и оставленных в лагере по болезни, именуемых кранками (krank по-немецки «болен»). Они, естественно, возвращались в лагерь с картошкой за пазухой. Работавшие на заводе в ночной смене тоже, бывало, раздобывали десяток-другой картофелин. Надо думать — от той же разгрузки, у того же подвала. (Потом, в сорок третьем году, когда выйти за ворота лагеря станет гораздо проще, легче будет и добыть картошки.)

Варить картошку пробовали сначала, пристраивая котелок на раскаленной болванке в горячем цеху; многие немецкие рабочие «не замечали» этого, относились с пониманием. Но однажды вышел скандал — налетел директор, разорался, бросился бить первого попавшегося под руку (что ему вообще было свойственно). Так что приготовление картошки, особенно в зимнее время, когда в бараках топились печки, перекочевало в лагерь. Охранники вроде бы и «гоняли», но не очень. А лагерфюрер появлялся не так часто, да и слышно его было сразу, можно успеть спрятать.

В особой цене был лук. Если изрезать и пережарить в котелок картошки даже маленькую луковицу с законной порцией маргарина — совсем другой вкус. А посудой для варки служили чаще всего ведро или таз; они в бараках были для хозяйственных надобностей. Чистить картошку доверялось в компании только тому, у кого шелуха получалась совсем тонкая, как бумага. Полведра сваренной и размятой с пайкой маргарина картошки запросто могли умять вдвоем, ведро — втроем или вчетвером...

И еще была замечательная вещь — ягода черника, витамин из леса, тянувшегося за лагерной оградой. Довольно скоро стали разрешать туда ходить — «группой по воскресеньям». А потом, не сразу, постепенно, — кто когда сумеет. Собранные ягоды можно

было размешать с пайкой сахара, лишившись возможности насыпать его в «каву». Пытались, разумеется, превратить чернику и в спиртное — сбродить с тем же пайковым сахаром. Без особого толку — слишком мало сахара. И еще бывало, что бутылка с ягодами, закупоренная здешней фарфоровой пробкой с зажимом, взрывалась. Видел своими глазами. Хорошо еще, что в лицо испытателю хлестнуло при этом только черничным соком, а осколки стекла попадали на пол.

Деньги у тамошних жителей были, полагающиеся им по карточкам продукты и какой-то ничтожный минимум одежды (две пары носков в год, пара обуви раз в два года — что-то в этом роде, точно не знаю) они могли купить, и стоило все это для них недорого. Например, трехфунтовая буханка хлеба (полтора килограмма на неделю) стоила, если не ошибаюсь, полтинник, 50 пфеннигов. Одним словом, истратить свою зарплату и что-то по своему желанию приобрести рядовой немец не мог. Так это, во всяком случае, выглядело.

А что же он с ней делал? Довольно много отдавал на какие-то добровольно-принудительные сборы (на манер советского ежегодного государственного займа, на который в СССР десять месяцев в году вычитали десятую часть заработка, и все обязаны были это дело «приветствовать»). Вносил на будущий — «после победного окончания войны» — автомобиль «фольксваген», народный автомобиль. Или, возможно, на собственный дом. Точно не знаю.

Ну хорошо, если даже они, хозяева, не могли потратить заработанные деньги, то уж нам в лагере, за проволокой — что было делать с получкой? Зачем они нам, эти деньги?

Довольно скоро я догадался, что невозможность купить что-нибудь без карточек, запрещения и кары — что все это не совсем так. Что дело обстоит не так просто, как о нем говорят открыто.

Лето 42-го. Строгости в лагере и на заводе еще в разгаре. Выходить из цеха можно только «в сопровождении». Меня посылают из мехцеха, из слесарки, что-то отнести и прикрутить в другой цех. И со мной плетется, прошу извинить, полным идиотом, но ничего не попишешь, надо следовать Ordnung'y, немолодой немец, служащий заводской конторы. Сильно хромает, инвалид. На асфальтовой дорожке валяется монетка, один пфенниг. Служащий не без труда наклоняется, поднимает его. Достает кошелечек и заботливо туда укладывает. «На кой он вам сдался?» — пробует выяснить «охраняемый», хорошо знающий к тому времени, что на военные деньги, которые немец получает каждую неделю, почти ничего не продается. «Десять раз по

пфеннигу, — очень серьезно отвечает сопровождающий, — это гривенник. Zehn mal ein Groschen ist eine Mark. Hundert mal eine Mark — dann kann ich auf dem schwarzen Markt neu Bereifung für mein Fahrrad kaufen». Вот перевод — начиная с гривенника: «Десять раз по гривеннику — это марка. А сто раз по марке — и я смогу купить на черном рынке новую резину для моего велосипеда». Вот такая логика. Какие могут быть возражения?

Однако же, внимание, «черный рынок»! Значит, он все-таки есть? Что это такое на самом деле, я узнаю, а потом и увижу еще нескоро. Уже не в Фюрстенберге. А в здешнем лагере вскоре образуется свой «рынок». Не ахти какой, но, разумеется, не без связи с внешним, немецким миром.

В заводской медпункт попал я в первый раз с пустяковой травмой: отлетевшая от станка горячая металлическая стружка, ударила в левый глаз, прихватив верхнее и нижнее веко. Медсестра стружку-скобку сняла, глаз промыла и чем-то намазала, надела мне повязку. И сколько-то времени я был «с одним глазом». Не прошло и недели, как из-за этого случилась новая неприятность — наткнулся в цеху на железную тягу, оглоблю вагонетки, в которой возили из цеха стружки, и слегка разбил правую голень. Ну и что тут такого? В медпункте ногу перевязали, и я вернулся в цех.

Через несколько дней пришел на перевязку. Рана не закрылась. Еще через несколько дней — то же самое, и началось нагноение. В общем, мазали мне ногу разными мазями, бинтовали, заклеивали, пробовали оставлять так. Не заживает, и все. Постепенно на голени образовалась дырка, через которую стала видна кость. Это сейчас хорошо говорить, а тогда... Тянулось это ужасно долго, во всяком случае мне так казалось. (Причина была, наверное, достаточно простой, но в тогдашних условиях совершенно неустраимой — ноль витаминов в рационе. В конце концов дырка все же стала понемногу затягиваться. А пятно от нее видно на ноге до сих пор.)

По каким-то определенным дням, кажется два раза в неделю, в медпункт приезжал из города на час или на два врач. Ездил он (единственный из всех на фабрике) на легковом автомобиле, за рулем. Наверное, при царившей в Германии жестокой экономии бензина машина ему полагалась, а остальным — нет; даже директор-бетрибсфюрер разъезжал обычно на велосипеде. И к этому врачу все чаще стали звать меня из цеха, если он и сестра не могли объясниться с кем-то из наших.

И однажды доктор говорит мне, что он хочет изучать русский

язык, чтобы и самому хоть немного понимать пациента. И что я должен его учить!

Объясняю ему, что я закончил только семь классов, какой из меня учитель? «Ничего, — говорит, — раз ты знаешь немецкий, значит, сможешь мне объяснить самые основные вещи и хотя бы немножко грамматики. Я и сам буду говорить, какие слова и выражения мне нужны».

Ничего не поделаешь, придется пробовать.

Вот так получилось, что осенним вечером (везде полное затемнение) я позвонил у двери двухэтажного особняка, на которой белела табличка: «Dr. med. Karl Habelitz». В приемной на стульях и в креслах — несколько пациентов, за столиком — медсестра в полном облачении и с красным крестом. Обо мне она предупреждена: «Доктор просил вас (!) подождать немного, у него больной. Я вас провожу». Привела меня на второй этаж в красиво обставленную комнату. «Садитесь, пожалуйста (!), я доложу доктору». Доктор довольно скоро пришел, мы позанимались с полчаса. Я называл какие-то слова и простые выражения, вроде «что у вас болит», он прилежно повторял и записывал латинскими буквами. Произношение русских слов у него было, это хорошо помню, жуткое.

Побывал я у доктора раза три или четыре. Какие слова и правила ему втолковывал, не помню, но хорошо помню, что «ученик» очень старался. А медсестра приносила каждый раз тарелочку с двумя-тремя небольшими бутербродами с настоящей колбасой и чашку сладкого кофе, совершенно не похожего на лагерно-столовскую «каву».

И однажды доктор, отлучаясь во время урока по своим надобностям, включил радиоприемник — послушай, мол, музыку, пока я отпущу больного. Дверь за ним закрылась, я стал крутить ручку настройки. (Ничего не зная о грозном приказе фюрера насчет «вражеских радиостанций», совершенно таком же, как «кто покусится на немецкую женщину...») Наглость моя была вознаграждена: с замиранием сердца я расслышал русскую речь и ослабленный расстоянием голос московского диктора. Он читал фронтовые известия! Помню только, что в них назывались те же места между Волгой и Доном, о которых в то время можно было услышать на фабрике, но насколько же это была другая военная сводка!

Разумеется, в тот же вечер я ее пересказал друзьям, и весть из Москвы о делах на фронте, которые у немцев вовсе не хороши, пошла гулять по лагерю. К сожалению, в первый и последний раз, потому что уроки с доктором скоро кончились — его призвали в армию, и он уехал на фронт.

А вскоре нас обрадовало и немецкое радио. В конце 42-го года немцы в цеху давно уже шептались: под Сталинградом неладно. Осенью еще гремел то и дело репродуктор («германский солдат пьет воду из Волги!.. Город Сталина в наших руках!.. Час победы близится!»), а теперь — молчок. Только слышатся тихие разговоры — у кого-то сын, у кого-то зять под Сталинградом, писем от них давно нет.

...В книжках военных историков есть текст сообщения, которым германское командование известило своих граждан о разгроме и капитуляции (таких слов там, правда, нет) своих войск в Сталинграде. Весь остальной мир об этом давно знал, как и о том, что фельдмаршал Паулюс сдался со своим штабом в плен 31 января 1943 года. В том немецком сообщении — на заводе его громко передавал репродуктор — были какие-то торжественные словеса о «непобежденном духе» и «героическом закате», в честь которого объявлялся траур по солдатам 6-й германской армии.

Все всё поняли. И были хмурые немецкие рабочие с опущенными головами и плачущие женщины. Какой-то ретивый дурень с фашистским значком, приколотым к спецовке, налетел на рыдающую пожилую работницу: «Немедленно прекратите! Немецкая женщина обязана гордиться — жизнь за фюрера...» — и тому подобная ахинея.

Пожилые немецкие рабочие отворачивались и молча расходились по цехам.

Все уже понимали, что после Сталинграда война переменялась — германская армия отступает. На заводе стало еще меньше немцев — их забирали в армию. Цех за цехом переходили на «двухсменку» — работать по 12 часов; ремонт — раз в неделю. А в горячих цехах ночная смена идет на работу после пересменки «в день» — через восемь часов. Настоящая каторга...

Вскоре после того, как я слушал у доктора советскую военную сводку, стало известно, что наступающая Красная Армия освободила Харьков. (Первый раз это было 16 февраля 43-го; в марте немцы взяли город снова и были там до 23 августа.) Я понял, что дознаться здесь про маму и про меня уже не смогут. Это, конечно, хорошо, но и у меня не остается никакой надежды хотя бы узнать — жива ли мама...

Ну, а что мы думали в то время про войну вообще? И про то, что будет с нами дальше?

Если честно, то мало кто из нас верил в то время, что Красная Армия победит Германию и нас освободят. Больно уж далеко

забрался всюду вермахт. Вот на Украине отступают, а до сих пор держатся на Кавказе. В Африке, которая черт знает где, на краю света, и то воюют. Чуть не каждый день орет радио — сколько и каких американских да английских кораблей потопили в океане. Война, казалось мне тогда, кончится нескоро и как бы ничем: остановится где-то посередине. Может даже быть, что Украина останется «им».

А что же будет с нами? Ведь товарищ Сталин наверняка считает нас изменниками, потому что как ни крути, а работали мы не на своих, а на врага. Вот и бросят нас здесь пропадать и никуда не денешься!

Такие были невеселые мысли у мальчика, вполне сообразно тому нехорошему времени. Холодно, хоть зима вроде бы и кончилась. Одежда, какая была еще из дому, пришла в ничтожество. Нет белья, грязь. Голодно.

И тут я заболел. То есть сначала решил, что простудился. Потом стала одолевать страшная слабость. Бил озноб, я замерзал рядом с горящей печкой, а дальше пошло такое, что и на бумагу не годится.

Через несколько дней в барак пришла медсестра из заводского медпункта. Притронулась ко мне, сказала, что больше сорока, и вызвала лагерфюрера. Что-то они там порешили, а я только помню, что вместо вечера стал уже день и что меня закатывают на носилках в кузов автомобиля. Он тронулся, я успел еще заметить, что городок Фюрстенберг остается сзади. Очнулся еще раз, когда машина въезжала в какие-то большие (старинные, красиво, — подумал мальчик) ворота. А что было за теми воротами, я уже не видел и долго не знал.

Когда начал понемногу понимать в следующий раз, что со мной происходит, сказали — прошло восемь дней. Нахожусь же я в больничном бараке для пленных на территории большой больницы в городе Ной-Штрелиц, километрах в двадцати от Фюрстенберга. Кроме меня был в том бараке еще один пациент, которого вскоре выписали, остался один я. Однако снаружи барак был заперт.

Была медсестричка — смешливая девчонка немного постарше меня, если верно помню — откуда-то с Северного Кавказа. И был доктор — Георгий Александрович Терехин, пленный советский военврач, которого каждое утро приводил и каждый вечер уводил в лагерь военнопленных вооруженный немецкий солдат. Один одного. Наверное, оба одинаково понимали глупость этой ситуации. Вот такое было заведение при большом немецком госпитале.

Очухивался я долго, страшно ослаб. Чем лечили — не знаю. Помню наслаждение от чистой больничной еды, которую дважды в день кто-то приносил или привозил нам на всех троих — сестричку, доктора и пациента. В обед полагалось даже что-нибудь сладкое, чаще всего это был компот из ревеня. Помню, что иногда в окно было слышно радио, и мы слушали немецкие военные сводки. На всю жизнь запомнил прозвучавшее в одной из них название — остров Пантеллерия в Средиземном море, на который уже высадились англичане «по дороге» из Африки на Сицилию. «А дальше — в Италию, а потом будет десант во Францию, и они с той стороны, с Запада, тоже будут бить фашистов», — потихоньку рассуждали мы с доктором Терехиным.

Еще он мне рассказал, что я было совсем помирал, но сердце не остановилось потому, что мало весил — очень уж тощий... Так что, мол, благодари судьбу. Хворь моя называлась брюшной тиф, по-немецки *Unterleibtyphus*. (И теперь, спустя 55 лет, я гадаю — можно ли найти в тамошних архивах мою «историю болезни»? Или на худой конец какую-нибудь запись вроде «поступил — выписан», с датами?)

Когда меня отправляли обратно в лагерь, было явное лето, вся эта история с тифом тянулась долго. Сопровождающий привез меня на поезде в Фюрстенберг, привел в лагерь. Иду вдоль барака. Солнышко, трава пробивается. Открытое окно. Заглянул; там кто-то из кранков, из освобожденных от фабрики по болезни. Сидит, рядом ведро с водой и щетка; значит — на легкой работе, мыл пол, отдыхает. «Здравствуй, — говорю. — Ну, как тут у нас?» А он заорал не своим голосом, вскочил и кинулся бежать.

Оказалось, все очень просто — в лагере решили, что я в той больнице давно окочурился. А тут вдруг — явился! С того света...

Из госпитального барака доставлен обратно в лагерь, я был сначала записан в «кранки», то есть в официальные больные, по-немецки *Arbeitsunfähig*, сокращенно — AU (в точном по смыслу переводе получилось бы РН — Работать Неспособен). Но ненадолго. После чего получил направление «на легкую работу». Обрадовался, дурак: сказали, что в *Gartnerei*, в садоводство. Никакого сада при фабрике не было, я это хорошо знал. Оказалось — огород. Наверное, и это неплохо; там ведь овощи?

Дал он мне, что называется, прикурить, этот «огород»! И, потаскав день или два тяжеленные мешки с кочными капусты, подгоняемый то и дело окриками сытого «гертнермайстера», огородного фюрера, я взвыл и прямо с обеденного перерыва сбежал в медпункт. И оттуда, после довольно громкого препирательства между медсестрицей и вызванным ею лагерфюрером, с одной стороны, и примчавшимся с резиновой

дубинкой фюрером-огородником, с другой, — был отправлен на кухню. На поправку здоровья и чтоб перестал быть похожим на покойника.

Если кто-то полагает, что довольно частое употребление здесь слова «фюрер» при назывании разных небольших и даже совсем маленьких начальников есть словесная фигура гротеск, намеренное преувеличение, то он ошибается. Там так любили это слово, что «не-фюрера» еще поискать надо было. Директор фабрики именовался Betriebsfurer, «вождь предприятия», наверное. Управляющий хоть чем угодно, любой конторой, был Geschäftsfurer. Машинист на тепловозе, заталкивающем на фабрику два-три товарных вагона, назывался Lokomotiv — или, совсем запросто, Lokfurer. А шоферское удостоверение, «права» по-нашему, называлось Furerschein.

Что уж теперь насмеяться... Вернемся лучше к деньгам, которые нам платили, — на что же их можно потратить, если не садиться в бараке играть в «двадцать одно», в очко? (Но ведь и для выигравших, хотя их всегда абсолютное меньшинство, тоже должен же быть какой-то смысл в этих марках!)

Сначала была одна-единственная возможность. На фабрике в немецкой столовой есть прилавок-киоск. Там продаются сигареты, за которые у немцев отстригают какие-то талоны, а также пиво в бутылках и некое подобие лимонада ярко-желтого или розового цвета, тоже в бутылках. Называется вполне честно Brause, шипучка. Так вот это «браузе», которое стоит сколько-то пфеннигов, нам разрешается покупать. Пиво тоже разрешается, если его привезли много и всем желающим немцам явно хватит. Пиво, конечно, дороже (на сколько именно — не помню).

Но вот заходить в немецкую столовую — не разрешается. А киоск только там, другого нет. Все понимают эту нелепость, но она держится долго, хотя немецкие рабочие тоже ворчат, потому что их без конца просят принести с обеда бутылочку. Какого черта, это же без карточек, ну, пусть устроят для русских другой киоск! Так ничего и не происходит.

Ну хорошо, крашеный лимонад. Или иногда бутылка пива. Это все? Довольно долго так оно и было, потом стало понемногу меняться. Эти перемены я застану уже после возвращения из больницы, «с того света»...

Вольности начались с хождения на завод и обратно в лагерь без строя, в котором явно не было смысла — убегать, да еще без языка и раздетому, некуда. Потом начались «коллективные прогулки» по воскресеньям, группами человек по десять в

сопровождении старика вахмана. Несколько раз идущих на такую прогулку изволил сопровождать сам господин лагерфюрер, которому эта процедура, наверное, нравилась. Женщины ведь с самого начала ходили без всякой охраны, и ничего... А потом еще оказалось, что хозяин пивной неподалеку от лагеря вовсе не прочь продать сколько-то лишних бокалов пива или бутылочек лимонада, если его заведение не переполнено немецкими посетителями.

Одним словом, некоторые строгости себя, что называется, исчерпали. И постепенно получилось так, что выйти из лагеря в свободное от смены время, сказавшись на проходной, стало обычным делом. Была бы на тебе приличная одежда — вахман пропустит, и иди себе «в город». Да только с одежкой-то дело обстояло — просто швах, совсем худо. Надо было где-то ее добывать, но довольно долго никакой возможности для этого не было.

Поношенные, но вполне приличные «цивильные» вещи стали появляться в лагере уже вскоре после первых получек. И их обладатели не особенно скрывали, откуда взялась обновка, Очень просто: «Немец, с которым я на пару работаю, принес». Кто-то отдавал ставшую ему ненужной вещь просто так. Наверное, из сочувствия к работающему рядом с ним человеку, которому не во что переодеться из промасленной спецовки. Кто-то другой видел, возможно, в такой помощи ближнему и некоторую пользу для себя (ведь «десять раз по пфеннигу — это гривенник...»). Ну, и что тут плохого?

Я был уже совершенно, что называется, без штанов, без единой теплой вещи осенью и начал спрашивать соседей в цеху — у тебя нет теплой рубашки ненужной? Или, может быть, куртки? Я бы у тебя купил... Кто-то пожал плечами, кто-то сказал, что спросит у родителей, а будущий инструментальщик Вернер ответил, что у него дома есть вещи, которые ему уже не нужны, и он может продать их. И на следующий день, объяснив после работы вахману, что вот он, Вернер, «сопровождает» меня, мы отправились к нему домой. (Это первый раз в жизни я оказался в доме у немецких совершенно чужих людей.)

Никого, кроме самого Вернера, я там не увидел. Мы уселись в довольно тесной комнатухе, и хозяин вывалил передо мной кучу старых вещей. По большей части он из них вырос, мне они тоже были малы. Все же нашелся почти целый свитер-безрукавка, а потом еще тесноватый, но хороший пиджачок. Я спросил, сколько это стоит; хозяин, подумав, сказал, что пять марок и восемь марок. Пусть я не думаю, что это дорого. Ведь вещи еще

хорошие...

Сделка тут же состоялась. Я вернулся в лагерь очень довольный приобретением, а Вернер, надо полагать, остался доволен выручкой.

Вряд ли мой опыт был исключением — вещи с чужого плеча, немецкого естественно, стали появляться в лагере все чаще. Вскоре их уже продавали и покупали друг у друга. Хорошо помню, что осенью 43-го у меня уже были какие-то вполне приличные брюки и порядком истоптанные, но еще крепкие ботинки. Как они ко мне попали — забыл напрочь.

В общем, в лагере стал постепенно складываться свой «рынок». Наши получки, рейхсмарки, пустились в свой, на первых порах не очень дальний оборот. И самое поразительное, наверное, что тут же нашлись и такие, кто стал продавать — не каждый день, разумеется, — свою хлебную пайку! А уж маргарин или кулечек сахара в пятницу — тем более. У одного из таких идиотов я однажды пытался выяснить, в своем ли он уме. «Э, братец, — рассудительно отвечал мужик лет под тридцать в белорусской домотканой свитке, — пайку тую зъел, и немає... А марки етые — хорошие гроши. Посля войны, до хазяйства, вот тагды ани будутъ — ого!»

Как и многие другие, я уже тогда сомневался даже в железной логике немца, поднимающего с земли монетку в один пфенниг. Шины для велосипеда он еще, может, и купит... А вот что до «хазяйства» после войны... Не пришлось бы кому в том хозяйстве печку топить рейхсмарками!

Но рейхсмарки — это что! Мы ведь их сколько-то получали, значит, как не быть торговле. А вот то, что в лагере стали появляться Brotmarken, талоны на хлеб, отрезанные от немецкой продуктовой карточки, это как надо было понимать? Никакого другого ответа, кроме одного-единственного, что их продают сами немцы, быть вроде бы не могло. Даже если непосредственным продавцом был, допустим, поляк. Вот тебе и «нет черного рынка»!

Так или иначе, а вскоре купить в лагере хлебный талон — маленький красный прямоугольник грубой бумаги красного цвета с напечатанным на нем три раза словом (кажется, просто «Brot» — хлеб) и тремя «500 gramm» — стало обычным делом; были бы деньги. Цена была чаще всего 20 марок, но иногда она по каким-то причинам росла — до 25, а то и до 30 марок. Владелец талона отправлялся на прогулку в город — сам или передавал талон товарищу. И «гулявший» возвращался с буханкой.

Можно ли было таким способом добыть и другие продукты, не знаю. Во всяком случае, в Фюрстенберге — вряд ли.

А в успешно начинавшейся истории с устройством меня на кухню был, конечно, еще и хитрый замысел моих слесарных друзей, которые меня и подучили — как пожалостливей жаловаться, куда и как проситься. В чем он заключался, советский человек должен легко догадаться, поскольку кухня и столовая — это прежде всего еда и продукты питания. Которые, как известно, хранятся у хозяина под замком. Замок по-немецки *der Schloss*, а *Schlosser* — это слесарь. Очень понятное рассуждение.

Приняли меня на новом рабочем месте мирно, хотя и с некоторым недоверием — чужак, не свой. Кормиться, однако, сажали вместе с собой. Чего там, дескать, чиниться, если с нами работаешь. Работой особенно не допекали. Ну, почистить и нарезать лук (картошку в котел садились чистить все, начиная с повара, без разбор). Собрать со столов миски. И тому подобное.

Зато вскоре доверили важное и мало приятное дело: растапливать утром котлы. К шести часам утра им полагалось кипеть. Значит, разжигать надо было в половине пятого, а отправляться на работу — в четыре утра. Ясное дело, никому не хочется, а самому повару и его приближенным — тем более.

В этом-то ночном хождении поблизости от съестных припасов и был немалый интерес, сразу уловленный моими друзьями из мехцеха. И вскоре было мне поручено чрезвычайно секретное дело.

Притащился я, как всегда мерзнувший и жутко не выспавшийся, в четыре утра на фабрику. Голодным я себя теперь уже не считал — какой же голодный, если кормишься при кухне, а пайку можно разделить на две части и сжевать в свое удовольствие когда захочешь, хоть ночью. Открыл под надзором вахмана дверь кухонного барака, зажег свет. Вахмана все эти процедуры совершенно не интересуют, он тут же удалился, а я стал разжигать котлы. Налил воды. Разжег. Никого, кроме меня, нет, а все равно боязно: в кармане у меня аккуратно завернутый в тряпочку кусок чего-то мягкого, вроде воска, который я и должен сунуть в замочную скважину кладовки и аккуратно прижать; велено — большим пальцем. Чтоб получился «оттиск», слепок, по которому старшие мои друзья-приятели тайно смастерят ключ. А что, если она — смола эта самая — там приклеится, что мне делать? Ведь через час или раньше другие придут! Ничего, утешали меня, не должна приклеиться. Действуй смелей, только аккуратно!

Проделал я все, как было велено, несмотря на страхи. На комке воска (или, может быть, смолы) исправно оттиснулась

форма замочной скважины. Век живи, век учись...

Разумеется, кухня-столовая вовсе не была доверена нашему брату полностью. Опекать нас поставили даму, работавшую до этого на немецкой кухне подсобницей. Рыжая блондинка, по мне — некрасивая, лет тридцати. Обращалась с нами эта фрау Ида, скажем, Мюллер бесцеремонно, а по настроению — то просто грубо. Командовала то и дело без всякой надобности, всячески подчеркивая свою близость к лагерфюреру, которого называла при всех по имени — Вилли и на «ты». Подолгу жила, можно сказать, у всех на виду в его комнатах в доме женского лагеря. (Все хорошо знали, что муж Иды — на фронте.)

...Как примерно выглядит бородка довольно примитивного большого ключа, которым эта фрау Мюллер самолично открывает и запирает дверь в кладовку, я подсмотрел и как мог нарисовал друзьям еще до слепка.

Это сейчас легко сказать «получилось», а тогда... Тогда надо было тайно пробовать, откроется дверь кладовки секретно изготовленным ключом или не откроется. Или — самое страшное, а что, если ключ застрянет? А пробовать предстояло мне. При полном отсутствии такого рода навыков. Друзья-приятели, ворочая каким-то заржавевшим ключом в скважине бездействующего замка барачной двери, кое-как разъяснили мне тонкости предстоящей процедуры. Дня через два или три свежеспиленный ключ принесли вечером из мехцеха, до побудки ночью я со страху почти не спал. Встал, собрался, пришел на кухню и, когда растопил котлы, вроде бы уже и бояться перестал. А что? Вот, люди добрые рассказывают, как они там в мирное время магазин ограбили, сколько товару утащили, и ничего! Одним словом, дрожать я вроде бы перестал, закрылся изнутри и осторожно сунул теплый ключ в замочную скважину кладовки. Он туда благополучно вошел, и я его стал осторожно поворачивать.

Неужели получится?

Ключ повернулся, замок щелкнул! Надо же, с первого раза!

Дверь открылась, и я вошел в темную кладовку и закрыл за собой дверь, чтоб не попадал туда свет из кухни, чтоб не заметили снаружи. А уж как кладовка устроена и где стоит ящик с маргарином, а где холодильник с лошадиной колбасой — это я и так хорошо знаю. В ту же секунду через зарешеченное окно кладовки, от которого я стоял в каких-нибудь трех шагах, мне в лицо ударил сноп электрического света. Попался!..

Старшему другу и наставнику Мише большому, отлучившемуся из мехцеха уже в половине седьмого, я гордо

вручил здоровенную пачку маргарина, никак не меньше полкило, и целую колбасину (ту самую, из которой резали пайки, — из перемолотого с костями полусырого мяса). Спасло меня неполное среднее образование, по причине которого я в критическую секунду сообразил, что раз в кладовке темно, а снаружи — освещено фонарем с соседнего столба, то луч света от карманного фонаря, отражаясь от темного окна, внутрь почти не проникает. И что бдительный вахман, надумавший зачем-то посветить в кладовку, находится не у самого окна, а в нескольких шагах и, значит, через темное окно меня не видит.

Все же перепугался я тогда сильно. Но потом все равно очень гордился.

Поразительное дело — ведь получается, что продукты в кладовке, в том числе маргарин в фабричной расфасовке, пачками в стандартных картонных коробках — они не считали, что ли? Я ведь понимал: не может быть, чтобы повар со своей компанией не прикладывался, пусть без всяких особых ухищрений, к тем же припасам. Да и сама фрау Ида, получающая, как и все немцы, продукты по карточкам, вряд ли себя так уж ограничивала. Как это понимать, если у них — немецкая точность? Кто его знает... Так или иначе, а эта бесплатная кормушка действовала довольно долго.

Не надо считать, что мальчик был такой уж хороший и смелый. Ничего особо хорошего еще не было, только, может быть, слегка намечалось от постоянного воспитания Миши большого и вообще лагерной жизни. И пасовал я, бывало, боясь той же поганой Иды и ее лагерфюрера. И в победу Красной Армии еще не мог поверить, чего уж там...

Но бывали у мальчика и собственные идеи. Одна из них — татуировка, ее исполнения добивался, несмотря на противодействие Миши большого, с маниакальным упорством: «А как же! Ведь мы в лагере, мы как заключенные!» Сам изобрел картинку: восходящее солнце, крылья и меч. В несколько расплывшемся виде она видна и сейчас. На вопросы, что означает, как правило, не отвечал, а избранным объяснял: солнце с Востока, крылья свободы и карающий меч НКВД. Спустя несколько лет картинка эта и была внесена названным ведомством в некую секретную анкету в качестве моей «особой приметы».

Специалисты тех времен и тех мест кололи тремя перемотанными ниткой иголками, обмакнутыми в тушь, откуда она в лагере бралась — не знаю; сама же картинка изображалась химическим карандашом на листке бумаги как бы зеркально, и «переводилась» на кожу пациента, смоченную собственной

слюной. Когда тебя колют тремя иголками точка за точкой, это, мягко говоря, не безболезненно, но я терпел и своей картинкой очень гордился. Сравнивать вокруг было с чем, так что гордиться можно было разве что по молодости и глупости. В компании, с которой я теперь водился, изображения на телах были всякие. От воспроизведенных и в теперешнем справочнике МВД могильных крестов и «Не забуду мать родную» до весьма личных и, мне кажется, даже художественных. Была, к примеру, в женском лагере молодая дама, имя которой мало кто помнил, звали чаще просто «бой-баба». И у нее на той части тела, которая в анатомии именуется бедром, а в грубом просторечии ляжкой, красовалась надпись «Умру за горячую е...». Разве плохо сказано? Иногда она эту синюю сентенцию кому-нибудь показывала, просто так. Возможно, из любви к искусству.

Другая идея, появившаяся у мальчика много позже, была сложнее — добыть оружие, застрелить побольше фашистов и героически погибнуть. (Друзья постарше сурово велели не умничать и вообще не забывать держать язык за зубами.) В мечтах же мне то казалось, что такое время скоро настанет, то — что война если когда-то и кончится, то наши сюда не придут и нам тут все равно пропадать. По первому из этих вариантов была и такая заманчивая мысль: сообщить туда, нашим — чего и сколько производит фюрстенбергская фабрика «Faserstoff und Spinnerei», «волокну и пряжи». Вот бы! И тут впервые человек совсем не мальчишеского возраста, для меня тогда «взрослый» — сталинградец Петр, с которым у Миши большого завелись какие-то свои дела и разговоры, — прищурился, пожал плечами и промямлил, что-де кто знает... Почему не сосчитать?

И сосчитали. Благо все было «на поверхности»: производство начиналось с распиловки проката, стальных брусьев, на короткие чушки, отправлявшиеся в печь на разогрев и оттуда — под пресс. Никакого промежуточного склада между ними не было; сколько чушек напилено — столько снарядных гильз и произведет фабрика. Во всяком случае, ни на одну больше: запороть несколько штук по ходу производства еще возможно, а добавить нельзя ни одной — неоткуда. Ну, а у прессов, где тяжелее всего, работают наши. А сколько проходит раскаленных чушек через каждый пресс за смену, и спрашивать не надо: стократ ими с хорошим матом повторено. И что немцы то и дело пытаются «гнать», чтобы ускорить дело, но ускорить разогрев чушек все равно не удастся. Все очень просто...

Прочитавший это теперь, спустя шестьдесят лет, может иронически улыбаться, сколько ему заблагорассудится. К нему никаких претензий, он — в другом времени...

Чуть не все немцы, от кухонных девочек до мастеров и заводского начальства, на работу приезжали на велосипедах. Если шел дождь или снег — надевали поверх одежды защищавшие от воды специальные велосипедные накидки из клеенки или пластика. Ездили круглый год, благо зима там довольно теплая. Так что возле цехов и прочих служб всегда стояли в специально сделанных желобах-стойлах десятки велосипедов. И хорошие немцы — те, которые относились к нашему брату по-человечески, иногда в обеденный перерыв разрешали русскому, с которым вместе работали, прокатиться возле цеха. Или во время работы съездить до другого цеха и обратно — отвезти или привезти деталь или инструмент. Не раз перепало и мне от немецких «лерлингов» — учеников (которые, правда, поначалу не без недоверия спрашивали: а ты умеешь? а у вас в России тоже есть велосипеды?).

И вот такая история приключилась однажды на кухне. Нас, разумеется, чуть не каждый день навещал господин лагерфюрер. Не без некоторой игривости вопрошал, как дела; бывало, пробовал суп (и неизменно восклицал: «karascho!»). Похлопывал по спинке или иным подробностям свою Иду и садился с ней пить кофе, который она ему специально готовила. И подписывал бумажки, которые она заполняла на получение и расход продуктов.

В тот день они вроде бы слегка поспорили, и он начал даже покрикивать, как бы напоказ: дескать, в бумажках что-то не так. Зовет меня: «Эй, Михель, ты же умеешь на велосипеде?» — «Умею». — «Бери мой велосипед, кати в женский лагерь. Скажешь, что я велел, тебя пропустят. У меня в кабинете в ящике письменного стола лежит вот такой-то документ, там увидишь. И вези быстро сюда!»

Скажите пожалуйста, какое доверие...

Взгромоздился я на его велосипед с высоченным седлом и, едва доставая педали, поехал. Тамошний завхоз меня пропустил, показал дверь, она была не заперта. Я вошел в небольшую хорошо обставленную комнату с массивным письменным столом. Открыл выдвижной ящик этого стола и...

И прямо перед собой увидел — никакую не бумагу, а серо-черный поблескивающий пистолет. Рука, естественно, сама потянулась — схватить его, ну хоть посмотреть! Неужели заряжен?! К счастью, был я уже все-таки не совсем мальчиком, а лагерником. Даже вором, как я о себе гордо думал тогда, «работая» с подделанным ключом от кладовки. Так что руку я благоразумно удержал и к пистолету не прикоснулся. Осмотрелся, нашел лежащую тут же рядом разлинованную

казенную бумагу с цифирью, аккуратно взял ее и, сказав завхозу «ауфвидерзейн», покатил обратно, раздумывая, что бы это все могло означать.

И, еще не доезжая фабрики, решил — одно из двух. Либо лагерфюрер такой растяпа, что то ли не помнит, где у него пистолет, то ли не придает этому значения. Либо он меня хочет по меньшей мере проверить — ухвачусь ли. Отпечатки пальцев остались бы как пить дать. А раз так, надо играть «честного дурачка». Поэтому, поставив на место велосипед, я явился на кухню и, протягивая бумаженцию лагерфюреру, громким шепотом сообщил ему по-немецки: герр лагерфюрер, там у вас пистолет лежит! Лагерфюрер поглядел на меня с интересом: «Ты его трогал?» — «Что вы, конечно нет!» Он хмыкнул, что-то проворчал про себя; на том дело вроде бы и кончилось. Осталась только засевшая во мне противная тревожность.

Прошло совсем немного времени после этой непонятной истории, как очередная перемена в жизни не заставила себя ждать. Директор завода, имевший обыкновение время от времени носиться чуть не бегом по цехам и службам, что-то приказывая мастерам и начальникам, кого-то громко распекая, остановился в один прекрасный день возле нашей русской кухни. Завидя его еще на подходе, мерзкая фрау Ида уже честила кого-то из наших: «Los! Dawaj, schneller!», скорей, мол, — демонстрировала начальству свое прилежание. Директор остановился, рывкнул «Хайль Гитлер!» и понюхал воздух. О чем-то спросил нашу мегеру. Тут же, прямо как из коробочки, появился неведомо откуда и лагерфюрер. Директор ткнул пальцем в повара Петю, тот продекламировал несколько немецких слов — Suppe kochen gut, и еще что-то в этом роде. И тут...

И тут господин бетрибсфюрер Харлингхаузен воззрился на меня: «А этот что тут делает? Почему не в цеху?» Лагерфюрер стал объяснять что-то про больницу и «легкую работу». Директор рывкнул...

Короче говоря, в тот же день я отправился в мехцех, а там майстер Шульц, начальник цеха, справедливо рассудил, что ученичества с меня хватит, и тут же определил к верстаку, освобождающемуся с завтрашнего дня, потому что молодого слесаря-инструментальщика призвали в армию.

По правде говоря, отдавая в последний раз Мише большому подделанный ключ, я почувствовал некоторое как бы облегчение. Цех, конечно, не кухня, зато на работе буду теперь со своими, а не на побегушках у повара и его компании. И не надо перетягивать ночью котлы растапливать. Жаль, конечно, что кончилась

кормушка, но ничего не поделаешь, а может быть, оно и к лучшему. Не может без конца тянуться такое, рано или поздно догадаются, или случайно попадешься. («Операция ключ» вскоре возобновилась и без меня, в первое время кое-что перепадало и нам с Мишей большим. Но потом участники стали подозревать друг друга в утаивании «законной добычи», и между ними возникли споры-раздоры, которые перешли в глухую вражду.)

А в начале осени 43-го на заводе по разным цехам отобрали неизвестно зачем человек двадцать молодых парней, в том числе даже из горячих цехов. Сказали — поедете на переподготовку, техучебу или что-то в этом роде. Было не очень понятно, зачем это, когда людей на фабрике, особенно у станков, и так не хватает. Несколько дней опять было тревожно и беспокоино от этой неизвестности. А потом начальник заводских охранников, всегда улыбающийся старикан Майнке, пришел утром в лагерь, построил нас и повел на вокзал. Там мы сели вместе с ним в пассажирский поезд. Проехали памятный мне Нойбранденбург и еще часа через два прибыли в портовый город Штеттин, теперь это польский Щецин.

И там, уже на трамвае, приехали в пригород Фрауэндорф, в «Женскую деревню», прямо к проходной лагеря, выходящей на оживленную городскую улицу.

Глава четвертая. Штеттин

Вошли через чистенькую проходную на территорию. Остановились. Сопровождающий пошел куда-то — к здешнему начальству, наверное. Стоим, оглядываемся по сторонам.

Лагерь какой-то странный, можно сказать, миниатюрный. Два аккуратных барака, кухня-столовая, чисто подметенные асфальтовые (!) дорожки. Посередине — небольшой домик с высоким крыльцом, в остальном — такой же, как бараки. (Как вскоре выяснилось, это контора и жилая комната лагерфюрера.)

Оттуда он к нам и вышел, поразив странным видом: куртка с охотничьими зелеными отворотами, брюки-гольф, короткие сапожки-ботфорты. На голове — тирольская шляпа с пером. Круглая румяная физиономия, усы торчат в обе стороны. И нет повязки с фашистским знаком. Ни дать ни взять — «Кот в сапогах»! Так мы его сразу же окрестили, так «котом в сапогах» он на всю отмеренную ему жизнь и остался...

Речь он нам сказал очень короткую — несколько фраз на ломаном, но довольно правильном русском языке. Ткнул пальцем в сторону барака: «Ви проживайт комната нумер симнацат! Фсе обязан держат тшистота и поръядок. Нет поръядок я наказывайт — гума! Кто понимайт нимецки язык?» Ребята подтолкнули меня — давай, мол. Я поднял руку. Кот в сапогах сказал, что «перевотшик комната симнацат карашо», и уже по-немецки велел идти в барак располагаться. А завтра, мол, с утра на фабрику — работать. Перевода «гумы» нам не требовалось: привыкли, фюрстенбергский лагерфюрер с резиновой дубинкой (немецкое *der Gummi*, резина) не расставался почти никогда.

С первого же дня и часа начались в этом лагере какие-никакие, а все же для нас, для той жизни — чудеса. И чудо первое было — хорошие, хоть и двухэтажные, кровати (в Фюрстенберге были уже и трехэтажные) с настоящими матрацами; подушки набиты какой-то чистой белой паклей, а не соломой. И самое неожиданное — постельное белье. Простыня, пододеяльник, наволочка. Чертовщина какая-то...

Чудо второе: гораздо лучше кормили. Хлебная пайка, правда, чуть поменьше, зато вместо фюрстенбергской баланды — в обед здесь довольно сытное варево. Скоро стало понятно, что оно чередуется по четырехдневкам. Брюква, капуста, морковка или кольраби и, на четвертый день, самое лучшее — густой гороховый суп.

Чудо третье, замеченное нами не сразу: пусть здешняя

фабрика и дурацкая, зато в лагере никто тебя не унижает. Охранники-вахманы сидят себе по очереди на проходной, мы их не видим. Чтоб кто-нибудь из них зашел в барак — такого не бывает. Кот в сапогах каждый день обходит все комнаты — следит за порядком. Подметать, мыть пол, даже пыль вытирать (последнее было бы в Фюрстенберге вообще немыслимо) надо каждый день. И если все чисто, а койки аккуратно заправлены, то даже похвалит. Обещанная «гума» довольно долго остается для нас чисто словесной фигурой. Правда, прибывшие сюда раньше нас говорят — еще как бывает!

Зато работа здесь — дурацкая. В Фюрстенберге был все же серьезный завод, а тут — черт знает что. Фабрика — она в сотне метров от лагеря, на той же улице — больше похожа на мастерские какого-нибудь ремесленного училища, хотя и размещается в добротном, похожем на терем старинном здании из красного кирпича. Немецких рабочих нет — только мастера, обучающие нас здешней нехитрой премудрости — пилить напильником. Опиливать надо ребра и фланцы тяжелых чугунных отливок, напоминающих по форме глубокую кастрюлю. В каждой килограмм, наверное, десять весу. Нам совершенно ясно, что обработать их все на фрезерном станке было бы гораздо проще и раз в двадцать быстрее.

Иногда нас, всю фюрстенбергскую команду, усаживают перед грифельной доской, совсем как в школе, и майстер Арнд целый час звучным баритоном рассказывает нам, какие и для чего бывают инструменты. Сверла, зубила, плашки для нарезки болтов... Я чинно перевожу эту азбучную дребедень.

Майстер Арнд — пожилой, по нашей мерке, мужчина, брюнет, гладко причесан на пробор. Похож на кого-то из виденного до войны кино. Здесь поговаривают, что он — американец, но почему-то германский подданный. Непонятно...

Здешние мастера — они же надзиратели, потому что здесь на фабрике все «нельзя», все verboten! В уборную, черт бы их побрал, нельзя пойти без разрешения, а вернувшись, надо еще доложить мастеру, и при этом он будет долго смотреть на часы и что-то бормотать. Тьфу!

Впрочем, если какие-то умные немецкие начальники думают, что от нас, год с лишним вкалывающих на настоящем заводе, будет больше проку после возни с напильником со здешними чугунными «кастрюлями», то и пусть думают. Нам от этого никак не хуже. (Кастрюли эти были — какая-то корабельная деталь. Наверное, корпус той штуки, которую крутят на мостике, передавая команды в трюм, «машинного телеграфа».)

А недоумение — за какой такой надобностью нас сюда привезли — довольно скоро рассеялось. Обыкновенная бюрократическая глупость, «для плана», «для галочки». (Очень может быть, что в то время я этих слов не знал и употреблял более простые и звучные.) Наверное, каким-то высоким начальством строго приказано: привезенных в Германию невежественных русских перво-наперво обучить обращаться с заводским инструментом. А вновь привезенных-то уже и не хватает, это вам не 42-й! Вот и затеяли эту «профтехучебу», которой грош цена в большой базарный день.

(Впрочем, ее, «профтехучебу», мне еще припомнят. В 46-м начальник СМЕРШа получит откуда-то секретную бумагу, и которой будет написано про меня, что немцы посылали его на учебу. А кого ж посылают учиться, как не изменников Родины?)

В первый же вечер после работы на новом месте мы, трое фюрстенбергцев, пошли в барак к «местным» играть в карты, в очко. Верховодил там парнишка на вид, может, на год или на два старше меня, который, по его словам, был в Красной Армии лейтенантом и, попав в плен, сумел «перекантоваться» из военнопленных в нашего брата гражданского. Вел я себя в тот вечер глупо, с видом бывалого лагерника задавал дурацкие вопросы. Да еще довольно много выиграл в карты, почти две сотни марок. (Несмотря на уговоры старших из нашей «комнаты 17», на следующий вечер снова поперся играть и, естественно, все до пфеннига оставил там, в бараке у Васи-лейтенанта.)

Подушки, простыни и густой суп — это хорошо, а вот строгости — плохо. Из лагеря на фабрику только строем, обратно — тоже. После работы — только в лагерь, больше никуда. (В Фюрстенберге к тому времени выйти в город, если есть во что одеться, было уже делом обычным.) Правда, довольно скоро обнаружится, что и здешние строгости можно иногда обойти. У кого есть во что одеться, тем, оказывается, лагерфюрер иногда дает увольнительные — пропуск на выход из лагеря. Надо только лично к нему явиться, и он тебя будет придирчиво осматривать и что-то велит поправить или пошлет обратно в барак — раздобывать у товарищей другие ботинки или штаны. Увольнительная бумажка от лагерфюрера защищает от возможных неприятностей в городе: в случае чего ее можно предъявить полицейскому. Выдавалась такая справка, помнится, на два часа, но можно было и опоздать, а на вахте-проходной сказать, что долго не было трамвая после воздушной тревоги.

Здесь они случались часто; как правило, ночью, но могло начаться и пораньше — с вечера.

И еще со временем обнаружилось, что и в здешнем аккуратном заборе есть на задах лагеря дырки: проволочная сетка у земли отгибается, можно пролезть. И вернуться в лагерь через такую дырку тоже при необходимости можно незаметно.

Причин же для отлучки из лагеря в город было здесь гораздо больше, чем в «нашем» Фюрстенберге. Ну, во-первых, сам большой город. Ведь интересно посмотреть настоящий заграничный город. (И не каждый деревенский парень из наших побывал до войны хотя бы раз в городе. Очень может быть, что кто-то увидел первый раз в жизни трамвай именно здесь, в Штеттине.) Во-вторых, в этом городе не один наш лагерь. Мало ли у кого и где могут найтись земляки, а то и друзья или родственники. А если женщины?

Но есть еще «в-третьих», очень заманчивое. Это своего рода отхожий промысел.

Собственно говоря, поработать на стороне многим из нас случалось и в Фюрстенберге. Там это происходило всегда одним и тем же образом: немецкий рабочий, твой мастер или напарник, звал тебя к себе домой после смены — вскопать грядки, например. Или перетаскать уголь в подвал, или еще что-нибудь в таком же роде. А после работы тебя покроят.

Здесь же, в городе Штеттине, совсем другой «отхожий промысел».

Среди многочисленных ограничений военного времени и самых разных притеснений, которые терпели немцы от своей фашистской власти, были, оказывается, совершенно экзотические. В их числе такое: игрушек в продаже не было вообще. У историков не справлялся, но про город Штеттин знаю наверняка. Может быть, их просто запретили, чтобы не отвлекать рабочий класс от производства военной продукции? Не знаю. Но знаю совершенно точно, что в штеттинском лагере Фрауэндорф нелегально изготовляли простейшие детские игрушки и торговали ими — носили вечером в город, стучали или звонили наугад в двери и предлагали свой нехитрый товар. Цена, если находился покупатель, определялась договоренностью и выражалась чаще всего в талонах немецкой хлебной карточки.

Из конструкций игрушечных помню такую: несколько соединенных проволокой или склеенных деревянных планок; на них держатся на осях-гвоздиках свернутые из жести или плотной бумаги звездочки, покрашенные в разные цвета. Если бежать с такой штукой, держа ее повыше, звездочки будут вертеться. (То

же самое — при ветре.)

Если повезет на покупателя (чаще, конечно, покупательницу), то за такую штуку могут дать два, а то и три хлебных талона, на целую буханку. Получалось, конечно, не у всех. Были мастера этого дела, у которых не переводились хлебные талоны, они их в лагере нередко продавали. Мы, «комната 17», тоже пытались заниматься этим промыслом, но без особого успеха. Однажды и я отправился вечером в город с игрушками; проходил и проездил чуть не до ночи в трамваях с одной-единственной синей лампочкой в вагоне по улицам, на которых не горел ни один фонарь и ни в одном окне не пробивался свет.

Стучал и звонил и в подъезды больших домов, и в калитки особняков. Из трех или четырех игрушек, к тому же не моих, с трудом продал одну. После этого больше не пробовал...

Штеттинский лагерь Фрауэндорф — пересыльный; фабрика занимается главным образом примитивным производственным обучением молодых ребят, только что угнанных в Германию. Очень может быть, что нас сюда прислали из Фюрстенберга просто потому, что везти из СССР было уже почти некого; да и мест, оккупированных вермахтом, осталось там с гулькин нос... А какой-нибудь «план» старшие фюреры не отменяли, и нижним чинам иерархии надо было его как-то выполнять. Был известен и срок этого «профтехобразования» — то ли полтора, то ли три месяца. Мы, «комната 17», пробыли там гораздо дольше из-за каких-то недоразумений, кажется карантина.

Кроме Кота в сапогах — лагерфюрера, да еще вахманов на проходной, немцев в лагере не было. А всю необходимую работу — на кухне, по столовой, привезти-отвезти, разгрузить, перетащить и тому подобное — делали свои же русские парни, Вася-лейтенант в их числе. На фабрику их не посылали; это был, так сказать, «постоянный состав» — как в армии в запасном полку или в штрафном батальоне. Даже в домике лагерфюрера, в его конторе-квартире, был советский то ли помощник, то ли лакей. А его дружок — парень постарше и очень толстый, тоже не ходил на фабрику и вообще непонятно что делал. В лагере было известно, что оба они — бывшие советские военнопленные, записавшиеся в какой-то «туркестанский легион» германского вермахта. Ждут отправки туда, а пока всячески выказывают здесь свою преданность хозяевам.

С этими двумя орлами и произошло у нас однажды небольшое недоразумение.

В воскресенье фабрика не работала, можно было поспать подольше, побездельничать. «Каву», которую здесь носили с

кухни в эмалированных кувшинах, попить не торопясь, с хлебной пайкой. Одним словом — отдых. Хотя уборку в комнате все равно надо было сделать пораньше: всегда может налететь Кот в сапогах, помешанный на своем «тшистота und поррядок».

И вот однажды в воскресенье утром, когда половина народа еще полеживала, к нам в комнату заявляется младший из этих двух придурков и начинает нудить: вот здесь грязно, вот ты не убрал, вот господин лагерфюрер велел... Все это довольно шумно и начальственным тоном. Наши тихо отбрехиваются, никто из лежащих вставать не собирается.

Придурок повышает голос и пробует потянуть кого-то с койки. Тогда встает широкоплечий Демидов, берет того за локоток и просит не беспокоиться. Мы, мол, сами все знаем, иди себе по своим делам, а в наши не лезь. Тот кричит на Павла, машет кулаком. К Паше присоединяются еще двое наших, активиста берут за грудки и вежливо выпроваживают. Он вопит, за ним закрывают двери.

Через несколько минут раздается громкий топот, дверь распаивается, и к нам врываются оба будущих «легионера». Короткая схватка у самой двери. Младшему атакующему достается довольно крепко, с разбитым в кровь носом он удирает, Здоровенного старшего с трудом вытесняют в тамбур и оттуда втроем или вчетвером выкидывают из барака.

С полчаса ничего не происходит, а затем появляется Кот в сапогах в неизменной шляпе с перышком. Из-за спины выглядывают побитые. Лагерфюрер беседует с нами на повышенных тонах, но вежливо. Пытается выяснить: кто бил? Ничего не получается, мы тупо повторяем что-то вроде «а они сами...» и «это он споткнулся и с крыльца упал». После нескольких неудачных попыток лагерфюрер приглашает пройти с собой двоих, на кого показывают пальцем из-за его спины пострадавшие.

Наши возвращаются довольно скоро, один из них прихрамывает. На вопросы отвечают сдержанно и однообразно. Суть — пришлось познакомиться с обещанной нам в день прибытия «гумой». Очень больно? Да нет, ничего... Бывает хуже.

Очень скоро мне придется в этом убедиться.

Чем-то проштрафился у Кота в сапогах Миша Гасанов. Может, спер что-нибудь с кухни. Мише лет двадцать, он небольшого роста, крепыш с роскошной черной шевелюрой; страстный картежник. В Фюрстенберге работал в мехцехе и к истории с продуктовой кладовкой имел прямое отношение: выпиливал, «доводил» бородку ключа по снятому мною слепку. Если к нему

обращается немец, а тем более при малейшем недоразумении, средство у Миши одно: ласково глядит своими большими черными глазами, разводит руками и полным правдивости голосом повторяет: «Никс ферштэйн». Не понимаю, и все тут.

С Котом в сапогах этот способ, очевидно, не подействовал. Гасанов вернулся от лагерфюрера за мной: «Пошли, тебя Кот зовет». Контора лагерфюрера в каких-то двадцати метрах от нашего барака. По дороге Миша успевает объяснить: «Я там буду дурачка строить, так ты, давай, переводы попроще, не мудри!»

Приходим. Кот в сапогах спокойно задает Мише два или три вопроса, вроде «зачем же ты...» и «будешь ли опять...». Гасанов тихо и почтительно отвечает, что-де виноват, чего-то не знал и, конечно, больше не будет. Стою рядом с ним и повторяю его ответы по-немецки как можно тупее. «Карашо! — подытоживает лагерфюрер и обращается к Мише по-русски: — Сколко гума?» Во педагогика! Нимало не смутясь и подумав самую малость, подследственный отвечает «цвай» и показывает для убедительности два пальца. Кот на минуту задумывается, отрицательно крутит головой и объявляет: «Тры!»

Экзекуция совершается при мне. Миша опускает штаны, поворачивается спиной к Коту и нагибается. Тот достает из ящика письменного стола резиновую дубинку, подходит к Гасанову и, размахнувшись, сильно бьет его по задку. Миша крикает, но продолжает стоять в той же позе. Два оставшихся удара следуют один за другим, затем Миша разгибается. Утирает пот с лица и осторожно натягивает штаны.

Лагерфюрер укладывает инструмент на место и отпускает нас. Никакой ругани, все очень спокойно. Стойкость наказанного ему, мне кажется, нравится.

Сталинградец Павел Демидов — крепкий высокий парень лет двадцати пяти. Страшно аккуратный и рассудительный. Под спецовкой у него — каким-то чудом сохранившаяся ковбойка, всегда чисто стиранная. Меня он на правах старшего немного опекает вместо Миши большого. И вот однажды Демидов спокойным тихим голосом рассказывает мне, что слышал от кого-то про очень интересное дело. Есть один способ раздобыть хлебные талоны, причем не один и не два. Без всяких игрушек. Здорово! А что значит «раздобыть», как именно? Ну, это дело небезопасное, но он думает, что если мы попробуем вдвоем...

И вот мы с Пашей, приодевшись и получив законным образом «увольнительные», отправляемся под вечер в город. Для начала — на ближайшую к лагерю торговую «штрассе», где первые этажи чуть не в каждом доме заняты лавками и магазинами. Понемногу

темнеет, кое-где уже зажгли свет, но окна еще не зашторены. Мы прохаживаемся по улице, сначала по одной стороне, потом по другой: выбираем подходящую булочную.

Оказывается, и в этом суть замечательного способа, бывает, что продавец — чаще всего это сам хозяин, — отрезав от карточки талоны на хлеб, никуда их не прячет. У него там коробка для них на прилавке. Он их прямо над ней и стрижет, так ему проще... И когда других покупателей нет, он уходит из магазина к себе, в задние комнаты. Как только следующий покупатель открывает дверь — звенит подвешенный к ней колокольчик, и хозяин выходит. Так вот, войдя в булочную, когда хозяина не видно, надо быстро протянуть руку к коробке с отрезанными талонами и схватить их — только не все! А когда хозяин выйдет к прилавку, попросить с невинным видом хлеба — в Штеттине, оказывается, нашему брату иногда дают в булочной с полбуханки просто так, из сочувствия, наверное. А в некоторых булочных — продают без талонов, но за десять марок (вот вам и черный рынок). Откажет, ну и черт с ним, талоны-то уже в кармане. А вот вынимать их прямо на месте ни в коем случае нельзя — помяты, да мало ли что...

Примерно через полчаса мы находим «объект» и убеждаемся, что покупатели заходят в магазин довольно редко, а продавец появляется за прилавком не сразу. Темнеет. Мы решаемся. Павел остается страховать меня у входа в булочную, а я открываю дверь и бросаюсь к прилавку. Звенит колокольчик; почти не глядя, я запускаю пальцы в стоящий на прилавке коробок — мы его хорошо видели через окно. Сую ухваченные обрезки бумаги в карман и... теряю самообладание: не дождавшись продавца, вылетаю на улицу к Паше. Мы срочно ретируемся.

Вернувшись в лагерь и уединившись, разглаживаем и подсчитываем трофеи. Результат не ахти какой: больше всего талончиков по 50 грамм, на булочки к завтраку, черт бы их побрал. Все же буханки на две с чем-то набирается. И мы жаждем повторить вылазку, как только нас отпустят «на прогулку».

Знал бы, где споткнешься, — соломки постелил...

На следующий раз «операция» затягивается. Соваться в ту же булочную после постыдного бегства рискованно, другой подходящей нам все не попадает. В одном месте, едва Павел успевает войти в магазин, появляется продавец. Паша спрашивает «брот» и разводит руками, дескать, талонов у меня нет. Получает «за так» горбушку размером с нашу пайку. Не густо.

Темнеет, на витринах опускают жалюзи, многие магазины уже закрыты. Надо возвращаться. Уже на обратном пути мы

обращаем внимание на магазин, из которого выходит покупатель; через открывшуюся дверь видна колбаса, разложенная на прилавке, а продавец в белом халате тут же куда-то уходит. Останавливаемся и ждем. Вокруг никого, до ближайшего прохожего метров сто, если не больше. Мы быстро идем к крыльцу, переглядываемся — ну, пробуем!

Я вхожу в магазин и хватаю прямо с прилавка здоровенную колбасу. За моей спиной заливается колокольчик, а за прилавком, почему-то сразу, появляется тот самый продавец. Я бросаюсь наутек, сзади слышны крики и вслед за тем — пронзительная трель свистка.

Мчимся во весь дух. Павел командует: «Разбегаемся!» — круто разворачивается и несется куда-то вбок. У меня за спиной слышен топот, сейчас меня догонят! Вижу рядом решетчатую ограду и успеваю подальше забросить туда колбасу. Какой-то немец уже бежит навстречу; пробежав еще чуть-чуть, я останавливаюсь.

Меня хватают за руки, держат, шумят. Очень быстро появляется полицейский и первым делом надевает мне на правое запястье наручник — стальную цепочку с замком; другой конец у него в руке. Публика вокруг что-то гомонит про «они вдвоем украли колбасу!», а я пытаюсь «недоумевать»: что вы, где, какая колбаса? Полицейский приглашает кого-нибудь из присутствующих пройти с нами в Revier, в отделение полиции. Свидетели же, ссылаясь на дела и позднее время, понемногу расходятся. (Как в городе Черноморске, когда Паниковский так неудачно залез в карман подпольному миллионеру.) Махнув свободной рукой — да ну их, двигайся, полицейский ведет меня на цепочке в отделение.

Дорога занимает каких-нибудь 10–15 минут, отделение полиции оказывается почти рядом с фабрикой. Мои «размышления» в эти минуты помню до сих пор совершенно отчетливо. Очень просто: если меня заставят сознаться, то нас обоих отправят в концлагерь, тот же Равенсбрюк, и мы пропали. Значит, остается одно — не сознаваться ни в какую! Пашу они ведь не поймали, а если и поймают, он ни за что не признается; доказательств у них никаких. Тут я, конечно, вспоминаю о революционерах, которые не выдавали товарищей под пытками, и решаю доказать всем, что я мужчина и верный друг — стоять на своем. Что бы они ни делали. Пусть! Это вам не кухня в Фюрстенберге...

В отделении сидит за барьером пожилой офицер в очках и что-то пишет. Мой сопровождающий снимает с меня наручник и коротко докладывает. Офицер допрашивает меня, сначала

спокойно: из какого лагеря, как фамилия, номер, что делал на улице. Когда дело доходит до колбасной лавки, я начинаю свое: ничего не знаю, я был один, вдруг на улице крики, свистки, куда-то бегут... «А ты почему бежал?» — «Я испугался».

Это повторяется раза два, после чего полицейский офицер — он небольшого роста, широкоплечий и скуластый — снимает очки и выходит из-за барьера с резиновой дубинкой в руке. Орет, что вот уж он заставит меня говорить правду, и с размаху бьет. Очень больно, я корчусь и тоже кричу — за что бьете? Я же ничего не сделал! А где-то во мне сама по себе «тикает» мысль: раз я так решил, значит, все! Не сознаюсь, хоть убейте! А кричать можно. Как просто...

Запахавшись наконец, офицер бросает дубинку и командует полицейскому, чтобы меня, когда очухаюсь получше, отвели в лагерь и сдали «на вахте». (Все ясно! Он уверен, что если виноватому как следует всыпать, то он обязательно во всем признается. А раз не признается, то, значит, не виноват.) Да здравствует логика и немецкий порядок!

В бараке меня встречает Паша, он пробрался в лагерь на всякий случай через дыру, в обход проходной. Сразу же ведет умываться, ну, и вообще немного привести в порядок. По мне видно, так что особенно расспрашивать незачем.

Экспедиций за талонами и колбасой мы с ним больше не предпринимаем. А злую физиономию того типа в полиции помню с фотографической точностью до сих пор...

А на фабрике свои плохости. Больно уж тут помешаны на этих «тшистота и поръядок». Нас, явно презирающих здешнюю примитивную опилровку похожих на кастрюлю чугунных корпусов, то и дело «бросают» на хозяйственные работы. Перетаскивать чугун, грузить на машину тяжеленные ящики с обработанными «кастрюлями». Или целый день чистить бетонный сортир, мерзкий люфт-клозет, в котором собачий холод и неистребимая никакой «тшистотой» вонь. К тому же за малейшую провинность могут запросто вклеить оплеуху. Так что еще обрадуешься, когда попадешь обратно в цех или на «занятия».

На одном из них майстер Арнд, «американец», выдает нам сюрприз. Да еще какой!

«Вам не надоело про резьбу да про гайки? — спрашивает. — Вы же взрослые люди, все понимаете. Давайте поговорим лучше про войну! Кто победит, как вы думаете?»

Ничего себе вопросик! За кого он нас, интересно, принимает?

«Ладно, ладно! — иронически кривя губы, говорит мастер. — Можете не отвечать, я вам сам покажу». На стене висит

небольшая грифельная доска, сразу видно, что ею не часто пользуются. Майстер Арнд роется в кармане своего халата и выуживает оттуда кусочек мела: «Вот смотрите!» Округлыми, я бы сказал, красивыми, движениями человека, привыкшего чертить, он изображает на доске четыре окружности. Слева большая и справа большая. Между ними одна над другой две — намного меньше и не такие аккуратные.

«Это, — объявляет мастер, показывая на левый круг, — Америка, Соединенные Штаты! А это, — тычет в правый, — Россия, Советский Союз. А вот эти, — с явным пренебрежением показывает на две фигуры посередине, — Англия и Германия... Идет война, все в движении. Что же произойдет? А вот что: эти, с обеих сторон...» Энергично, двумя кулаками, он показывает, как движутся навстречу друг другу «большие». Публика в восторге, никакого перевода не требуется. «А что будет с теми, которые между ними?» — вопрошает мастер, театрально указывая на Англию с Германией. «Капут!» — радостно отвечает хор голосов. Немецкий майстер Арнд разводит руками. Усмехается, пожимает плечами: он, дескать, так не говорил...

Объяснений этому эпизоду не имею. Он был, этого мне достаточно.

Военнопленные мальчики. Одна из самых отвратительных, страшных историй войны, виденных там.

Рядом с лагерем Фрауэндорф ставят еще барак или два, огораживают их колючей проволокой. И через несколько дней там появляются мальчишки в каких-то лохмотьях, явно из неоднократно «б/у» обмундирования разных армий. Их много, и среди них нет взрослых — только немецкие вооруженные солдаты, которые их стерегут. На головах у мальчиков — истрепанные красноармейские шапки, пилотки или почему-то буденновки с шишаком на макушке и красной звездой. Мальчики грязные, истощенные. Никому нет и шестнадцати, это видно даже издали.

Как это понять? В Красной Армии служат теперь дети? И немцы взяли их в плен? Боковой забор лагеря, отделяющий нас от них, не заменен; колючка там всего в один ряд, сверху. Начинается общение, мы узнаем, что быстро отступающий на Украине вермахт подбирает за собой все мужское население; считается — «оказавшее неповиновение германским властям». Хватают любого, кто выше малого дитяти ростом, и считают военнопленным! (Дальше — не знаю; в ученых книгах о войне такого не встречал, но там — в городе Штеттине, поздней осенью или зимой 43-го, а может быть, это было уже в начале 44-го —

видел своими глазами и общался через проволоку с мальчишками от тринадцати до пятнадцати лет. Считавшимися вопреки любому закону и человеческой совести — военнопленными!)

Не к чести обитателей пересыльного остарбайтер-лагеря Фрауэндорф, не к нашей чести: много ли тех, кто им, пленным детям, помог? Увы, мало. Очень мало... Зато устраивали обмен: хлебную пайку от краденой или заработанной игрушками буханки — на оставшуюся у кого-то из них теплую рубашку. Или другую «тряпку».

К нашему, к моему, сожалению и стыду.

Нам сообщили, что возвращение в Фюрстенберг откладывается. Какой-то карантин. Неизвестно, так ли это хорошо, и не запроторят ли нас в конце концов еще куда-нибудь.

Наступает здешняя зима, больше похожая на осень. Мы продолжаем осваивать окрестности и уже знаем, что позади лагеря — территория штеттинского порта. За нашей оградой сначала пустырь, а дальше — множество сараев. Это склады. А из окон верхнего этажа фабрики видна вода, видны корабли у причалов. Несколько раз видели медленно плывущую подводную лодку.

Чаще становятся воздушные тревоги по ночам. Они касаются уже и нас: бомбят порт, это совсем рядом. Самолетов бывает не так много, и все происходящее во время налета — гул моторов, немецкие прожекторы и пальба зениток, иногда занимающийся пожар — хорошо видно и слышно из лагеря. Пока вроде бы не страшно. И в один прекрасный день после налета разносится слух: английские бомбардировщики подожгли склад сахара. Был пожар, сахар в мешках тоже горел. После того как пожар потушили, этот склад теперь почти не охраняют...

Первые же «разведчики», выбравшиеся ночью из лагеря через тайную дыру в задней ограде, возвратились с добычей — подмокшим сахарным песком коричневого цвета. Утром начинается «дегустация» — пробуют и с «кавой», и просто ложкой (столовой, разумеется, других у нас нет). Никаких сомнений: сахар как сахар, пусть «с дымком», но нам кажется, что так даже вкуснее.

Экспедиции за обгоревшим сахаром становятся регулярными. Идут вдвоем или втроем, один будет «на шухере» — спрятавшись, следить, в какую сторону движется охранник с ружьем, неторопливо шагающий всю ночь вокруг полуразрушенных сараев. В это время другие, забравшись внутрь, руками нагребают сахар в наволочки. Когда добыча собрана, а охранник ушел на другую сторону сарая, все трое крадучись (а если в это время

светит прожектор, то и ползком) уходят. Меньше чем через час они «дома», в бараке. (О себе. Я в сахарном раздолье не побывал. Как уже пострадавшему «на колбасе», Паша Демидов велел мне не рыпаться и взял наше с ним обеспечение сахаром на себя.)

Чего только мы не перепробовали за две или три недели, что были с сахаром! Сразу же выяснилось, что в Штеттине есть и другие «хлебные места». И они находятся в разных лагерях, расположенных в разных районах этого довольно большого города. Ночная дорога в порт там не известна, до сарая с горелым сахаром тамошним ребятам не добраться. Но у них бывает другая добыча, да еще какая!

Очень быстро обнаруживается лагерь при кожевенной фабрике. Там обрабатывают свиные шкуры, из которых пошьют армейские сапоги. Свежая свиная кожа с остатками сала на ней, вы себе только представьте! В каком-то другом лагере есть ребята, которые работают на фабрике дрожжей. Это известие вызывает у тех, кто постарше, бурный восторг. Несмышленной молодежи, в том числе мне, важно объясняют, что такое спиртовое брожение и какая от него бывает польза...

Совершаются тайные взаимные визиты, поступают вожделенные продукты обмена, и прежде всего — хлебные талоны. Кто-то приносит бутылочку из-под лимонада, наполовину наполненную спиртом, которым промывали какие-то детали.

Старшие «специалисты» опасливо пробуют и единодушно решают — годен. Павел тоже получает свою «порцию» на доньшке кружки. Но самое главное — у себя в бараке на печке мы теперь варим в котелках обрезки свиных шкур. Получается густой жирный суп. Если вынести его на холод, то за ночь он превращается в студень. Вот это жизнь!

Очень скоро у нас появляются и выменянные на сахар дрожжи. «Кану для кавы» (die Kanne — кувшин) превращают на несколько дней в бродильный чан. Результат положительный: после неких процедур в кувшине получилась пенная коричневая жидкость — брага. Сладкая и невероятно хмельная. Ксати, приближается Новый год, и специалисты, преодолевая сомнения (негде взять медную трубку, не из чего сделать змеевик и так далее), решают изготовить... Что?

Разумеется, самогонный аппарат!

У соседей по бараку одолжили еще один кувшин; на несколько дней «кава» отменяется для всех. А за день или два перед Новым годом, поздно вечером, с караульными за дверью и на подходах к бараку, в комнате 17 происходило тайное священнодействие — из сахарной браги варили самогон. Замечательная была сцена!

На печке кувшин с брагой, к его горловине примазана крышка от кастрюли, из нее торчит алюминиевая трубка, загнутая в сторону. Эти важные детали отыскивались на фабрике в куче мусора и отходов. Где-то раздобыли не то глину, не то густую замазку. Когда брага закипит, из трубки пойдет пар, который надо сконденсировать. В «настоящем» самогонном аппарате пар идет через змеевик, охлаждаемый холодной водой.

У нас змеевика нет, и конденсатором хотят сделать обыкновенную тарелку, добытую в столовой, здесь возможно и такое. Да только ее надо все время хорошо охлаждать...

В барак таскают в тазу снег, благо он выпал, хоть и немного. Наши умельцы, то и дело тихо переругиваясь и поучая друг друга, колдуют у печки; остальные почтительно наблюдают. Струя пара бьет о тарелку, тарелка потеет, капли жидкости изредка стекают с нее в подставленный котелок. Мало... Но процедура длится несколько часов, в котелке понемногу что-то набирается. Мастера, перешептываясь, пробуют на вкус. Я наблюдаю за происходящим с койки, со второго этажа. Большинство в комнате давно спит.

Так или иначе, а Новый год мы встретили с выпивкой. Каждый попробовал (пусть хоть каплю или просто лизнул языком) крепко пахнувший самогон. Названия такого запаха и соответствующего ему вкуса — «сивуха» я в те времена еще не знал. А после кружки браги — это была, наверное, первая в моей жизни настоящая выпивка, тем более со взрослыми — изрядно захмелел. Попросил еще и получил. Шатало меня во все стороны, я орал песню, а потом стал нести какую-то околесину — похвалялся «подвигами». Однако же все время видел себя со стороны и специально следил, чтобы не упороть чего о своем происхождении.

Мы по-прежнему не знаем, сколько нас еще продержат здесь. Говорят, что скоро отправят обратно в Фюрстенберг, но только говорят. Все чаще кто-нибудь из наших напоминает, что ничего хорошего нас там не ждет. Но ведь отсюда могут заслать и в такое место, что уж никак не обрадуешься. И ничего не поделаешь.

Недолгий снег уже сошел, начинается, если считать по-здешнему, весна. Однажды, когда стало тепло и полезла травка, нас повели в воскресенье на прогулку. Наверное, для лагерных новичков в Германии такая процедура должна была демонстрировать некое благоприятие со стороны немцев. Наша же гвардия, «комната 17», отнеслась к этому делу иронически. Но отказываться никто не стал. Можно и прогуляться, почему бы и нет?

Старик вахман привел нас на какой-то лужок в получасе ходьбы от лагеря, радостно повторяя: «spazieren, spazieren!» Гулять, мол. Ничего себе «гулянье» — строим. Кто-то предложил: давайте хоть споем? Давайте!

И запели. «Трех танкистов» для начала. Шагаем мы строим, весело орем песню, вахман одобрительно кивает: «Gut russisch singen!» А мы орем припев:

Гремя огнем, сверкая блеском стали,
Пойдут машины в яростный поход,
Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин
И первый маршал в бой нас поведет!

Про первого маршала (песня сочинена в конце тридцатых, так что это был луганский слесарь, он же нарком, по-нынешнему министр, обороны Клим Ворошилов) немец явно не разобрал, а Сталина, кажется, выловил. И одобрительно закивал: «ja-ja, Stalin kaput, karascho!» Как бы не так, старый хрыч! Наши небось уже чуть не всю Украину освободили, а вы все за свое... Это кому же теперь «капут», спрашивается?

В общем, погуляла на травке либеральная «komnata symnazat» и, как было велено, под наблюдением бдительного вахмана чинным строем вернулась в свой барак.

Прежде чем нам покинуть Штеттин, надо мне, наверное, рассказать по-честному еще про один здешний удивительный эпизод. Или, если хотите, про непривычное для нас явление.

Поздней осенью, еще до сахарной эпопеи, комната 17 узнала, что в городе Штеттине имеет место, вполне законно существует — что? Ну, что должно быть в портовом городе, согласно книжкам про буржуйские порядки! Проституция, ясное дело. И публичный дом, бордель. В том числе, внимание, Auslanderpuff — бордель для иностранцев. Вероятно, в целях расовой чистоты.

Старшие ребята отнеслись к известию с энтузиазмом, кто помладше — с нескрываемым любопытством. Это же надо — не в кино, не в книжке, а на самом деле, да еще открыто — бардак. Вот это да! Так или иначе, а собралась компания человек пять, снабдили их одежками попримичнее, и поход состоялся. После него трое или четверо в основном угрюмо отмалчивались. Ничего, дескать, там такого уж интересного. Ну, несколько не слишком молодых девиц. Изрядно накрашены... Ну, деньги,

десять марок, она требует «вперед». «Давай подробно!» — «А что еще? Я не очень и разобрался...» Один только мальчик Валя, на год, наверное, старше меня, был в восторге от изведенного и долго повторял, как «она спрашивает — а ты умеешь?.. Тут я ее... А она говорит — надо еще десять марок...».

Потом решили испытать это удовольствие еще двое или трое. Вернулись тоже в довольно мрачном настроении. На том заграничный разврат и закончился. Мероприятие не получило дальнейшего развития, как сказал бы советский партийный работник.

А незадолго до конца нашей штеттинской жизни приключилась совсем грустная история. Двое наших отправились за сахаром и в лагерь не вернулись. Говорили потом, что кто-то слышал ночью несколько выстрелов со стороны порта. И на следующий день лагерфюрер объявил нам, что они — в концлагере Пелиц, недалеко отсюда; отправлены туда за хищение «военной продукции». Назвал и срок — кажется, 56 дней. Немецкая точность, ровно восемь недель.

Еще Кот в сапогах сказал, что наша *komnata symnazat* ему уже давно — во где! Что никаких послаблений нам больше не будет, а если кого поймают вне лагеря, то пусть пеняет на себя. И что он, лагерфюрер, надеется распрощаться с нами как можно скорее.

В немилости мы оставались и в самом деле недолго: нас отправили обратно в Фюрстенберг. Месяца через два туда же вернулись Леонтий и Сережа, пойманные охраной штеттинского порта у сахарного склада. Битые, отощавшие, но довольные, что так обошлось — не навсегда в KZ, и на том спасибо.

А Кот в сапогах через несколько месяцев погиб при очередной бомбежке Штеттина. Если рассказчик, остававшийся после нас в том лагере, ничего не напутал через пять лет, когда мы с ним случайно встретились, то английская бомба угодила прямо в квартиру-контору лагерфюрера, когда он там находился. Я этого человека, которому дал кличку из детской сказки, злом не поминаю.

Глава пятая. Опять Фюрстенберг

У «себя» на заводе в механическом цехе оказался я у того же верстака, от которого уезжал в Штеттин. Рабочих с тех пор больше не стало, а работы прибавилось — ее то и дело несут из основных цехов. Очень даже понятно: Германию бомбят все чаще и сильнее, здешней продукции, наверное, уже не хватает, и завод работает на пределе. А что над Фюрстенбергом самолеты почти никогда не пролетают, так это ничего не значит. Наверное, им есть что бомбить поважнее этой фабрики.

А она, фабрика все больше становится женской. Харьковских женщин в общежитии по соседству с лагерфюрером тоже здорово уплотнили — там разместили еще с полсотни девчонок и взрослых женщин, пригнанных недавно с Украины. Кого-то определили на склад, кто-то возит на себе вагонетки с металлической стружкой или тележку с тяжеленными заготовками, а кого-то уже поставили к станкам. Не самая женская работа — ворочать заготовки, вытаскивать обточенные, перекладывать на конвейер.

Отправлены на завод и портной, и сапожник; вся мужская кухонная компания, кроме повара, тоже разобрана по цехам. Поубавилось и лагерных придурков — кроме нескольких стариков да одного-двух явных инвалидов все работают на фабрике. (Инвалиды — это не преувеличение и не моя выдумка. Работал в лагере, например, хромой уборщик, у которого левая нога была короче правой чуть не на четверть; передвигался он с трудом. На редкость полезные кадры отправляли в Германию фюреры по доставке рабочей силы...) И еще остались не охваченными этой начавшейся «тотальной мобилизацией» несколько больных — кранков.

Славное племя вечных больных существовало в фюрстенбергском остарбайтер-лагере, наверное, с самого начала. Во всяком случае, когда нас сюда привезли в мае 42-го, больным было велено сказать еще до распределения на работу — в первый же вечер, когда набивали соломой будущие матрацы. И несколько человек откликнулись сразу же. Григорий С., Гриша, невероятно бледный человек лет двадцати пяти, попытался объяснить лагерфюреру, что у него язва. Он, мол, готов работать, но ему нужно диетпитание. Тот явно не понимал и начал свирепеть. А как по-немецки «язва», никто вокруг сказать не мог. И тогда Гриша выложил козырь: назвал обе своих язвы, желудка и двенадцатиперстной кишки, по-латыни: *Ulcus ventriculi* и *Ulcus*

duodeni...

От такой учености лагерфюрер осатанел окончательно; орал, что Германии нужны рабочие, а не больные. Так что на следующий день Гриша был отправлен в какой-то цех. Был он на самом деле очень болен и жить на лагерном пропитании не мог. Несколько раз его освобождал от работы заводской медпункт, прописывали ему, как он говорил, диетическое питание. Кончилось дело тем, что из лагеря его отправили вроде бы в госпиталь, а оттуда якобы насовсем домой. За достоверность последнего не поручусь.

Тогда же, при первых «смотреинах» объявил о себе крепкий парень, стриженный под машинку. «У меня ж сифилис, — тихим проникновенным голосом объяснял он стоявшим поблизости. — Вторая стадия. Надо им, наверное, меня изолировать, а?» И направился к лагерфюреру. Никаких шумовых эффектов от этого не последовало. Лагерфюрер показал руками вниз, Георгий расстегнул и спустил штаны, и лагерфюрер с видимым интересом стал его рассматривать.

Продолжения не помню, знаю только, что после довольно долгого хождения в медпункт Жору, как не представляющего опасности для окружающих, определили в горячий цех и он стал получать полагающийся ему дополнительный паек «шверст» — за самую тяжелую работу. А про сифилис я его с некоторой опаской расспрашивал гораздо позже, и он снисходительно пояснил, что любую язву на теле не так уж сложно сделать (как в твеновском «Принце и нищем»?). Если умеешь, то это, мол, совершенно безопасно даже на причинном месте...

А вот если кто действительно всерьез заболел, то дело было плохо. Кроме явных производственных травм и ожогов или температуры под сорок градусов, ни лагерфюрер, ни доктор в заводском медпункте ничего не признавали. Так было и со слесарем Володей Сурядновым, моим покойным земляком. Очень долго у него пухла и постепенно чернела нога; ходить на работу он уже не мог, лежал в бараке. Долго и безрезультатно понукали лагерфюрера — пропадет человек зазря!

Когда за Володей наконец приехали, чтобы забрать в больницу, было уже поздно.

Что же до кранков себе на уме, то самым знаменитым из них был известный всему фюрстенбергскому лагерю именно в этом качестве упитанный мужчина средних лет с золотым зубом и неизменной улыбкой. Так он и звался: Ленька-кранк.

Чем именно был болен Леонид батькович З., не знал, возможно, никто. Это не помешало ему безбедно прокантоваться в лагерных придурках-уборщиках до самого 45-го года. И

поскольку на уборку бараков оставляли в лагере, как правило, всего на несколько дней, действительно больных или легко травмированных на фабрике, то есть людей временных и в тонкостях этого сложного дела не искушенных, то Леня исполнял лично только самую трудную и ответственную работу — руководил ими.

У кранков, постоянно торчащих в лагере, достаточно свободного времени, чтобы заниматься всевозможной коммерцией. Так что среди них есть люди богатые — приодевшиеся, с лишней пайкой или хлебным талоном, при деньгах.

Раз в месяц, сразу же после получки, наши деньги начинают с нарастающей скоростью циркулировать по баракам, и через несколько дней очень большая их часть собирается в карманах нескольких лихих людей — удачливых картежников. (Среди них нередко бывали и рассудительные вечные больные.) Потому что игре на только что полученные деньги со страстью предается чуть не весь мужской лагерь. Ведь это единственная, может быть, радость души, какая доступна здесь нормальному человеку. И к тому же надежда, пусть призрачная, разбогатеть — всего за одну ночь! Двадцать одно, оно же очко, великая игра, уравнивающая профессора, если бы он здесь был, с последним придурком...

Первый вечер за спинами игроков слышно чаще всего: «на три марки!», «на пять!» и прочие скромные числа. А на вторую или третью ночь можно увидеть, как тишайший кранк или здоровенный прессовщик (бывало, не умывшись с работы, весь в копоты), сорвав банк или после удачного «стука», сгребает со стола такую кучу купюр, что и без долгого счета видно — в ней не одна и не две сотни рейхсмарок. И страсти у зашмурганного стола в фюрстенбергском бараке кипели с тем же накалом, что в «Пиковой даме», за это ручаюсь.

И я бросался очертя голову в этот омут. Выигрывал мало и очень редко, проигрывался почти всегда в пух и прах. А раза два даже закладывал выигравшим что-то из одежды, за что был внушительно бит Мишей большим. Зато общался на равных со старшими. С силачом Леней Чумаком, с Иваном Бабенко, прозванным в лагере за могучий бас Шаляпиным, с заводилой Мишей Сухоруковым — справедливыми и сильными мужчинами, умевшими постоять за себя хоть перед крикливым мастером в горячем прессовом цеху, хоть перед самим лагерфюрером.

А про «стук», наступающий по утروении банка (за что владелец колоды получает, даже если уже не участвует в игре, некую обязательную плату), про роковое для банкира число

«казна-семнадцать», про долги «на отбой», про блеф и прочие психологические тонкости и премудрости великой игры — кто же расскажет! Почему-то в современных описаниях правил картежной игры, напечатанных в дорогих книжках с картинками «Азартные игры» и тому подобных, никаких красот и тонкостей игры в двадцать одно нет и в помине. А жаль!

Сколько ни подчищали лагерных придурков, все равно оставалась непыльная работа, без которой фабрика обойтись не могла. (Или же заводские начальники вместе с лагерфюрером не представляли себе, что без нее можно обходиться, но для этого надо что-то изменить в заведенном порядке.) А значит, оставались при ней и наши ребята — других людей взять было негде. При грузовой автомашине, которая кроме прочих грузов возила на завод и в лагерь продукты, остались двое семнадцатилетних мальчиков, два Николая. Остался и третий Николай, возивший на тачке (в изначальном, прямом смысле этого слова) заводскую шипучку «браузе» из подвала, где он помогал старику немцу ее разводить и газировать, в немецкую столовую. Его же нередко посылали помогать двум другим Николаям — разгрузить машину, перетащить мешки, ящики. Вскоре это обстоятельство не замедлило использовать заинтересованные лица.

Ясно, что за человеком, который чуть не каждый день едет в кузове вместе с хлебом, присматривают. Украсть, может быть, не так и сложно, но трудно вынести. А вот если тебя прислали помочь на какие-то полчаса — это совсем другое дело. И ребята понемногу приспособились сгружать Коле-браузнику, по буханке, а то и по две и по три — под спецовку, прижимая хлеб к животу. Коля прятал эти буханки в своем лимонадном подвале и потом, возвращаясь с работы, выносил с завода в лагерь. Втягивать для этого живот ему было не трудно — худющий, как спичка.

Беда все же случилась — однажды заводские вахманы остановили Николая на проходной и нашли у него под спецовкой буханку хлеба. Вернулся он в лагерь через три недели, к которым его в два счета приговорил какой-то, по Колиному описанию, «полицейский судья». Сидел в тюрьме в одиночной камере, кажется, в том же Ной-Штрелице, где я побывал в больнице. Днем его выводили на работу — убирать двор, перетаскивать с места на место камни. В остальном режим был такой: один день — по кружке воды утром и вечером и кусок черного хлеба (грамм сто пятьдесят, считал Коля); на следующий день — одна кружка воды и больше ничего...

Во что Николай превратился и как он выглядел, вернувшись

оттуда, представить себе сейчас, в более или менее нормальной жизни, уже трудно.

И еще трудно представить в нормальной жизни, как может человек обходиться без мыла. В фюрстенбергском лагере соорудили в конце концов в одном из барakov душевую; несколько раз в день там теперь шла более или менее горячая вода. Она подведена и к нескольким кранам в умывально-постирочном помещении. Приходящие с фабрики после смены могут теперь вымыться более или менее по-человечески. Но без мыла — его не было и нет.

На заводе во всех цехах есть ящики с хитрой смесью: мелкие древесные опилки (может быть, специально для этого приготовленные) перемешаны с эмульсией, которой охлаждают резцы или другой инструмент при обработке металла на станке. Совершенно замечательно оттирает грязные руки! Раз ничего другого нет, надо мыться опилками. Ну ладно, а чем стирать?

Сначала довольно долго было — ничем, одной водой. Потом стали выдавать раз в месяц немного едкого сыпучего вещества для стирки. Это вещество, совершенно забытое теперешними домашними хозяйками, — кальцинированная сода. Научное название — бикарбонат натрия, Na_2CO_3 .

На рассвете, совершенно неожиданно, лагерь оглашается лаем собак, свистками и грозными криками по-немецки: «Всем подняться! Выйти из барakov! Поживей! Los! Dawaj!» Вдоль всего забора — вооруженные эсэсовцы с овчарками, другие врываются в бараки и выгоняют нас, стараясь пнуть побольней прикладом, а то и сапогом. Однако это не немцы. Налет на рассвете — уже не первый, и все хорошо знают, кто такие эти эсэсовцы: парни из Латвии и Эстонии. Их гарнизон (в лагере считается — секретная карательная команда) в лесу недалеко отсюда, называется Данненвальде...

Мерзкая процедура обыска длится недолго. Когда в половине шестого на фабрике гудит сирена, «первый гудок», каратели, бранясь и пиная каждого, кто подвернется под ногу, покидают лагерь и становятся в строй за воротами. Нам разрешают войти в комнаты. Там все безобразно перерыто и раскидано по полу, часть матрасов разорвана, солома из них высыпалась. У кого были спрятаны игральные карты — пиши пропало, каратели их забрали. Больше ничего запрещенного, к счастью, не нашли.

Первая смена будет приводить жилище в порядок только вечером: через несколько минут, в шесть утра, надо быть в цеху, включать станок...

В цеху, который называется «фертигверкштатт», заготовки проходят последнюю, чистовую обточку. Они уже готовы и не такие громоздкие и тяжелые, как после прессов, перед черновой обточкой в цеху, именуемом «шруппверкштатт». Так что у станков здесь стоят почти сплошь женщины. Разумеется, в основном наши. Одна из них — фигуристая блондинка в аккуратном синем комбинезоне, всегда чистеньком, отстиранном до голубизны. Это Майя, она тоже из Харькова, намного (целых три или четыре года!) старше меня.

Полтора года назад, в тот день, когда нас привезли сюда и лагерфюрер читал нам свою вводную проповедь, эта девчонка тоже выглядывала из окна. А я вздрогнул — где я ее уже видел? Не хватало мне только встретить здесь кого-нибудь, кто обо мне знает лишнее!

Впрочем, симпатичная блондинка, внимательно на меня поглядев, никакого интереса дальше не выказывала. Только несколько недель спустя, встретившись на ходу в цеху, тихо спросила: «Ты как, Миша, ничего?» А я окончательно уверился, что это — Майка Ш. из нашей харьковской 36-й школы. И что ей тоже не надо обращать ничьего внимания ни на себя, ни на наше с ней знакомство вприглядку. По той же самой национальной причине...

Вернулась она из Германии домой или нет, верно ли я о ней догадывался — не знаю и теперь.

Взрослые парни меня совершенно не стесняются, кому-то из них, наверное, даже нравится так просвещать меня. Так что я теперь жуть какой «образованный» по части женщин — с чужих слов... И хорошо вижу, что любовные истории на заводе в Фюрстенберге множатся. Ничего удивительного: и женщин стало больше, причем разного возраста, от девчонок примерно моих лет до вполне пожилых тетенок, и строгостей в лагере меньше. А еще я начинаю догадываться, что кроме романов «своих», лагерно-лагерных, образовались тайно и другие. Вот это да! А как же заповедь лагерфюрера («кто тронет...» и так далее)?..

Довольно скоро понял, что секреты эти — ох, не очень тайные. Что-то вроде известного шила в мешке. На работу ведь приходят — на ту же фабрику. А то и в один и тот же цех. В ночную смену тоже, разумеется. Мало ли по какой надобности кому и когда приходится отлучиться с рабочего места! Те еще тайны.

Миша большой в ответ на мои вопросы (восхищенные, наверное) назидательно пробурчал что-то вроде того, что «а ты

как думал? Они деревянные, что ли?».

В подробности вдаваться не хотел бы.

Слесарю полагалось, по здешним понятиям, уметь самому отковать заготовку, выточить деталь на токарном станке, фрезеровать, шлифовать, калить стальные изделия и так далее. Так что еще до Штеттина я поработал на разных участках и даже в других цехах. Где по несколько дней (у токаря, например), а где и две-три недели. Однажды увидел на столе у мастера Фирига плоскую деревянную шкатулку, там в бархатных гнездах лежали плитки Иогансона. Об их существовании я знал из довоенной детской книжки «Фабрика точности», фамилию автора помню и теперь — Меркулов, самих же плиток, естественно, никогда до этого не видел. Мне стало интересно, и я попросил мастера дать посмотреть. И он разрешил мне повозиться с замечательными плитками, которые, когда их складывают впритирку, держатся сами по себе, словно склеенные. Ими проверяют размеры, когда требуется особая точность. На фюрстенбергской фабрике это прежде всего калибры.

На следующий день мастер уже дал мне посмотреть в специальную лупу на риски, которые он наносил на шаблон, отмеряя плитками Иогансона два размера с ничтожной разницей (кажется, это было пятнадцать сотых миллиметра или что-то в этом роде). Потом разрешил самому померять... И вскоре обнаружилось, что мне тоже удастся отмерять и фиксировать на металле такие ничтожные расстояния. (Попутно открылось, что об Иогансоне мастер не слышал — здесь эти плитки называются не по имени изобретателя, а просто Endmass, буквально — «конечный размер».) Кто-то в цеху выразил недовольство — как это русскому разрешают возиться с такой дорогой вещью; но мастер Фириг только пожал плечами — пусть пробует, если у него получается, а за плитки отвечаю я.

А теперь мастер Курт Фириг, который раньше занимался учениками, работает в цеху рядом со мной, за тем же верстаком — изготавливает калибры для приемки заводской продукции и проверки вышедших из ремонта деталей оборудования. При образовавшемся здесь к сорок четвертому году явном дефиците кадров никто, кроме него, делать этого не умеет, других лекальщиков нет. В общем, вскоре пришел начальник цеха и велел мне оставить те железки, которыми я занимался, и помогать мастеру Фиригу. Работа интересная и тонкая, мне теперь полагаются самые лучшие инструменты и чистые мягкие тряпки, специально чтобы вытирать руки. Но...

Но мальчик к тому времени сильно повзрослел. Почти

восемнадцать — это уже не шестнадцать. К тому же почти два года лагерной жизни. К тому же — дела на фронтах. Так что мои «политические взгляды» очень даже определились: Красная Армия побеждает, Гитлер капут, а нам придется отвечать перед Родиной за то, что работали на Германию. До сих пор я, по крайней мере, снарядов не делал, а теперь? Теперь меня наверняка спросят: а то, чем их мерили, кто делал? То-то же! И поделом мне — сам полез к мастеру с этими плитками, вот и достукался. С некоторой натяжкой можно сказать, что будущий протокол допроса уже представлялся мне примерно таким:

Вопрос : Что производил завод, на котором вы работали в городе Фюрстенберге?

Ответ : На заводе изготавливали «стаканы» — стальные гильзы для зенитных снарядов.

Вопрос : Расскажите подробно о вашей преступной деятельности, относящейся к участию в производстве снарядов для германской армии...

Этих суровых формулировок я, конечно, в то время еще не знал. Скоро узнаю — всего через полтора года.

А лагерная жизнь после налета эсэсовцев идет своим чередом. Всем понятно, что теперь их долго не будет, и если у тебя водится что тайное или запретное — можно пока не так заботиться о схроне. Это относится и к картежникам — за игру в карты «гоняют», и если налетит особенно вредный вахман или сам лагерфюрер, то могут тут же схватить со стола все деньги, и пиши пропало. Так уже бывало, и вопрос — а куда эти деньги потом деваются? — тоже возникал. Безответно, разумеется.

В лагере появилась откуда-то гитара, потом вторая; наверное, тем же путем, что рубашка или ботинки. По вечерам поют теперь, бывает, совсем другое — чем хуже дела у немцев на фронте, тем веселее песни. Неизвестно откуда приходит, например, такая вариация все того же «Синего платочка»:

Синенький рваный платочек
Ганс посылает домой
И добавляет несколько строчек:
Дескать, дела — ой-ой-ой!
«Бежим, дрожим,
Мы по дорогам чужим...
Крутится летчик, бьет пулеметчик,
Дома не быть нам живым...»

Неизвестные авторы заимствуют также мотивы из популярных до войны кинофильмов. В ход идет «Крутится, вертится шар голубой...» из трилогии о Максиме и преобразуется вот во что:

Танки и пушки фашистов громят,
Летчики наши на запад летят!
Подлого Гитлера черная власть
Крутится, вертится, хочет упасть...

Это, конечно, очень скромный пример. Гораздо больше такого фольклора, что при печатном воспроизведении был бы почти из одних многоточий. Например, про японских союзников Гитлера: «В Китае ваш микадо бой ведет, // В Китае ваш микадо.....! // ... китайского народа, вас, японская порода, // ото ... до.....!» Вот такое истинно народное творчество.

Гораздо чаще, чем год назад, кто-то продает немецкий хлебный талон. Однажды меня посвятили и в такой вариант: их не только покупают у немцев. Есть, мол, один такой человек, который... «Который что?» — «Ну, он их сам делает. Рисует!» Рисовальщиком оказался парень из горячего цеха, которого все зовут не по имени и не его настоящей фамилией, а просто Сотским. Это потому, что он залихватски поет под гитару свою «личную» песенку: «Якбы я був полтавським сотським, багато б де чого зробив...» — и далее про то, как полтавский начальник упразднил бы зиму и устроил райскую жизнь, при которой все его подданные «ходылы б як святи по небу без сорочок и без штанив...».

Немного стеснясь, Иван Сотский объяснил и мне, что очень уж худо ему было в лагере без любимого рисования, вот и занялся понемногу талонами. Что еще дома он, кроме рисунков для школьных выставок и картин для односельчан, пробовал рисовать советскую сторублевку и что она получалась вполне приличной. «Сто ихних марок теж можна намалюваты, так то дуже складна робота та фарбы нэмае. Выгиднише талоны — одна червона фарба...»

Добавлю — не только один кирпично-красный цвет, но и плохая бумага, похожая на газетную. И все равно — поразительное дело: фюрстенбергские булочки долго принимали рисованные изделия Сотского (на обрывках немецких

газет?) за настоящие хлебные талоны.

Не только Сотского — многих людей в лагере никто не зовет (и, разумеется, не знает) по фамилии. Есть клички. А раз уж кличка приклеилась к человеку, значит, она «в самую точку». Она легко запоминается, и никакой фамилии не надо.

Есть даже свой лагерный Сталин.

Это небольшого роста коренастый старик (так мне, во всяком случае, тогда казалось) лет пятидесяти. Бровастый, усатый, ходит чуть вразвалку — совершенно как товарищ Сталин в кино. И во рту, как у товарища Сталина, торчит трубка (возможно, без табака, потому что его нет). Когда их привезли откуда-то с Западной Украины и распределяли на работу, лагерфюрер ахнул: «Stalin!» Произносили немцы эту фамилию по-своему — Шталин («st» в начале слова или слога по-немецки читается как «шт»). И дед, который очень скоро попал в лагерные придурки, сначала в уборщики, а потом вместо кого-то из разжалованных «полицейских», так и остался Сталиным. Явно этим гордился. От него, от «Сталина», вскоре получил новую кличку наш Колябрауэник: старик не раз пренебрежительно замечал, что тот «тонкий, як запалка», спичка по-украински и по-польски.

Словечко «приклеилось», Николая стали звать Запалкой.

А нескладного Женю, отличавшегося тонким голосом, какой-то немужской ширины бедрами, мечтательным взглядом и постоянной кокетливой, что ли, улыбкой на губах, — его как с первого дня назвал кто-то, прошу извинить, Целкой, так он с этим именем и остался. Несмотря на женственную внешность и ужимки, работать его послали в горячий цех. По какой причине был он таким — не знаю.

Нескладный белорусский парень лет, наверное, двадцати с чем-то был известен всему лагерю с первого дня как «Иван-немец». Когда в первый лагерный день нас тогда выкликали по именам и фамилиям, распределяя на работу, прозвучало: Иоганн Винке (фамилию — совершенно такую же, явно немецкую, я здесь чуть-чуть изменил). Лагерфюрер воззрился на него в недоумении, а сам Иоганн стал объяснять на довольно корявом немецком, что он фольксдойч, то бишь немец по национальности, и потому хорошо бы «никс барак». Лагерфюрер потребовал документы. Иоганн развел руками: дескать, там, в Белоруссии, не успели оформить, как его забрали и отправили в Германию.

Тогда после этих объяснений ничего со стороны немецких начальников не последовало. Иван-немец остался в лагере, вкалывал на заводе в цеху, как все. И вот теперь — явление: Иван

ходит из барака в барак и радостно показывает всем немецкую напечатанную бумагу с подписями и печатью. Иван, теперь уже почти совсем Иоганн, не очень разбирает казенный немецкий, но хорошо знает, что ему сказал лагерфюрер: завтра его отправят отсюда в какой-то совсем другой, особый лагерь. Показывает бумагу и мне. Местом назначения значится там Litzmannstadt — польский город Лодзь. Там Иван будет проходить, говорится в бумаге, Eindeutschung (теперешние словари переводят это слово как «онемечивание»). Проще говоря, его там переписут в немцы.

Наутро он, вымытый, вычищенный и немного приодетый, распрощался с нашим лагерем и уехал в свою новую жизнь. Отправляют там свежее испеченных немцев сразу на фронт, который неуклонно приближается к этому Лицманштадту с востока, или это происходит погода — не ведаю.

Зато видел и слышал, как уговаривали людей идти служить во власовскую армию. Однажды в обеденный перерыв появились на заводе три немецких офицера, из которых у двоих мундиры были похуже и с нашивкой «РОА» на рукаве. Собрали всех военнопленных, кто был в дневной смене, и офицер в хорошем мундире произнес речь, обещая тем, кто запишется в «русскую освободительную армию», всяческие блага. Другой в офицерской форме с нашивкой, явный русак, громко переводил способом «господин обер-лейтенант говорит, что...» и в конце произнес даже несколько фраз от себя — как было ему плохо в плену и как хорошо теперь в РОА...

Оборванные и голодные слушатели молчали. Несколько минут агитаторы мялись, потом начал что-то говорить третий, тоже русский. И тут в задних рядах кто-то свистнул. Началась легкая паника, забегали солдаты-охранники. «Митинг» быстро свернули, и агитаторы уехали. То ли совсем ни с чем, то ли записав одного-единственного согласившегося.

Вскоре после этого был еще один случай, когда на площадку перед столовой собрали русских — на этот раз и военнопленных, и нас. Всех, кто был в смене, кроме женщин, которым вроде бы сказали, что им не обязательно. Налетел сам директор-бетрибсфюрер Харлингхаузен и, брызгая слюной, стал орать, что мы — это та самая смена, в которой за несколько дней до этого ночью произошел ужасный саботаж: снарядные заготовки, уложенные на стеллажах для остывания перед обточкой, употребили по малой нужде. (Кто-то в них пописал, проще говоря.)

Дальше последовало грозное веление: выдать виновных, которым еще лучше — признаться самим добровольно. Народ

впереди молчал и делал постные мины, в задних ряда слышалось тихое ржание. После чего оттуда спросили: «А фрау варум никс? А дойч?» И тогда господин директор зашелся окончательно. Разобрать можно было только, что все мы саботажники и мерзавцы, что виновные найдутся и за такое надругательство над германской военной продукцией — будут повешены. Об этом он сам позаботится!

Стало жутковато, запахло хорошо известной в те годы акцией — каждого десятого... И вот уже господин директор с воплями и с кулаками набросился на стоящего поблизости военнопленного, уже подскочили к тому солдаты-конвоиры и... И потащили пленного в сторону, выкрикивая на ходу в сторону директора что-то не очень любезное. (Наверное, что за пленных отвечают они?) А нам велели разойтись по цехам. На том процедура и закончилась — по сути, ничем. Ни обещанных страшных кар, ни заметных расследований не последовало.

Может, господин директор просто побоялся доносить про это дело в гестапо или куда там у них полагалось? Чтобы ему первому не всыпали за такую «неарийскую» историю?

...Приезжает в город на телеге Baug, мужик, — сдавать куда полагается масло. С чиновником, который принимает продукт, он ладит; оба довольны, чем — можно не объяснять, поскольку масло в Германии выдается по карточкам. (Существовали такие конторы, или это придумано, я понятия не имею. Я пересказываю анекдот.) Чиновник в своем кабинете угощает мужика кофе, тот пялится на незнакомые предметы. Видит глобус. «Послушай, — спрашивает, — что это за штука?» — «Это весь земной шар!» — объясняет хозяин. «Ишь ты!» — удивляется гость и просит показать разные страны, с которыми идет война. Меряет пальцами Америку, потом Россию: «Ого!» — И спрашивает, где Германия. Хозяин показывает. Бауер в недоумении: «Такая маленькая? Против них? — И шепчет чиновнику на ухо: — Послушай, а фюрер об этом знает?»

Не такое уж, наверное, тонкое остроумие. И черт бы с ним: ведь это рассказано в то время, когда немцы не смели здороваться друг с дружкой иначе, как «хайль Гитлер!». А крамольный анекдот, за который рассказчику ох как не поздоровилось бы, рассказал нам, двум подневольным русским, немецкий рабочий! Электрик, присланный на фюрстенбергский завод из другого города; хорошо его помню, и голос помню, а фамилию забыл.

Наверное, таких смелых было не так уж много. Гораздо больше было немцев, относившихся к нам хоть и без особых симпатий, но по-человечески. Никуда не денешься — вместе

работали. Многие из них, кстати, тоже не по своей воле; их прислали сюда из других мест по «трудовой повинности», жили без семьи. Кто-то из них мог быть и членом НСДАП, с «паучком» на лацкане по убеждению или по обязанности. Это не меняет сути: в фашистской Германии оставалось немало нормальных людей. Такими были на фабрике мастер Боддин, токарь Музхольд, бригадир Билефельд на пайке резцов, станочница фрау Багински, старательно учивший русский язык наладчик Пауль Пуплат, инженер Мюллер, шлифовщик Штир и даже начальник заводских вахманов старик Майнке. Кто-то другой назвал бы, наверное, других.

А тех, которые норовили по всякому поводу, а то и без повода поорать, замахнуться, а бывало, и ударить, — тех вспоминать теперь нет желания, да и поздно. Они нам были тогда враги. Мы для них, разумеется, тоже. По этой причине и произошел в мехцехе несчастный случай с Мишей большим — тяжелым молотком он разбил себе большой палец на левой руке. Несколько недель Миша ходил в классических «кранках», но покалеченный палец не заживал, и дело кончилось ампутацией фаланги — половины пальца, так что Миша очень долго не работал в цеху. А я точно знаю, что увечье он нанес себе нарочно. Так придумал в то поганое время и так поступил, чтобы хоть сколько-то времени не работать на врага. И еще, возможно, по каким-то своим соображениям.

Ранней весной сорок четвертого года на заводе появился «настоящий» переводчик — немец-фольксдойч со всеми полагающимися признаками арийской расы, рослый голубоглазый блондин Артур Закс. Очень хорошо владеющий немецким языком и, несмотря на все это, как бы совершенно русский. Знатоки в лагере уверяли, что он — недавний военнопленный, младший командир Красной Армии.

Поселился он в городе на частной квартире, а на фабрике расположился в «бюро», в конторе дирекции. Сопровождал директора, когда тот ходил (вернее, носился) по цехам. Переводил военнопленным и нам, «остарбайтерам», его сердитые вопросы и грозные понукания. Чем еще занимался, мы не знали. А через какое-то время переводчик Закс стал вызывать нас к себе по одному и расспрашивать: кто да откуда, с какого времени в лагере, кто с тобой еще и откуда ты его знаешь. И так далее. Все это тут же становилось известно в лагере и ни у вызываемых, ни у тех, про кого он спрашивал (у меня в том числе), восторга, разумеется, не вызывало.

До сих пор, если кто из немцев спрашивал о родителях, я сразу говорил, что отец — харьковский адвокат. После этого

задавший вопрос, как правило, покачивал уважительно головой, и на том разговор кончался. Что, если будут расспрашивать подробно? Мне придется говорить, что мамы нет, умерла... Иначе, если они что-то подозревают, можно только хуже запутаться. Противно и страшно.

Но вскоре совершенно новое обстоятельство отодвинуло все остальное на второй план.

На завод в Фюрстенберге иногда приезжали и ходили по цехам в сопровождении мастеров немецкие офицеры, возможно военпреды. Обычно — вдвоем или втроем; старшим в этой компании был пожилой полковник интеллигентного вида. Бывало и так, что приезжал он один. После очередного его появления меня позвал начальник цеха Шульц и сказал: господин полковник Гайст хочет перевести тебя на другой завод, там тебе будет лучше. Ты как, согласен? Можешь подумать.

В тот же день выяснилось, что это странное предложение было сделано еще троим. Мне, младшему, не было восемнадцати, Николаю Седлеру из Запорожья и сталинградцу Смирнову — лет по двадцать, старшему — Петру К., лет, наверное, тридцать пять. Не ожидая ничего хорошего от непонятных в тех условиях галантерейностей — зачем-то еще спрашивают, — ни один из четверых перечить не стал. Другой завод? Ну, пусть другой, даже интересно. А куда ехать-то? Там узнаете...

Миша Сергеев, услышав от меня эту новость, сразу же сказал, что все правильно, и велел слушаться Петра. Особенно «если что...». Расспрашивать что и зачем я не стал, потому что у Миши большого были теперь какие-то свои дела с этим Петром, который мне не нравился — хмурый какой-то, нудный. И я ему, конечно, тоже явно не нравился. Обменялись мы с Мишей — тоже, наверное, на случай «если что...» — харьковскими адресами, именами родных. Я назвал отца и бабушку.

Через несколько дней нам четверым велели собрать вещички. И переводчик Артур, которого я стал бояться из-за его расспросов — весь сплошная улыбка, — повел нас на вокзал. Там мы сели вместе с ним в пассажирский поезд и поехали.

Оказалось — в Берлин.

Глава шестая. Берлин

Приехали. Вышли из вагона и увидели уже не станцию, а настоящий вокзал большого города. Везде надписи: Berlin Stettiner Bhf., то есть Берлин, Штеттинский вокзал, это тебе не Фюрстенберг! И не успели мы сделать двух шагов, как к нашему сопровождающему подошел невзрачный усатый дядя средних лет в плаще и шляпе. Что-то ему показал, и он негромко произнес: «Kriminalpolizei!»

Сопровождающий так же тихо что-то ему ответил и стал доставать из портфеля бумаги. Через минуту-другую усатый, проглядев бумаги, кивнул, и мы отправились на не виданной до тех пор городской электричке дальше — к месту назначения. Пересекли с пересадками чуть не весь Берлин и оказались на безлюдной платформе Oberspree, если по-нашему — Верхняя Шпрее.

Фабрика, куда нас привели, оказалась такой маленькой и невзрачной, что мы ее, несмотря на солидную вывеску у ворот — «Generatoren und Motorenbau KG», — сразу же прозвали шарашкиной мастерской. Здание ветхое, больше похожее на высокий каменный сарай. К нему аккуратная пристрочка — контора, «бюро». На территории полно всякого железного хлама, стоят несколько грузовиков и автобус, с ними что-то делают. Рабочих всего человек двадцать; несколько пожилых немцев, а большинство, как и везде, — наши, с Украины. Еще голландец и бельгиец, они живут при фабрике в похожей на сторожку хибаре.

Прямо за цехом железная дорога, однопутная, по ней изредка катится городская электричка из трех или четырех вагонов, на которой мы приехали. Сначала в одну сторону, минут через десять в другую. Рядом с насыпью два здоровенных паровых котла, обложенных старыми шпалами и мешками с песком. Это, сказали нам, бомбоубежища, отдельно для немцев, отдельно для всех остальных. Здесь часто бывают воздушные тревоги, это, считай, Берлин...

Интересно, на кой ляд нас сюда притащили? С военного-то завода!

Один из первых увиденных нами на новом месте немцев обратил на себя внимание сразу. Худющий, но широкоплечий, с «орлиным» взглядом. В хорошем пиджачном костюме, на пальце массивный перстень, артистичные манеры. Страшно похож на

кого-то из заграничных киногероев, только мы не можем вспомнить на кого. Громким голосом сообщил, что зовут его Herr Kirczik, господин Купчик, что это он добывает все, что требуется фабрике, и нам тоже во всем поможет. Вот сейчас он первым делом позаботится о спецовках, выдаст нам мыло (!) и устроит в лагере. Говорилось это все по-немецки, но с хорошей приправой из польских и русских слов. Обещанное тут же со скоростью почти циркового фокуса появилось из каких-то закровов.

Проводили нас в лагерь, это от фабрики в получасе ходьбы через редкий лесок. Именно проводили, а не отвели и не отконвоировали — просто кто-то из здешних украинских ребят пошел с нами показать дорогу. За проволоочной сеткой лагерной ограды — аккуратно, будто по линейкам, поставленные бараки; рядом проходит шоссе. По другую его сторону тянется высокий бетонный забор железнодорожной станции. Тут же выясняется, что через лагерную проходную ходят свободно в обе стороны, потому что в бараках живет народ с десятков предприятий. Раньше, объяснили нам соотечественники, каждая фабрика должна была присылать немца — «для сопровождения своих рабочих»; потом все это сошло на нет: «Кому воно треба?» Уже давно все ходят сами. Когда пришел, когда уходишь — никто за этим не следит, хотя вахманы на проходной сидят. Существует и лагерфюрер, но старожилы из «генераторен-унд-моторен» видели его редко.

После работы можешь ехать в город Берлин куда тебе угодно, лишь бы там тебя не зацапали. То есть пользоваться этой как бы свободой надо все же с умом. На трамвае или в метро, например, можно ездить с нашивкой «OST», а если хочешь пойти в кино, то можно и это, но лучше без нашивки. Можешь зайти в пивную или ресторанчик, которых в городе полно, но тоже лучше без явных признаков — чтоб не запротестовал какой-нибудь фашист. И хозяину так спокойнее. Подать же тебе бокал-другой пива ему прямая выгода...

Вот такие вольности, такая, как сказали бы теперь, демократия.

Совершенно не помню, какую работу поставили меня делать на следующий — первый рабочий день. В мастерской этой все было не так и не такое, как в Фюрстенберге. Станков раз-два и обчелся, они какие-то допотопные. Несколько сварочных аппаратов. Остальное оборудование в основном ремонтное и, что называется, с бору по сосенке. Постоянного рабочего места ни у кого фактически нет: с утра тебе велят распилить двутавровую балку, потом будешь перетаскивать баллоны с ацетиленом, а

после обеденного перерыва пошлют резать листы жести или разбирать мотор здоровенного грузовика. (В обед — заправленное темной мукой густое варево, «затируха», которую готовит здесь же на фабрике пожилой русский дядька. Мешок муки доставляет все тот же энергичный герр Купчик.)

Производственный тарарам, так не похожий на четкий и понятный технологический поток, «конвейер» на заводе в Фюрстенберге, — это, конечно, не «бардак» и не чья-то прихоть. Это просто специфика производства.

Все дело в том, чем занимается шарашкина мастерская.

Автомобили, как известно, чаще всего ездят на бензине; еще — на дизельном топливе, некоторые на сжиженном газе, пропан-бутановой смеси. Это теперь. А давным-давно, в тридцатых годах, не так уж редко можно было увидеть машину, оснащенную довольно громоздким приспособлением — чем-то вроде высокой железной печки. Топили эту печку, именуемую газогенератором, деревянными чурками. Грузовики с газогенераторами с грехом пополам ездили — на газу, в который превращались в генераторе дрова.

В Германии во время войны стали делать газогенераторы не только дровяные, но и на брикетах из буроугольной крошки и пыли, благо этого топлива, в отличие от бензина, было там в достатке. Так вот, в мастерской, куда нас привезли, тем и занимались — ставили газогенераторы на грузовики и автобусы, в основном армейские. Приспосабливали моторы к работе на таком дрянном горючем. А некоторые модели этих генераторов изготовляли сами.

И мы решили, что причина нашего перевода сюда очень простая: автомобили, которые здесь «совершенствуют», в основном армейские. И к легковой машине, на которой ездит сосватавший нас сюда важный полковник — он вскоре объявился на фабрике и нас признал, — тоже пристроен сзади сделанный здесь газогенератор, мерзко пахнущий «самовар».

Полковник Гайст заезжал сюда частенько: его автомобиль заводился дай Бог если через четверть часа, а то и вовсе не желал ехать на газогенераторном горючем. Когда же полковник добирался до мастерской и мотор развинчивали, чтобы прочистить, то из цилиндров текла вонючая смолистая жижа. (Тоже с газогенератором, только не сзади а спереди, прямо перед радиатором, ездил и сам конструктор этого чуда техники, хромой инженер Цилькен. Его спортивный автомобиль, наверное «БМВ», тоже, естественно, без конца барахлил. Конструктор, не раз

приезжавший в мастерскую за помощью, был, в отличие от спокойного и вежливого полковника, сильно невосдержан. Возможно, полагал, что его машина с подвешенным к ней «самоваром» плохо заводится из-за вредительских козней «этих русских».)

Очень скоро мы убедились, что вольности здесь — не только в лагере. Порядки на работе, в самих «генераторен-унд-моторен», тоже очень сильно отличаются от привычных нам фюрстенбергских. Конечно, пристраивать «самовар» к какому-нибудь пятитонному грузовику — это не калибр доводить в мехцехе, но если сравнить с тем же фюрстенбергским цехом первичной обточки, то здесь чуть ли не курорт.

И главное — работают с нами в цеху сплошь «хорошие немцы». Никакого рукоприкладства, никакого хамства. Обращаются по имени или по фамилии — кого как запомнили и как им легче выговорить. Самое большее — ну, слегка прикрикнет майстер Хефт, начальник цеха, фактически всего производства: «Давай, мол, поживей, чего возишься!» Так ведь он и своих иной раз подгоняет, что ж тут такого. Можно спокойно пользоваться уборной и душевой.

Почти каждый день в цех заходит директор фабрики. Он пожилой, худощавый, маленького роста. Очень спокойный, всем говорит «вы», никогда не повышает голоса. С нами говорит (тоже «вы»!) почти правильно по-русски, только медленно — подбирает слова. Все здесь знают, что когда-то он несколько лет работал инженером в России. На лацкане пиджака у директора маленький серебристый значок с короной. Оказывается, он барон. Барон фон Розенберг. Позвольте, но ведь он «бетрибсфюрер», где же его фашистский партийный значок?

Наши здешние соотечественники пожимают плечами: вроде бы не видели. Ну, а у майстера? У остальных немцев? Кто их знает. Может, не носят... Ну и ну! Это после Фюрстенберга, где встретить немца без значка со свастикой было редкостью, а самые ретивые, приезжая на работу, еще перекалывали «паучка» с городской одежды на спецовку.

Пройдет несколько месяцев, и я, взясь возле цеха с каким-то железом, услышу, как беседующий с пожилым посетителем директор фон Розенберг скажет ему: «Знаете, мне пока удавалось обходиться без этих...» И еще в этой могучей фирме с ее звучным индустриальным именем были: старик (уверен, что не впечатление по молодости лет, а старик на самом деле, потому что помню склеротические жилы на его лице) герр Беккер, который ведал прибывающими откуда-то с другого предприятия

газогенераторами для больших грузовиков, а также инструментальной кладовой; совсем старый старичок Густав, который топил колонку горячей воды в душевой и относил-приносил, если было что, из конторы мастеру и обратно, и еще токарь Ян, самоочевидный чех, состоявший по каким-то правилам в немецком подданстве и очень о себе воображавший.

Немцы его своим, в отличие от того же господина Купчика, не считали, а он к ним без конца лез, не понимая, наверное, что и говорит по-немецки — если не плохо, то, во всяком случае, не слишком хорошо. Перед нами же этот Ян постоянно выказывал свое превосходство на правах «высшей расы». И был еще в 44-м отправлен в армию, надо полагать — на фронт, чем всех нас сильно порадовал.

Мои слесарные тонкости никому здесь не нужны. Тут совсем другая работа. Например, разобрать дизель-мотор, который весит килограмм, наверное, двести или триста. Сделать из стального проката кронштейны, на которых будет держаться «печка» — газогенератор. Если сверлишь дырки, то в них палец проходит. Кислородный или газовый баллон для сварки тянет, когда он еще полный, тоже килограмм на сто. Силой я не отличаюсь, так что у начальника цеха — явно не на лучшем счету; меня гоняют чуть не каждый день с одного дела на другое. И все это примитивная, «черная» работа. Настоящим же делом заняты здесь автослесари, знающие мотор и ходовую часть автомобиля.

Это сам начальник цеха, майстер (он, кстати, почти все время работает с одной из машин, взяв себе на подмогу кого-нибудь из наших), оба немца — моторист Фриц Кор и хромой Густав, и еще голландец Питер де Вроом, вечно перемазанный машинным маслом до черноты. А еще здесь «рабочая аристократия» — бельгиец Иозеф Смитс. Этот веселый, всегда готовый помочь парень владеет хитрой специальностью: он классный сварщик. Причем и газосварщик, и электросварщик, благодаря чему занимает в нашей шарашкиной мастерской совершенно особое положение. Кое-как сварить автогенем концы железной трубы умеют и другие, почти все. Но если это тонкий шов по жести или надо приварить электросваркой опору, на которую ляжет чуть не тонная нагрузка, то такую работу поручают только Смитсу.

На русско-украинский лад его зовут здесь Юзиком, он не возражает. Мы уже познакомились, и я пробую учиться у него — варить автогенем железо.

В пристроенной к цеху конторе служат, кроме уже известного нам снабженца Купчика, бухгалтер и две девицы — тихая

улыбчивая блондинка и разбитная рыжая. По вечерам приходит живущая где-то неподалеку пожилая дама, уборщица. В начале 44-го года зимы здесь почти не было, скоро стало совсем тепло, и одно из окон в конторе всегда открыто. Это затем, чтобы всем были слышны оповещения противовоздушной обороны; какая-то станция или трансляция, не знаю, передает их, наверное, круглосуточно. Происходит это так. Играет без всяких объявлений ненавязчивая спокойная музыка. Время от времени она обрывается, и внушительный дикторский голос объявляет: «Говорит центр ПВО. Вражеских бомбардировщиков над империей нет...» Чаще всего часов в 10–11 утра эта присказка меняется и звучит примерно так: «Вражеские бомбардировщики находятся на подлете к Шлезвиг-Гольштейну...» Очень просто — это Северная Германия, а они стартуют из Англии.

Вот теперь дело пойдет быстрее, музыка будет обрываться все чаще. Вскоре «вражеские бомбардировщики» окажутся уже над Шлезвиг-Гольштейном и «на подлете к району Ганновер — Брауншвейг»; к этому добавляют, что «ведется отражение налета и часть вражеской армады отсечена...». Ничего! Еще через 15–20 минут скажут, что они «над районом Ганновер — Брауншвейг», потом «на подлете к району Большого Берлина» и, наконец, долгожданное: «В пригородах имперской столицы объявляется предупреждение!» (Этого слова — Voralarm, буквально «предтревога», в Большом немецко-русском словаре теперь нет.) И в ту же секунду — отовсюду вой сирен. Сигнал иной, чем при самой воздушной тревоге, Fliegeralarm, — предполагается, что ее может и не быть; такое случается, но очень редко. Неподалеку отсюда есть официальное бомбоубежище — здоровенный бетонный бункер, и цивильная публика из жилых домов возле фабрики начинает тянуться туда, как только прогудит «фораларм».

В шарашкиной мастерской воздушная тревога сопровождается ритуалом: из конторы обязательно выносят пишущую машинку и опускают ее в «бункер» — отрытую здесь же во дворе щель, поверх которой уложена не то железная, не то бетонная плита и сделан бревенчатый настил. В щель ведет аккуратная лесенка. Чем бы дитя ни тешилось...

Нести драгоценность зовут обычно одного из наших ребят или бельгийца Юзика; сопровождает несущего и проверяет, чтобы машинку «хорошо поставили», рыжеволосая девица из конторы. Если она и уйдет в городское бомбоубежище, то последней: у нее здесь служебный роман с женатым человеком, и когда все уже бросят работу, а бомбежка еще не начнется, они могут поворковать наедине...

От первого воздушного налета в памяти осталось острое любопытство, перемешанное со злорадством: глядите все — среди бела дня прилетели американцы бомбить Берлин, во здорово! Это вам нравится? Им это явно не нравилось. Фабрика-то что, она же на довольно глухой окраине и вряд ли так уж интересна. А вот как в самом городе, где у большинства немцев семья, наверное, дети?

Завыли сирены теперь уже собственно воздушной тревоги, и вскоре очень высоко (и красиво), но не прямо над нами, а немного в стороне стали проходить почти правильным строем самолеты. Очень большие и очень много, это хорошо было видно снизу. Над землей стоял густой гул их моторов, где-то неподалеку палили зенитки, и в небе появлялись похожие на клочья ваты следы разрывов. И было понятно, что они вспыхивают ниже, чем идут четырехмоторные машины. И никаких истребителей в небе...

Майстер Хефт с фабрики не уходил, стоял вместе с нами возле паровых котлов на задах. Длилось все это довольно долго, может, с час. Но бомбы в этот раз предназначались явно не нам. Жуткий грохот доносился издалека, наверное с другой стороны города. Зато довольно скоро показались какие-то медленно опускающиеся с неба листки бумаги. Листовки! До чего ж приятно было бежать за вертящейся над тобой бумажкой, поднять ее, оглядеться для порядку — и тогда уже читать. Напечатано было в них по-немецки приблизительно так (привожу по памяти): Германия развязала преступную войну против миролюбивых союзных держав. Вам обещали, что возмездия не будет? Знайте, что ваши города и военные объекты будут подвергаться бомбардировкам постоянно, пока Германия не капитулирует. Вчера нами уничтожены военные заводы (такие-то, там-то), а сегодня мы беспрепятственно бомбим Берлин. Где же хваленая германская авиация? Спросите Гитлера, спросите Геринга.

Две последние фразы помню дословно. Замечательный привет нам от союзников Красной Армии!

Заканчивается рабочий день, а меня прихватывает пышущий активностью герр Купчик, снабженец: «Ты же говоришь по-немецки! Ты мне понадобишься, я не успеваю один всюду. Останешься тут!» Раз-два — Купчик выдает мне одеяло и подушку, и я становлюсь третьим обитателем обшарпанной хибары у ворот, соседом голландца Питера и бельгийца Юзика. В домике стол, несколько стульев и железная печка. Три деревянные койки, одна из них свободна. Топлива вволю — чего-

чего, а угольных брикетов на фабрике хватает.

Явный поляк герр Купчик, обожающий напоминать, что он германский подданный («Ich bin Reichsdeutsche!»), пообещал подкидывать продуктовые талоны (и постоянно делал это впоследствии). Зато теперь он время от времени (правда, с разрешения майстера, даваемого обычно не сразу и с недовольной воркотней) вызывает меня из цеха и посылает с поручениями. Выдает мне проездной билет, я переодеваюсь в чистое и везу куда-то или привожу откуда-то в контору или лично герру Купчику письмо или пакет. Я почти уверен, что их содержимое далеко не всегда имеет такое уж прямое отношение к деятельности шарашкиной мастерской.

Адресат или отправитель может находиться хоть на другой стороне города, и я начинаю осваивать географию Берлина.

В километре или полутора от нас, рядом со станцией «Обершпрее» — электроламповый завод «Пертрикс». И здесь же лагерь для «остарбайтеров», два или три барака за невысоким забором. Есть ворота, есть калитка, которая постоянно открыта, а проходной нет. На том же углу прямо напротив лагеря — пивная, в которую тамошние ребята ходят запросто, хозяин их ни в чем не ограничивает. Пейте, кто сколько хочет, лишь бы платили. Однажды вечером я тоже уселся за столик в этой пивной, и, разумеется, сразу же завязались знакомства. Тут же позвали «в гости» — посмотреть, как живут. У всех постельное белье, а один из барakov так вообще семейный...

В нем живут парами, сами готовят себе еду. У них такие же, как и у других, двухэтажные кровати, но проходы между ними чуть пошире, и в каждом висит некое подобие занавески, отгораживающей одно двухкроватьное сооружение от другого. Нижние койки закрываются занавеской или тряпичей еще и спереди, в ногах наверное... Те семейные, кто постарше, женаты явно по-настоящему, давно; кто помоложе — объявили себя супругами уже здесь, в лагере. «Расписаны» такие пары официально немецкими властями или им разрешает поселиться вместе просто лагерное начальство — не знаю.

Луньков, дядька лет тридцати пяти, один из первых, с кем я здесь познакомился, тут же сообщил мне множество полезных сведений о тонкостях жизни и обихода для нашего брата в этих краях. В Берлине и в его ближней и не самой ближней округе. Ситуация сходная со штеттинской, только и заводов, и лагерей здесь еще больше. И соответственно больше возможностей для самых разных комбинаций, приносящих вполне материальную пользу их участникам. Мои «генераторен-унд-моторен»

обитателям лагеря «Пертрикс» хорошо известны и вызывают снисходительную усмешку: красть или менять оттуда нечего, поляков и французов нет — значит, никто ничего не продает. (Про Юзика и Пита здесь известно, но они не котируются, поскольку посылок вроде бы не получают и табак не продают.)

Зато неподдельный интерес вызывает мое упоминание о фюрстенбергском лагере и особенно — сведения о тамошней цене на талоны хлебной карточки.

Не все коту Масленица; это про нас и «хороших немцев» на фабрике. Бесфашистской жизни пришел все же конец: однажды утром появился пожилой рабочий-немец, присланный по разнарядке из Arbeitsamt, «ведомства труда». Прикатил на велосипеде, на плаще у него красовался — давно не видели! — фашистский значок. И в тот же день, едва начав работать, сначала наорал на одного из наших ребят, а когда тот слегка огрызнулся, огрел его, что называется, по морде. Оба бывших при этом немецких рабочих качали головами, явно неодобрительно. Но не вмешались. А Иван положил инструменты и отправился прямо из цеха в контору — жаловаться директору. Новый же немец, наверное, почувствовал неладное, потому что сразу заткнулся и стал себе тихо трудиться. Довольно скоро Иван вернулся, собрал свои инструменты и, ни слова не говоря фашисту, пошел от него делать какую-то другую работу.

Вскоре в цеху появился директор фон Розенберг. Походил, побеседовал о чем-то по работе с одним, с другим и, наконец, остановился возле нового немца. Все с интересом поглядывали, как тот что-то лопотал, однако же быстро притормозил и смирно слушал тихий разговор директора.

Замечательно, что фашист утихомирился с первого раза. Никого больше не трогал и помалкивал. Но старался обходиться без русских помощников.

Естественная мысль после бесед у «Пертрикса» — а в Фюрстенберг тоже можно съездить? Луньков снисходительно объясняет, что можно все, только надо «по-умному». У них, например, работающих на «Пертриксе», есть картонные карточки-пропуска с фотографией для заводской проходной, Этот пропуск можно в случае чего показать полицейскому; если ты ничего не натворил, то обычно этого достаточно. Ну, а если задержат — конечно, если просто так, для проверки, — то проверять позвонят из полиции все равно на завод. А на заводе никак не заинтересованы, чтобы кто-то прохлаждался в кутузке вместо того, чтоб работать. Ну, поругают или пошлют лишний раз

тротуар подметать, подумаешь, дело...

У нас в шарашкиной мастерской никаких пропусков, разумеется, нет, тротуаров тоже. Луньков посоветовал поступить просто: сказать в конторе — так, мол, и так, хочу навестить друзей, или кто-то заболел, дайте, пожалуйста, на выходной день бумажку, что я здесь работаю. «И в накладе не останешься, — внушал мне опытный товарищ. — Предупредишь меня дня за три, я тебе достану хлебных талонов. Здесь цена им другая, будет и тебе и мне выгода!»

Надо, наверное, попробовать. И на следующий день я пошел в контору фабрики к двум девицам — просить бумагу. Одна из них отвела меня к директору, а он, мирно спросив, куда мне надо поехать, сказал девицам, чтоб справку напечатали. Было в ней сказано, что такой-то родом из Харькова, дата рождения такая-то, работает на такой-то фабрике и намерен посетить родных в свой выходной день. Только и всего.

Теперь, к сожалению, надо было выполнять указание Миши большого — сообщить о своих планах Петру К.; пусть он здесь будет Кривцовым (в настоящей его фамилии я все равно не уверен). Отношения наши с ним были, мягко говоря, не лучшими. Но ничего не поделаешь, пошел докладывать. Петр, однако же, сразу помягчел и, покрутив головой, сказал, что поехать в Фюрстенберг — это хорошо и своевременно и что он передаст туда записку для Миши Сергеева. Передавай, пожалуйста, мне не трудно. Если доеду, конечно...

Совершенно не помню, что было в поезде по дороге в Фюрстенберг, когда я туда отправился в первый раз. Поездок этих было потом много, и почти все их подробности в памяти соединились как бы в одной, «общей». Что наверняка — так это что никаких проверок, кроме билетного контролера, по дороге не было. (Понимающие люди из лагеря «Пертрикс» потом мне объяснили, что облавы бывают, да только не на нас, а на немецких мужчин призывного возраста — эсэсовцы ловят дезертиров.) С собой у меня было штук пять или восемь хлебных талонов. Луньков взял с меня за них по 14 марок с условием: продаешь там по двадцать — и нам обоим будет по тройку с каждой... Это получалось, что из семи буханок одна достанется мне как бы задаром. Что и произошло на самом деле, вдохновив и меня и Мишу большого на деловое продолжение этой коммерческой операции.

А записку Петра Кривцова, в которую я из гордости заглядывать не стал, Миша большой внимательно прочитал и строго спросил, читал ли я. Сказал, что это хорошо, что не читал, но чтоб не смел врать, особенно в таких делах. Но эту, дескать,

можно, и дал прочесть. Записка была совершенно житейская и в то же время ужасно напоминала то ли деревенское письмо родственникам, то ли шпионскую шифровку. Что-то вроде «погода хорошая, такому-то кланяться, тетя Маня еще не приезжала ...». По своей нелюбви к Петру я про себя подумал, а не комедия ли все это.

В обратную дорогу Миша мне записок не давал, а велел запомнить и передать Кривцову какие-то слова, похожие на ту записку, но попроще. Учить на память не заставлял, и то хорошо...

Довольно быстро я уразумел, что они все же взрослые люди, так, может, это вовсе и не игра? Ведь еще год назад это Петр Кривцов сказал, что да, надо посчитать, сколько снарядных гильз выпускает фюрстенбергский завод, и что это может пригодиться. В общем, постепенно я стал относиться к этой как бы игрушечной конспирации очень серьезно и даже сам собой немного гордился — вот, я участвую в каких-то подпольных делах. И записки стал возить не в кармане, как первый раз (хотя и тогда Петр наказывал, чтоб хорошо спрятал), а брал бумажный пакетик, насыпал в него немного крупы, купленной на полученный от герра Купчика талон, и в нее засовывал записку. Вместе с купленными где-то на черном рынке хлебными талонами, которые собирался выгодно перепродать в Фюрстенберге.

Когда я объявился в фюрстенбергском лагере во второй (а может быть, в третий) раз, Миша Сергеев тут же повел меня секретничать и выдал очень неприятное задание: тут же, с места в карьер, отправляться в город, разыскивать на такой-то улице дом, где квартирует переводчик Артур Закс, а точный адрес неизвестен, надо расспрашивать соседей. И сказать Артуру то-то и так-то... А если он заартачится, пригрозить ему... К сожалению, хотя весь этот «поход» к господину Заксу помню отчетливо, что именно я ему должен был говорить, с какой стати и чем грозить — хоть убей, не знаю. Кажется, мои поручители хотели напугать Закса тем, что они «про него знают» что-то. А не запомнил я, что именно, может быть, просто потому, что чувствовал себя во время всей этой акции чрезвычайно неуютно и глупо.

Дом, где квартировал переводчик, нашелся сразу, Артур Закс меня впустил и даже стал расспрашивать, как нам там в Берлине живется; на коленях у него млела при этом хорошенькая девица из заводууправления, из «бюро», но...

Но как только дошло до порученного мне «дела», так

господин Артур Закс весьма решительно послал, что называется, куда подальше, и меня и «тех, кто тебя прислал», — так он сам и выразился. Если, мол, хотят меня пугать, то не пришлось бы им самим испугаться. «А тебе (это мне) очень советую в чужие дела не вступать». Однако же, Миша большой «отчетом» моим остался почему-то доволен. И никаких видимых неприятных последствий эта странная затея, к счастью, не имела.

Лето 44-го, бомбежки чуть не каждый день, радио то и дело кричит, что англичане и американцы готовятся к десанту через Ла-Манш, что из этого ничего не получится и нападающих ждет возмездие. То же самое, естественно, у немцев в газетах. «Температура» этих угроз день ото дня нарастает.

Идет к концу обычный рабочий день. Мы с Юзиком монтируем в цеху зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов. Электродвигатель и генератор постоянного тока станут на раму, под которую в бетонное основание надо заделать «шпильки», толстенные болты. К концу рабочего дня мы не успели, но оставить так до завтра нельзя — застынет бетон. Майстер Хефт тоже не уходит, стоит, что называется, за спиной.

Наконец все готово, мы кладем раму с привинченными к ней шпильками на только что уложенное основание из свежего бетона. Юзик, стоя на корточках, что-то прихватывает сваркой, снимает козырек с черным стеклом, поднимается и говорит мне, что надо еще поставить дату, когда мы это соорудили. Берет сварочный электрод, чтобы прочертить его концом цифры на поверхности еще мягкого бетона. «Сегодня пятое?» Я киваю.

Смитс подумал и сказал, что ведь затвердеет бетон только завтра. И начертил концом электрода число: 6.VI.1944.

Ну а завтра, днем шестого июня сорок четвертого года, репродуктор начал передавать на повышенных тонах германскую военную сводку о высадке союзников во французской Нормандии — об открытии Второго фронта. После сводки пошли сплошные вопли в адрес нехороших империалистов и плутократов, которым ораторы обещали скорое возмездие. Военные же действия выглядели у них так, что «ведутся операции по окружению и уничтожению десанта, однако отдельным группам удалось...». Всем было все очень даже понятно.

Немцы наши, расходясь от репродуктора, были невеселы. А фламандец Юзик Смитс подзывал «заслуживающих доверия лиц» к будущей зарядной станции и гордо показывал нацарапанную вчера сегодняшнюю дату.

Наши голландец и бельгиец, Питер и Йозеф, зарплату

получали как немцы. Могли переписываться с родными, письма в Бельгию и Голландию шли и оттуда тоже приходили. Письмо могло прийти за несколько дней, а могло и через три недели. В дневнике у Юзика записано, что 15 января 1944 года ему выдали «контрольную карточку», без которой нельзя отправлять и получать письма. Норма — два письма и одна открытка в месяц. А с 24 мая разрешались уже только открытки. На сохранившемся письме, посланном Юзиком домой из Германии в 44-м году, видна работа цензуры: на конверте в обратном адресе оставлено только имя улицы, а название шарашкиной мастерской — «генераторен-унд-моторен» вымарано. Старались цензоры, не зря хлеб ели!

Юзик посылал родителям деньги — из зарплаты, через бухгалтерию. И получал из дому письма, из которых следовало, что эти деньги туда не приходили. Юзик обращался к бухгалтеру господину Кинасту, и тот каждый раз объяснял ему, что он все делает как следует. Что он будет еще наводить справку почему перевод задержался, и как это сложно в военное время.

У Юзика была еще такая, по-нашему можно сказать — общественная обязанность: каждый вечер и при воздушной тревоге ночью проверять в цеху и в конторе, не остался ли включенным свет или что-нибудь еще. И с этой целью ему каждый вечер оставляли ключи от дверей. В конторе был не только репродуктор, но и радиоприемник, на котором, наверное, висела полагающаяся красная картонка с напоминанием о карах, которые ждут тех, кто «подслушивает вражеские передатчики» Юзик включал иногда этот приемник и ловил лондонское радио. А потом рассказывал мне про новости с войны, как бы делясь своими догадками, предположениями. Особенно после вторжения союзников во Францию.

И вот однажды вечером его застукал с включенным приемником бухгалтер Кинаст. Он жил в соседнем с фабрикой доме, и у него, наверное, был свой ключ. Юзик, конечно, испугался. А бухгалтер, погрозив ему пальцем, сказал, что доносить куда следует он, так и быть, не станет. Но чтоб сварщик Йозеф Смитс не смел больше приставать к нему, занятому человеку, со своими затерявшимися переводами!

Юзик все понял, и ему пришлось после этого помалкивать о пропавших деньгах.

К сожалению, в то время я уже курил. Еще в Фюрстенберге втянулся постепенно, начиная с «оставь курнуть!». Наверное, и по причине желания быть взрослее, и от постоянного чувства голода. Курева всем нам, будь то махорка или здешние сигареты, сильно

не хватало. То же самое, кстати, было и с немцами, получавшими по специальной «табачной карточке» табак или сигареты из расчета четыре штуки в день. Большинство курящих старались как-то растянуть этот паек, брали вместо сигарет табак и крутили из него самокрутки, для которых в Германии была специальная папиросная бумага — листки с клеевой полоской, собранные в узенькую книжечку.

Уже не помню кто, Юзик или голландец Питер, раза два получал из дому бандероль с несколькими пачками крепкого табака. Мне тоже доставалось угощение, и несколько дней была в нашей фабричной компании этакая курильная вольница. Потом все входило в норму. Сигарету курили три или четыре раза, оставляли друг другу «курнуть», окурочок потрошили в какую-нибудь коробочку, чтоб со временем набралось на завертку.

Приходилось, хотя и не часто, поднимать чей-то окурочек на улице и отправлять оставшиеся в нем крохи табака в ту же коробочку. (Это бывало редко не потому, конечно, что стыдно собирать окурки. Найти на улице окурочек — вот что было большой редкостью.) Сильно курящим немцам приходилось делать то же самое.

Нелепица — в военном Берлине сохранились, причем даже на крышах домов, броские рекламы берлинской табачной фабрики «Юно». Черный медведь из городского герба держит пачку сигарет. И высоченными буквами над фасадом: «Was sagt der Bar? Berlin raucht Juno!» (Что говорит медведь? Берлин курит «Юно»!) Но в один прекрасный день (или ночь, не помню) американские или английские бомбы грохнулись на эту табачную фабрику. И сигарет «Юно» не стало. Народ же, скорее всего, сам немецкий народ, отреагировал на это событие чуть не на следующий день, перефразировав бывшую рекламу в простенькое двустишие:

Was sagt der Bar?
Berlin raucht keine Juno mehr...

Что полностью соответствовало действительности — сигарет «Юно» не стало, и, значит, их в Берлине уже не курили. И в других городах, разумеется, тоже.

Ездил я в Фюрстенберг, конечно, только на выходной — они на этой фабрике соблюдались. Как только кончался в субботу рабочий день, я поскорее мылся-переодевался и на городской электричке катил в центр, на Фридрих-штрассе. Про то, что эта

улица рядом со станцией — известное злачное место, не имел в то время ни малейшего понятия. Дальше шел пешком на Штеттинский вокзал, это совсем близко, протягивал в окошечко кассы деньги-рейхсмарки и получал билет до Фюрстенберга и обратно; сколько он стоил — не помню. И садился в уже известный мне поезд, никто меня ни о чем не спрашивал и не проверял.

Немецкие вагоны тех времен были совсем не такие, как советские, будь то пригородные или дальнего следования. Довольно коротенькие, из трех, кажется, отделений, в каждом — одна напротив другой две скамьи для сидения пассажиров, на каждой должны были сидеть человек пять или шесть. Главное же отличие было в том, что в каждое такое отделение были отдельные двери — с обоих боков вагона. То есть пройти вдоль по вагону или в другой вагон было нельзя; куда сел, там и езжай, по крайней мере до следующей станции. Правда, снаружи сделаны вдоль всего вагона подножки, по ним проводники-контролеры (в Германии они были и остались в одном лице) иногда переходили из отделения в отделение и на ходу. Пассажиров в такое отделение набивалось, особенно на обратном пути, человек двадцать, а то и больше. Половина из них, я в том числе, стояла («как сельди в бочке») в узком проходе между скамьями. Билеты проверяли по дороге из Берлина каждый раз, по дороге обратно — очень редко, потому что проводнику было не протолкаться. Облавы не было ни разу, военный патруль заходил в вагон раза два за все время, мной они не интересовались.

Чем ближе шло дело к «alles kaput», тем чаще и сильнее бомбили Берлин и окрестности американцы и англичане. Тем хуже ходили поезда и тем больше набивалось людей в поезд, и ехать приходилось снаружи, цепляясь за поручни; мужчины, если они случались среди пассажиров, чаще всего даже не пытались втиснуться в вагон.

На вокзале в Фюрстенберге я несколько раз оказывался рядом с хромым немцем средних лет. Мы стали здороваться друг с другом, иногда я пробовал помочь ему втиснуться в купе, потому что нога у него была явно сильно покалечена, было похоже, что фронтовое ранение. Постепенно мы разговорились на какие-то простейшие темы вроде «хорошей погоды»; по разговорам этим можно было догадаться, что нежных чувств к фашистской власти мой попутчик не питает. Как-то он сказал, что все пытается догадаться по моему произношению, откуда я родом: «наверное, из Баварии?». Я к тому времени был уверен, что он нормальный человек, и честно ему все объяснил. Он страшно удивился: общаться с русским ему до этого не приходилось. Когда ехали на

подножке — расспрашивал про Советский Союз и про лагерь здесь. А однажды достал из портфеля — и, стесняясь, стал объяснять, что это мне подарок, — рубашку, немного поношенную, но вполне хорошую, да еще с воротничком под галстук.

Правда, воспользоваться ею в этом качестве мне так и не пришлось.

Летом и осенью 44-го американцы и англичане бомбили Берлин все чаще, так что скоро воздушные тревоги сделались, можно сказать, неотъемлемой частью жизни и быта. Юзик, которого дома во Фландрии звали Иос, насчитал в своем дневнике 55 налетов в 1943 году, когда его привезли в Берлин, 109 в 1944 году и 128 налетов с первого января сорок пятого до конца. Немецкое радио и газеты называли их Terrorangriff, «террористический налет», и действительно, по городским жилым кварталам лупили эти Terrorbomber, «террористические бомбардировщики», почем зря. Гражданское население из больших городов, и прежде всего из Берлина, — неработающих женщин и особенно детей, стали усиленно эвакуировать в сельскую местность и в горы.

Почти каждый день, хорошо еще, если часам к двенадцати, а бывало, и в 10 утра — воздушная тревога. Налеты продолжались когда час-полтора, а то и дольше. Десятки, а то и сотни четырехмоторных «летающих крепостей» в небе. Приятно, конечно, но ведь никогда не знаешь, а не шарахнет ли сегодня и по тебе. А ночью, и тоже все чаще, осенью 44-го уже почти каждую ночь, — опять воздушная тревога. Правда, ночью бомбежки были, как правило, «более скромные», не такие пугающие. Объяснялось это просто: всем было хорошо известно, что днем бомбят американцы, а ночью — англичане. Ясно, что США побогаче Великобритании и самолетов у них побольше. К тому же американская «летающая крепость» не чета английскому самолету. Очень просто...

Как это можно описать, что такое бомбежка? В конце концов, личные ощущения зависят от того, далеко или близко от тебя валяются бомбы. Одно могу сказать точно: бомбили устрашающе. Бывало, что после дневного налета целые кварталы, особенно в центре Берлина, превращались в развалины, пожары полыхали до ночи. Жуткое ощущение, когда бомбы начинают падать неподалеку. Совсем близко от фабрики на улице Седан-штрассе пяти — или шестизэтажный жилой дом развалило попавшей в него фугасной бомбой целиком. Другая бомба, поменьше наверное, грохнулась однажды ясным днем на задах «генераторен-унд-

моторен», в нескольких метрах от парового котла-убежища, в котором мы в это время сидели. Не приведи Господи никому услышать тот вой и грохот...

А по ночам я постепенно перестал вставать при воздушной тревоге. Наверное, как и многие другие. Сирены разбудят, поворочаешься — и задремлешь снова. Потом, когда уже начнут грохатать разрывы, лежишь и размышляешь: кажется, не очень близко, а все же не пора ли сматываться? А если близко разрывов не слышать, то бывало, что так и засыпал. Очень уж тошно не спать ночью, когда к шести утра на работу. Но конечно, бывало, что и ночью, когда начинало выть, шелестеть и грохотать уже близко, приходилось удирать в котел. Иногда казалось — вот-вот, сейчас попадет сюда, и...

Страшнее всего было — это вой приближающейся тяжелой бомбы. Не знаю, какие бомбы теперь и какие звуки они издают, а тогда это был шелест, быстро нарастающий до такой громкости, что заполнял собой все вокруг и меня самого, так что я переставал себя ощущать и осознавать. И когда этот страшный вой и шелест завершался всепоглощающим грохотом разрыва, это уже не оглушало, а было как бы облегчением — если слышу грохот, значит, жив.

А раза два или три, когда бомбы падали совсем близко, можно сказать — рядом, в какие-то секунды или доли секунды, не знаю, мне казалось, что меня уже нет. И что «остатки грохота» доносятся до моей души уже «туда»...

Однажды произошла вот такая история. Двоих из нашей фюрстенбергской четверки, Алексея и Николая, позвал мастер и велел на следующее утро быть готовыми куда-то ехать. А утром появился знакомый нам полковник Гайст со своим самоварным лимузином, и ребята уехали с ним. И в тот же вечер (или, может быть, на следующий день, точно не помню) вернулись. В некотором недоумении, но явно довольные. И вот что они рассказали.

Привезли их в какую-то военное учреждение, довольно далеко отсюда. Накормили хорошей едой, что для тех времен и той ситуации уже само по себе было делом необычным. Потом они сидели довольно долго просто так, ничего не делая и недоумевая, что все это должно означать. Наконец их повели на полигон, в блиндаж. Оттуда военные немцы включали подрыв каких-то зарядов, заложенных на изрядном расстоянии под бетонными колпаками. После чего Николаю и Леше велено было туда идти и принести, сложив в выданную им тару, то, что осталось после взрывания. («Черепки, металлические остатки

какие-то сплюснутые...») Затем их еще раз хорошо накормили и велели помалкивать. Вот и все.

Впрочем, эта непонятная история (чего ради понадобилось их туда возить?) занимала нас тогда недолго. Хватало других забот.

Если же посмотреть на нее с сегодняшней колокольни, прочитав сначала книжку Дэвида Ирвинга «Вирусный флигель» о германском атомном проекте; если прочесть про добытый союзниками в 45-м году немецкий документ «Эксперименты в области инициирования ядерной реакции с помощью взрывчатых веществ»; если обратить внимание на то, что сведения об этих опытах американская «Миссия Алсос» получила от полковника Фридриха Гайста, ведавшего, оказывается, в Министерстве вооружения и боеприпасов научными разработками, то... То можно очень просто предположить, что Леша и Николай были просто подопытными кроликами, невольно участвуя в безнадежной попытке возбудить обычным взрывом ядерную (!) реакцию. Немецкое военное начальство вполне могло не пожелать подвергнуть риску облучения «своих»...

Это предположение, разумеется, далеко не факт. Оно на это и не претендует.

Желтые хлебные талоны «для иностранцев» были, как и красные немецкие, три штуки по пятьсот грамм, одна буханка на неделю. И отдельно еще шестьсот грамм (надбавка для рабочих), так что в сумме получалось — те же 300 грамм в день, та же пайка. Еще запомнились напечатанные на талоне цифры: 62,5 грамма. Кажется, это относилось к слову Fett, жиры — не шестьдесят грамм, а целых шестьдесят два, да еще с половиной (!) грамма маргарина. А талон «мясные изделия» был, кажется, на 125 грамм, по нему можно было купить в магазине кусочек колбасы или же несколько срезов от разных сортов. И еще был талон, по которому продавалась крупа. Кажется, это были просто размолотые зерна пшеницы или ржи. В магазине ее насыпали в пакетик, больше похожий на аптечный.

Вот этот пакетик с крупой и служил мне для конспирации, когда я в конце недели снова отправлялся в Фюрстенберг. О том, какой об этом может быть когда-нибудь разговор в НКВД, я в то время не задумывался.

В лагере электролампового завода существует, оказывается, что-то вроде самодеятельной кухни. И многие тамошние женщины, которые, хотя и живут не в семейном, а в обычном бараке, тоже готовят себе сами горячую пищу. Некоторые взрослые парни из этого лагеря, хотя вроде бы живут в другом бараке, тоже кормятся «домашним» горячим у своих дам.

Однажды у Лунькова меня познакомили с брюнеткой Еленой, и мы стали прогуливаться на задах лагеря вдоль железной дороги. А недели через три Елена стала меня подкармливать: приносила суп в стеклянной банке. Однако же не забывала напоминать при этом, что, мол, знает, что про нее говорят, и «чтоб ты не воображал, что я такая!».

Мне явно полагалось угостить даму выпивкой. Возможность для этого была одна: в одном из бараков в лагере кто-то продавал по секрету, через третьи руки, спирт. Точнее — денатурат, то есть такой, которым дома до войны разжигали примусы. Разница же была в том, что в Германии этот спирт был не подкрашенный в ядовитый фиолетовый цвет, а бесцветный. Называли эту штуку на польский лад «брындой». Опытные товарищи объяснили, что если идет мутью, когда приливаешь воду, то пить нельзя — можно отравиться. Если же не мутнеет — то никакой не яд, пей и ничего не бойся.

Полстакана денатурата из лимонадной бутылки я вылил в кружку, долил туда водопроводной воды. Мути никакой не появилось. «Рюмки» прихватил заранее с фабрики: прозрачные толстостенные стаканчики — отстойники от автомобильных бензофильтров. Запах от этой смеси пошел — ни в сказке сказать. Вкус был тоже ужасный, но мы с Еленой эту гадость выпили. Действовала она сильно...

Елене было лет 25 или немного больше, и я ощущал себя ужасно взрослым...

Летом 44-го, когда я чуть не каждое воскресенье бывал в Фюрстенберге, однажды днем меня позвал мастер и недовольно ткнул пальцем в сторону открытых ворот цеха: там, мол, тебя спрашивают какие-то русские. С немалым удивлением я увидел прилично одетого Мишу большого и рядом с ним — незнакомого невысокого парня лет двадцати пяти. Коренастый блондин в серых брюках и белой рубашке; русский он или немец — я бы, встретясь он мне на улице, сразу не определил...

Незнакомый парень отошел чуть в сторону, а Миша Сергеев, поздоровавшись, с места в карьер тихо сказал: «Мы к тебе. Этого человека надо устроить переночевать. Он оттуда!»

Наверное, сначала я обомлел и не мог, как пишут в романах, вымолвить ни слова. Потом пришел в себя, отпросился у мастера — мол, родственники из Фюрстенберга заехали провести — и повел гостей в Юзикову избушку. Гости там остались, а я побежал объясняться с Питом и Юзиком, которые восторга не выказали... Происходившее дальше в тот день помню как бы в некотором тумане — был возбужден и, разумеется,

боялся.

Вернулся в цех, с грехом пополам доработал до вечера. Миша Сергеев обнаружился посиживающим на травке возле хибары — караулил, пока незнакомец там спал. Мне дали денег и послали раздобывать ужин. Тот парень держался все время как бы сам по себе, а когда должна была появиться брюнетка Елена с супом, исчез совсем. Чего-чего, а бурьянов вокруг шарашкиной мастерской хватало. Елене сказали «спасибо» и тут же без всяких свиданий отправили «домой».

Когда стемнело, он велел показать ему всю территорию фабрики. Походил, помолчал и возле старого автобуса, наконец, сказал, что спать будет «где-нибудь здесь». И чтоб я возвращался к Мише, что все, мол, будет в порядке.

Утром его уже не было, и Миша большой, переночевавший на моей койке, многозначительно объяснил, что тот секретный человек идет к Анатолию. Это означало — в Мюнхен; я в то время уже знал от Миши и Петра Кривцова, что есть такое БСВ, это «Братское содружество военнопленных», его тайно организовал в лагерях в Баварии пленный офицер по имени Анатолий, фамилию которого Миша тоже называл. И что мы, остарбайтеры, должны с ними связываться, чтобы, когда придет время, действовать вместе.

Позже, осенью, Миша большой гордо говорил про ночевавшего у нас «человека оттуда», что он благополучно добрался, куда ему было надо. Во всамделишность нашей конспирации я до этого и верил немного, и в том же время не верил. Но этот случай был совсем особенный, как тут было не поверить!

Про покушение на Гитлера 20 июля мы узнали в тот же день вечером, это был (по теперешнему «вечному» календарю) четверг. Бельгиец Юзик пошел умыться и вдруг выскочил во двор как ошпаренный — скорей беги слушать! Репродуктор был включен, не помню зачем, — может быть, днем не было «как полагается», воздушной тревоги и ее ждали. Из того, что кричал репродуктор, помню только несколько «главных» слов: *Attentat auf Furer! Der Furer unverletzt.* То есть «покушение на фюрера, фюрер невредим». Боже, какие надежды загорелись в ту минуту! И мы с Юзиком, не сговариваясь, бросились одеваться — ехать в город. Смотреть! Ведь если врут, что «фюрер невредим»... Может быть, мы увидим конец?

Но, кроме прибавляющихся каждый раз разрушений да усиленных полицейских кордонов ближе к центру города, ничего не увидели. Зато на следующий же день чуть не на каждом углу

появились плакаты — гонимые листы: разыскивается бежавший обер-бургомистр города Лейпцига, Гёрделер; награда миллион рейхсмарок. Ничего себе, сумма! Зачем же она, если германский народ так предан обожаемому фюреру, которого «Провидение берегло и на этот раз»? Увы, уже через несколько дней расклеили другие листовки, уже поменьше и пореже. Суть: германская патриотка такая-то из вспомогательной службы военно-воздушных сил опознала Гёрделера в аэропорту; его схватили...

Сколько-то времени цацкались у них с этой девкой, как у нас когда-то с Павликом Морозовым, но быстро забыли — видно, уже не до того было. А про полковника Штауффенберга и обер-лейтенанта фон Хефтена, про то, как расстреливали генералов и офицеров, попытавшихся покончить с Гитлером, я тогда ничего не знал.

Постоянное ощущение было — хотелось есть. И после купленной лишней буханки хлеба на талоны от моей спекуляции — все равно. Даже удивительно. Отрежешь и съешь кусок, потом второй, третий, еще хочется. Когда наконец решишь, что хватит, надо на потом оставить, то оказывается — осталось уже меньше полбуханки... А через час опять вспоминаешь, и очень хочется опять к ней подобраться. В Юзиковом дневнике есть такая фраза: «Поел картошки в мундире с картошкой в мундире...» Очень верно замечено.

Я в то время, наверное, не понимал, что дело в том, что организму очень уж не хватает разных других вещей, которые теперь называются белками, жирами, витаминами и микроэлементами. И наверное, все они есть в пище, которую человек потребляет в нормальных условиях, даже если понемногу. Вот ее-то у нас и не было. Ни стакана молока, ни яйца, ни яблока, ни масла за все три года. От чего, наверное, и стали шататься зубы и кровоточить десны уже потом, через несколько лет после освобождения. Называется — цинга, та самая, о которой говорится в книжках про зимовки в Заполярье.

Рядом с лагерем, по другую сторону шоссе — железнодорожная станция Адлерсхоф-товарная. Каменная ограда длиной, наверное, больше километра, утыканная по верху осколками бутылочного стекла. Станция вечно заставлена товарными поездами. Одни приходят, другие формируются. Отцепляются и прицепляются вагоны, переводятся с пути на путь, отстаиваются в тупиках. Вагоны пустые и полные. Охраняемые и не очень. А когда на ближних к ограде путях оказывается вагон с каким-нибудь продовольствием, это таинственным образом

становится вскоре известно в лагере.

Идет к концу год 1944-й. Пайка худеет, у немцев тоже трудности с продовольствием. Растут цены на черном рынке, затируху на фабрике уже не варят. И тут у нас случается настоящий «хлебный пир»: мои друзья приволокли со станции и спрятали на фабрике мешок муки! Попозже вечером, чтоб никто посторонний не знал — мука как-никак ворованная, — замешиваем ее с водой и печем лепешки на раскаленных железных листах.

Конечно, мука — это редкость, экзотика. Чаше такие «экспедиции» охотятся за картошкой, вагоны с которой могут стоять на путях и сутки, и трое. «Проходы» на станцию, к путям, известны всем. Это небольшие участки по верху стены, где торчащие из бетона куски стекла раздроблены твоими предшественниками до основания и через забор можно перелезть, становясь друг другу на плечи. «Работают» чаще всего вдвоем. Добравшись до заветного вагона, дверь которого уже раскрыта на полную ширину, один остается внизу с мешком, а другой, забравшись в вагон, сгребает картошку. Потом так же нагружают вторую тару и — как можно скорее, через пути, к ограде.

Во время таких картофельных экспедиций ночное шоссе вдоль товарной станции превращается в тайную тропу, по которой то и дело пробираются в темноте жители лагеря «Адлергештель». По двое и по трое, в одну сторону почти бегом, а обратно — согнувшись под тяжестью мешков, которыми нередко служат наволочки.

Говорят, были случаи, что охрана станции, обнаружив такую «экспедицию», начинала стрелять. У нас все пока обходилось благополучно.

Мы с Иваном тащим на плечах мешки с ворованной картошкой. У Ивана чуть не полный мешок килограмм за сорок, у меня поменьше, мне столько не донести. Медленно шагаем по пустынному ночью шоссе, уже по «своей» стороне, к известной всем дыре в проволочной ограде лагеря. Внимание, вдали появилась светящаяся полоска! Она движется в нашу сторону на высоте человеческого роста. Это околыш полицейской фуражки, мы нарвались! Полицейский наверняка вооружен, а свернуть нам некуда. Бросить мешки и бежать? А если он начнет стрелять? И уж наверняка останемся без добытой с таким трудом картошки... «Тихо! — шепчет мне Иван. — Держись, не беги!»

Я с трудом преодолеваю страх, мы продолжаем медленно шагать гуськом, Иван впереди. И вот светящаяся полоска, двигавшаяся нам навстречу, перестает колыхаться. Он

остановился! Проходит еще несколько секунд, и мы видим, что околыш начал удаляться. Полицейский уходит! Мы благополучно добираемся до «своего» забора и тут же решаем двигаться через лес сразу на фабрику — от греха подальше, скоро рассвет. А там среди железного хлама картошку прятать надежнее.

Через полчаса наш поход благополучно заканчивается. Можно соснуть в кабине какого-нибудь грузовика. Можно даже посмеяться — чего это, интересно, он повернул? Мы, наверное, догадываемся почему: дела идут к концу. И уже не всегда ясно, кто кого должен больше бояться...

Наезжая в Фюрстенберг к Мише большому почти каждое воскресенье, я, совсем уже как взрослый (а как же! вот я хлебные талоны продаю, спекуляцией занимаюсь, черт возьми!), усаживался поближе к ночи поучаствовать в карточных сражениях. И естественно, оставлял там вырученные денежки, что вызывало насмешки Миши большого. Но препятствовать он мне не препятствовал — «взрослый человек», пусть думает своей головой; деньги ведь проигрывает свои. И вот однажды...

Однажды мне «пошла карта». Даже не просто пошла, а «поперла», как говорят картежники. Партнеры, кто еще не до конца проигрался, чего только не делали — и пересаживались, и бросали игру, чтобы тут же начать ее опять, но уже с другой колодой (другая «сдача», другой «разрез»!), и откровенно «перебивали» свою же карту, что тонкими лагерными правилами игры не возбранялось... Ничто не помогало, и под утро я встал из-за стола, опустошив карманы и заначки человек, наверное, десяти с лишним, с кучей рейхсмарок, которые пихал уже просто за пазуху — в карманах не помещались. Когда проснулся очень недовольный моим ночным занятием старший друг Миша Сергеев и мы их сосчитали, оказалось почти четыре тысячи. По моей зарплате в «генераторен-унд-моторен» получилось бы — за четыре с лишним года...

Конечно, я хотел чувствовать себя мужчиной и верным другом, поэтому сразу же поделил эти деньги пополам и одну половину отдал Мише большому. Сам же решил приодеться и вообще почувствовать себя богатым человеком.

И с этой нехорошей целью отправился буквально на следующий день в известное всем берлинским остарбайтерам значное торговое место — на Германн-штрассе. Там, рядом с одноименной станцией городской электрички «эс-бан», была ныне не существующая очень большая пивная, можно сказать, пивной зал, где собирались по вечерам самые разные люди, желающие

что-нибудь продать или купить. Я слышал от ребят, побывавших там до меня, что в этом пивном зале «достать» можно все — от талона на одну буханку хлеба до золотых часов. Примерно то же самое было в пивном зале в самом центре, на Александер-плац (названия этих заведений не помню). Если «перевести на русский» само понятие, то это была толкучка, толкучий рынок, где при советской власти продавалось и перепродавалось разное барахло, а теперь у нас так называемые вещевой и мелкооптовый рынки.

Первое, что я понял, едва вошел туда сам, — что там полно соглядатаев. Но это никак не мешало непрерывно ведущимся «переговорам» и совершающимся сделкам. Здоровенные кельнеры носились с огромными подносами с бокалами пива. Не без труда найдя место за столиком и почти немедленно получив свое пиво, я тут же услышал: «Тебе не надо ... ?» Брюки такие-то не надо? Табак в пачках? Очки?.. И так далее.

Мне нужны были наручные часы — самоглавнейший признак лагерного благосостояния. Довольно скоро продавец нашелся; расплатившись за пиво, мы с ним удалились метров за сто от пивной, он назвал цену и показал неплохо выглядящие часики. Я загорелся, поторговался самую малость, и сделка состоялась.

Часы остановились дня через три или четыре. При следующей поездке в Фюрстенберг Миша большой, открыв их, немедленно опознал старую изношенную «штамповку», дешевый ширпотреб.

Поздней осенью 1944 года меня довольно крепко «стукнуло» на фабрике. День был как день, ничего особенного. Я подправлял на точильном станке какую-то обычную железяку, ни о чем таком не думал, как вдруг... Р-раз! В мгновение ока большой палец левой руки втянуло под вертящийся точильный диск. Со звоном отлетело в сторону железо, жуткая противная боль — и я выдернул из-под диска стесанный до кости окровавленный палец.

В конторе была аптечка, рыжая барышня кое-как палец перевязала, побледневшая при виде крови блондинка ей помогала. Но было понятно, что дело обстоит не очень хорошо. И тогда бельгиец Юзик, наскоро переодевшись, повез меня как я был, в грязной спецовке, в ближайшую больницу. Там сначала нас принимать не хотели — «это больница для немцев!» — но Юзик стал на них шуметь, дозволялся врача, и тот без разговоров отвел нас в хирургию и занялся моим пальцем. Вколол мне здоровенный шприц, уложил и довольно долго колдовал с моей рукой. Когда он закончил, перебинтованная кисть была похожа на рукавицу, из нее торчала вбок толстая обернутая бинтами палка.

С неделю я не работал совсем, кранковал. Несколько раз ездил в больницу к тому самому доктору — он назначал на

перевязки. Потом еще недели две ездил по разным поручениям того же Купчика и вообще конторы нашей фабрики. Последнее из них было в маленький городок, названия которого я не запомнил, километрах в пятидесяти на восток. Шел туда со множеством остановок, несколько часов, пригородный поезд-паровик. А в городке было полно солдат, по улицам тащили повозки, пушки, возле маленькой фабрики рыли окопы. Уже, можно сказать, под самым носом Берлина. Плохи твои дела, Германия...

Когда через несколько дней было мне велено работать в цеху, пришлось носить поверх бинтов кожаный чехол на покалеченном пальце. А ноготь на нем и теперь растет раздвоенный.

Что делается на фронтах, мы прекрасно понимали и, между прочим, знали из сводок германского верховного командования, которые каждый день были слышны из репродуктора, висевшего у самой двери в комнату отдыха, где наши немцы оставляли, приехав на работу, свои пожитки и там же в обеденный перерыв перекусывали принесенными из дому бутербродами. В Германии на пороге катастрофы врали про войну, как ни странно, сравнительно мало. Хотя города рушились под бомбами, вся человеческая жизнь была совершенно нарушена, а под самый конец случилось самое для них невероятное: очереди за хлебом, пустые прилавки и прочая. Сводки назывались «Из главной ставки фюрера...» и были в общем довольно правдивы. Во всяком случае, от взятия Красной Армией очередных городов, сначала в Белоруссии, а потом уже в Польше и все ближе к самой Германии, и до признания этого факта — времени проходило куда как меньше, чем у нас в сорок первом, когда признавались через неделю, а то и позже. А формула некоторого затушевывания (как у нас «бои велись на смоленском направлении...») была вот такая: противник развернул наступление оттуда-то и пытается продвинуться в направлении такого-то города. (Называют его.) А дальше — несмотря на упорное сопротивление германских войск, отдельным танковым клиньям русских удалось достичь предместий (этого города). Ведутся, дескать, упорные бои по уничтожению этих «отдельных прорвавшихся танков»... А назавтра — то же самое, только уже про другой город, еще ближе к Германии. До сих пор сидит у меня в памяти услышанное последней зимой с этой формулой, что «trotz erbitterter Widerstand konnten die feindlichen Panzerspitzen Landsberg erreichen...».

От тогдашнего Ландсберга, теперешнего Гожува Великопольского, оставалось до Одера каких-то пятьдесят километров.

Что такое господин Купчик на самом деле и в чем действительные причины его ко мне странного благоволения, я так никогда и не узнал. (Может, просто нужен был ему время от времени незаметный помощник для все тех же «отвезти — привезти», который не будет ничего спрашивать, не станет болтать и за которого, если что случится, спрос с него, Купчика, будет невелик, а может, были у него и другие, мне неизвестные соображения, о которых, как и о некоторых других не вполне понятных обстоятельствах того берлинского периода, могу только гадать.) Так или иначе, а поездить с его поручениями пришлось мне немало, раза два был у него на квартире, точнее — в обставленном явно старинными мебелью особняке, где Купчик находился с весьма авантажной шикарно одетой дамой, для меня в то время — чуть не старухой...

А на Рождество в декабре 44-го, перед Новым годом я ездил в какие-то непонятные места, с квартиры на квартиру, туда и обратно; незнакомые богато одетые и в то же время чем-то подозрительные немцы читали присланные им бумаги от Купчика и передавали другие бумаги или записки для него. И совсем уже поздно вечером в особняке у этой шикарной дамы на берлинской окраине герр Купчик, вышедший ко мне в роскошном халате, очень обрадовался последней бумажке, похвалил меня и объявил, что завтра мы получим — и показал жестом, как опрокидывают рюмку.

И назавтра действительно в шарашкину мастерскую были доставлены в багажнике Купчиковой плохонькой легковушки бутылки со спиртным — это было что-то вроде нынешнего бренди, только чуть слабее. Знаю точно, потому что тоже получил от Купчика бутылку. И свез ее в Фюрстенберг, где она и была распита за Новый 1945 год — последний в неволе.

А потом наступил февраль 1945 года, Красная Армия вышла на Одер, и было уже не до узнаваний про господина Купчика.

Все вокруг рушилось под почти непрерывными бомбардировками с воздуха, американцы и англичане перешли Рейн (а немцы с невероятной пропагандистской помпой расстреляли несчастного лейтенанта, не успевшего взорвать мост у городка Ремаген), всем было ясно, что Красная Армия, форсировавшая Одер в нескольких местах с ходу, готовит свое последнее наступление — на обреченный Берлин. И в то же время в Германии сохранялись какие-то признаки как бы нормальной, неразрушенной жизни. Немцы получали продукты по карточкам чуть не до последнего дня. Уже весной 45-го, в марте наверное,

мы с Юзиком пытались купить капусту, которая продавалась без карточек. «Нет, — сказал продавец, он же, наверное, хозяин магазина, — не могу продать вам капусту». Спрашиваем почему — она же не по карточкам? «Да, не по карточкам, — объяснил продавец, — но с пяти часов вечера капуста продается только по справкам, которые называются Spatschein». И он, продавец, обязан оставлять продукты, которые быстро раскупают, для обладателей такой «поздней справки».

Поразительный народ. Фронт под носом, вот-вот будет полный капут, а они капусту учитывают до «после пяти часов»!

Зато наша братия в мастерской, можно сказать, наглеет. И уже кто-то, даже не очень таясь, предлагает устроить небольшую диверсию: испортить мотор армейского грузовика, которому заканчивается ремонт; газогенератор ему уже приделан. Как? А очень просто: пока цилиндры двигателя раскрыты, уронить туда нечаянно хорошую гайку! Вот заведут его хозяева, а гайка эта им весь двигатель и разворотит. Здорово?..

Знающие мотор лучше, чем изобретатель, объясняют ему, что мотор заклинит в первую же секунду, как заведется. Его тут же начнут разбирать и увидят покалеченный поршень и расплюснутую гайку. Ясно, что будет после этого? Инициатор огорченно соглашается. Потом придумывают другое — а если оставить незатянутыми два-три болта на шарнирах коленвала? Гут кто-то из старших ребят сурово предлагает «кончать базар»: хочешь мудрить — мудри. И помалкивай, зря не болтай!

Прочитавший об этом в наше время может морщиться и хмыкать сколько ему угодно.

Ездил я в Фюрстенберг прежде всего, конечно, не за таинственными записками. Они ведь и появились как бы вторично, после того, как я решил туда поехать. Очень важно было ощущение как бы независимости — вот я катаюсь на вашем поезде, и хоть бы хны! Потом добавилась еще выгода от перепродажи талонов; если по-советски и честно — от спекуляции. Но все это, наверное, не главное, главным было другое: в Фюрстенберге была для меня как бы семья. Несколько самых близких мне вот уже третий год людей, и главный из них — Миша большой. Увижу ли когда-нибудь маму и бабушку (а проще, живы ли они и уцелею ли я) — в этом я тогда очень сомневался, а что нет в живых моего отца — не сомневался нисколько. И «внутри» для себя как бы отрекался от него в мальчишеской непримиримости, за то, что он совершил такую ошибку — ничего толком не сделал, чтобы эвакуироваться из Харькова (а может быть, и не хотел этого), когда стало ясно, что город будет занят немцами. Погубил, наверное, маму. И очень

даже может быть, что меня тоже.

Но я пока цел и даже испытываю злорадное чувство к врагам-немцам: «Я вас все равно обманул! Вы про меня так и не узнали. Теперь я помогаю подпольщикам, и Красная Армия вас обязательно победит!» Что-то в этом роде, достаточно мальчишеское.

А в фюрстенбергском лагере опять появились, это было, наверное, уже в начале 45-го, новые люди: на фабрику пригнали мужское пополнение. Ясно, что из какого-то другого лагеря из другого города — больше брать давно уже неоткуда. Несколько лиц показались мне знакомыми, но откуда — вспомнить не мог. И на всякий случай держался подальше. Один из них остановил меня. Спрашивает, слегка улыбаясь: харьковский? Я осторожно ответил что-то вроде того, что «да, ну и что?». — «Ладно, харьковский, — говорит он. — С тобой мы в одном эшелоне в Германию ехали, меня можешь не бояться. Правильно тогда сделал, что умотал, — тебя, как прибыли на место, на верфь в Висмаре, искали какие-то суки. Болтали — еврея, мол, в эшелоне везли... Никого не бойся, держись!»

Спасибо тому человеку из Харькова.

В начале 45-го, когда фронт уже стоял на Одере, я познакомился по какому-то делу с парнями из лагеря, находившегося по другую сторону Берлина, в пригороде Бух. И однажды, уже не помню, зачем и по какой причине, поехал вечером к ним в лагерь. Кажется, это было уже весной, когда ехать в Фюрстенберг я уже не мог — железную дорогу вовсю бомбили, и поезда не ходили. А выходные стали отменять даже в нашей «генераторен-унд-моторен». И вот там, у них в лагере, мне предстала удивительная картина. Трое или четверо молодых и, как говорится, полных сил идиотов (они были и на самом деле довольно упитанными) примеряли военную форму странного желто-зеленого цвета. Мои знакомые, их соседи по бараку, объяснили, пожимая плечами, что те собираются идти служить в какую-то «национальную армию». Чью? «Ну, при немцах. Их не поймешь, спроси сам».

Я стал спрашивать и слышал от тех парней, что они послушали каких-то вербовщиков и надумали сказаться галичанами, жителями Западной Украины, которую немцы называют Галицией. И теперь поступают на службу в дивизию «Галичына», которая принадлежит ни больше ни меньше, как к войскам СС...

Сначала я не поверил. Вы что, не соображаете, кому идете служить? Вам, не говоря уже обо всем прочем, непонятно, что и

СС и Гиммлеру вместе с Гитлером вот-вот полный капут? Что для них вы просто пушечное мясо, вас сунут в самое пекло, а если уцелеете — расстреляют свои, потому что Красная Армия вот-вот будет в Берлине?

Ничто их не брало. Несли какую-то чушь, что «уже дали форму» и что «будэ добре харчування», а один из них, напрягши мозги, додумался до такого: «Колы пошлють на фронт, то здамся до Червоной армии. Ще раньше од вас!»

Были и такие идиоты, ничего не поделаешь.

Примерно в то же время в одну из страшных бомбежек Берлина был вдребезги разбит приборный завод, на котором работал бельгийский слесарь-механик Фердинанд Смитс, родной брат Юзика, привезенный в Германию вместе с ним. И начальство решило перевести рабочих дальше на Запад, в какой-то городок неподалеку от Ганновера, где был филиал того завода или смежное производство, — чтобы они там продолжали работать. Мы с Юзиком пошли провожать Фрэда, и я стал уговаривать его не ехать — ведь сюда скоро придут наши, Красная Армия, которая нас всех освободит. Фрэд резонно заметил, что там, куда их везут, его тоже освободят, только не Красная Армия, а англичане, и что там ему ближе к Бельгии, к дому. И вообще он как-то больше доверяет англичанам.

Когда мы уже прощались, я сказал ему: «Ну что ж, тогда до свидания — в Сибири или на том свете!» И своих ребят в шарашкиной мастерской я тоже убеждал, что если нас накажут и пошлют в Сибирь, то это будет правильно, так нам и надо. Такие у меня были в те последние месяцы войны «политические убеждения». Я не только считал, как и до этого в Фюрстенберге, что нам придется отвечать за то, что работали на Германию, но и очень, как сказали бы в старое доброе советское время, активно пропагандировал эту точку зрения. Когда мы в цеху собирались компанией в несколько человек подальше от мастера и беседовали о настоящем и явно имеющем измениться в самое ближайшее время будущем, я с жаром доказывал, что мы все виноваты и отечество вправе с нас за это спросить.

И что это еще хорошо, если нас освободят, а война еще не кончится, и нам дадут возможность «смыть кровью...» и так далее. (Что мы на окраине Берлина и что приход наших в Берлин не может не означать окончания войны, это от меня тогда как-то ускользало.) А если нас после освобождения погонят в Сибирь пилить лес или добывать уголь, то и это будет правильно... Повторял это не раз, отсюда, наверное, и такое предсказание при прощании с бельгийцем Фрэдом.

Хлеб становился все хуже, лагерная пайка похудела, как было в Фюрстенберге поздней осенью 42-го. Наступил и день, когда хлеб не выдали совсем, пообещали — завтра. А на фабрике давно кончился последний мешок муки, и господин Купчик только разводил руками — добыть муку он уже не мог. Раздобывать пропитание надо было самим...

Способ известен, в лагере он ни для кого не секрет. По окраинам города великое множество садово-огородных поселков. Очень похожих на теперешние российские садовые участки, только поменьше, и домики на них были тогда, в конце войны, совсем маленькие. Что-то вроде беседки или будки с навесом. Однако почти возле каждой такой будки можно было увидеть не только садовый инструмент и не только легкие раскладные кресла — хозяева желали отдыхать с удобствами. Почти в каждом таком садике были клетки с кроликами. Овощи и фрукты или изделия из них нередко хранились здесь же в домике или в погребе под полом. И еще там бывали стеклянные банки с законсервированной в них крольчатиной.

В эти поселочки и стали наведываться по ночам берлинские оstarбайтеры — за пропитанием. А немцы, владельцы взломанных домиков и похищенных продуктов, стали охранять по ночам свои поселки; из-за этого случались непредвиденные встречи с хозяевами. Бывало, что даже стрельба из охотничьего ружья по «гостям». Но с казенным пропитанием становилось все хуже, так что набеги на садовые домики, назывались они, кажется, *Gartenlauben*, беседками, все равно продолжались. Несмотря на неловкое все же ощущение воровства — не вообще «у немцев», как сахар в Штеттине, а просто у чьей-то семьи, у чужого человека, который не сделал мне ничего плохого и, может быть, даже никакой не фашист. Ничего не поделаешь — война...

Даже на окраинах много разрушений, а в центре — смотреть страшно. Разрушены бомбами и выгорели целые улицы и кварталы. Однако такое впечатление, что чем ближе бесславный для них конец войны, тем истощенней и громче вопит пропаганда, в которую, наверное, немцы уже и сами не верят. Да и как им верить, когда советские войска считай что рядом, сотни километров не наберется.

Мало того что репродуктор извергает чуть не целыми днями бодрые реляции убийственного содержания. Газеты, надо полагать (я их почти не видел), тоже. Еще чуть не на каждой афишной тумбе, где ни попало, на заборах и стенах — аршинные призывы и лозунги. Особенно много дурацких плакатов про

бдительность. Черный силуэт толстого человека в шляпе, который куда-то наклонился — высматривает тайны, наверное, и надпись высоченными буквами: PST! FEIND HORT MIT! — «Тс-с! Врэг подслушивает!» Немало и просто громких словес. Скажем, Blut und Ehre! — Кровь и честь, дескать. Ну и что с того? Или: Der Fuhrer hat immer Recht; вождь, ясное дело, всегда прав. А незадолго до конца появились чуть не на каждом шагу, и часто уже не плакаты, а просто надписи на уцелевших к тому времени стенах: BERLIN BLEIBT DEUTSCH! — «Берлин останется немецким...»

На всю эту чушь народ не обращал уже, наверное, никакого внимания. Чего тут подслушивать! И что останется от города, который и так наполовину разрушен бомбардировками?

Поразительное дело: всего за месяц до начала наступления Красной Армии с приодерских плацдармов на Берлин я еще съездил 18 марта 1945 года на поезде в Фюрстенберг и обратно; наверное, это был последний раз. (Точное число не означает, что я его тогда запомнил. А дело в том, что в книгах о событиях Второй мировой войны есть дата жуткой бомбардировки 15 марта городка Ораниенбург под Берлином, через который проходил поезд на Фюрстенберг. Несколько сот летающих крепостей В-29 стерли там с лица земли завод цветных металлов «Ауэр гезелльшафт», потому что разведка американского атомного проекта узнала, что туда были вывезены из Франции радиоактивные материалы. Сильно пострадал, разумеется, и город; в находившийся рядом концлагерь Заксенхаузен тоже попали бомбы. А я хорошо помню, что ехал в воскресенье после этой бомбежки, о которой в вагоне почему-то все знали.)

Отделение вагона было переполнено, пассажиры, почти сплошь женщины; довольно громко, уже не стесняясь, говорили о погибших и о том, что война проиграна и бессмысленно ее продолжать. Среди ехавших был военный, он стал неуверенно стыдить плачущую женщину, — дескать, надо верить до конца в фюрера и в победу. И тут с ней сделалась настоящая истерика. Женщина рыдала, другие пытались ее успокоить, а она выкрикивала, что пусть фюрер, который погубил в концлагерях (!) и на войне столько людей, всю молодежь Германии, катится к дьяволу. (Вот такое страшное ругательство...) А если кому этот бездарный фюрер еще не надоел, тот пусть катится вместе с ним!

Пожилые женщины долго ее успокаивали, а военный стушевался и выбрался из вагона на первой же остановке. Полиция или гестапо не появились.

Через несколько дней или, может быть, через неделю после этой невеселой сцены майстер Хефт взял меня с собой на

грузовой машине что-то привезти на фабрику. И по дороге спрашивал с подковыркой, что я себе думаю — а как будет дальше? Если сюда придут русские? Они тебя, пожалуй, не погладят по головке...

Соблюдая «конспирацию», я ответил что-то вроде того, что как же это придут? Вот ведь ваш Гитлер обещал поразить всех секретным оружием. Так, наверное, пора ему? А то ведь действительно придет Красная Армия, придут американцы и англичане, а мы, господин майстер, вон сколько машин для вермахта вместе с вами наворочали, замечательные газогенераторы им пристроили...

В общем, «политической договоренности» у нас с ним получиться тогда не могло. О чем жалею, потому что до прихода фашистов к власти майстер Хефт был в компартии Германии (или, может быть, в комсомоле). И могу себе представить, что он на самом деле думал о Гитлере и о приближающемся конце войны.

Однако же фронт остановился. Стоит на месте уже около двух месяцев. И, по правде говоря, мысли в голову лезли всякие. А вдруг наши сюда не придут? Ведь вот американцы Францию освободили, а теперь тоже который месяц топчутся. Ведь такая сила, а ничего поделаться не могут. А вдруг у немцев и правда вот-вот появится какое-то страшное оружие, и тогда они опять...

В какой-то день вот такого смутного времени мастер велел мне сделать из стального проката консольную опору для какой-то балки, выдолбить для нее в стенке цеха гнездо и забетонировать ее туда. Провозился я с этим день или два, а когда все было почти готово, вдруг ни с того ни с сего придумал — оставить в стене записку со своим именем. Ну, «на всякий случай». Отыскал где-то клочок бумаги, карандаш. Написал свои имя и фамилию, что я из Харькова и еще какие-то, наверное, «возвышенные» слова. Нашел у кого-то коробочку, может быть спичечную или пачку от сигарет, точно не помню, и в ней, никому не сказав, замуровал в стенку это свое послание.

Среди новых построек на той берлинской окраине шарашкина мастерская в девяносто четвертом году еще стояла. Если цела стена, то моя записка лежит в ней до сих пор.

Из нашей фюрстенбергской четверки в «генераторен-унд-моторен» Леша Смирнов был, наверное, самым тихим. Спецовка на нем всегда жутко замасленная. Ходит медленно, почти не разговаривает. Где его ни увидишь в цеху — он всегда к тебе спиной, а к кому лицом — непонятно. Такое впечатление, что ко

всем спиной. Но когда с ним заговоришь и он обернется, то всегда приветливо улыбается. Леша добрый, всегда поможет товарищу, если что надо. Крольчатины из банки, уворованной в каких-то Gartenlauben, в садовых домиках, впервые дал мне отведать, между прочим, тоже он. Леша ездил вместе с Николаем, когда полковник Гайст таскал их зачем-то на полигон. А вот ко всей конспирации с Кривцовым и Мишей Сергеевым он, Леша, вроде бы никакого отношения не имел. Оно и понятно: увалень, не о том заботится.

Дело было уже весной, незадолго до конца. Однажды Петр Кривцов позвал меня из цеха, отвел в сторону, жует, по обыкновению, какие-то слова. «Вот, надо уладить, тут одно дело... Ты можешь здесь ночевать, придется тебе... Мы тебе доверим и посмотрим, как ты...»

Кто «мы», какое такое дело я должен улаживать? «Я скажу Смирнову, — нудит Петр. — Возьмешь у него, спрячешь...» Наконец-то родил! Опять записку, наверное? Или они добыли листовки?

Появляется улыбающийся Леша Смирнов. Нагрузившись для конспирации какими-то железяками, мы отправляемся на свалку, к паровым котлам. Покопавшись возле одного из них, Леша вытаскивает из кучи мусора тряпицу, в которую завернуто нечто тяжелое. Разворачивает ее. Ласково улыбаясь, протягивает мне здоровенный, явно исправный пистолет! Показывает — пистолет заряжен. Говорит, что здесь могут найти во время воздушной тревоги, и надо пистолет надежно спрятать на несколько дней. Здесь, на фабрике, чтобы в случае чего был под рукой. «В случае чего именно?» — «Ну, — говорит рассудительный Леша, — ясно чего... Восстания в лагерях, наверное. Может, и немецких коммунистов, кто его знает...»

Замечательная перспектива...

Посоветовавшись, мы решили упрятать оружие в «бункер», куда ставили на ночь и во время тревоги пишущую машинку. Сделать это можно только вечером, когда немцы уедут по домам. А пока пистолет перекочевал ко мне за пазуху: Петр велел, объясняет Смирнов, чтобы отвечал за эту штуку я.

Вот такое почетное поручение. Мне страшно, но ничего не поделаешь. А что, если в цеху придется лезть куда-нибудь наверх или таскать газовые баллоны? А пистолет возьмет и выпадет?

Но все обошлось. Вечером мы с Лешей благополучно запихнули обернутый в тряпки пистолет под потолочину «бункера», и он спокойно пролежал там несколько дней. Потом Леша его снова унес. Что с ним было дальше — не знаю, восстания у нас тоже не было. Сильно подозреваю, что

перепрыгивать пистолет поручили мне просто для проверки — не откажусь ли, не испугаюсь ли опасной «игрушки».

И все равно — разве не здорово, что весной 45-го года у наших ребят мог откуда-то взяться пистолет с патронами?

Заканчивалась первая половина апреля сорок пятого года. Уже несколько дней было совсем тепло, почти жарко. Реже гудели сирены воздушной тревоги, и все понимали, что это значит: наступление Красной Армии на Берлин начнется вот-вот.

Совершенно не помню, что было накануне — в воскресенье 15 апреля: работала ли в тот день фабрика или нет и почему я не ночевал в хибаре.

В понедельник 16-го числа очень рано, еще не совсем рассвело, я проснулся на втором этаже автобуса. Проснулся от далекого рокота, то нарастающего, то затухающего словно могучий подземный гул. На соседних сиденьях-диванчиках подняли головы еще двое или трое наших. Кто-то засомневался: может, это шумит поезд? Тяжелый состав идет? Другие лица расплылись в улыбке. Нет, видно, не зря напоминал немцам репродуктор все последние дни, что «на захваченном плацдарме в районе Кюстрина-на-Одере продолжаются приготовления врага *«zum Grossangriff»*».

По-русски — к большому наступлению. Вот оно и началась, дорогие товарищи и немецкие господа!

Мы спустились вниз, на воздух — «слушать своих». Кто-то догадался — надо лечь и приложить ухо к земле. Она вздрагивала... А ближе к шести утра, когда стали приезжать на работу первые в тот день немцы, музыка далекой канонады была слышна уже совершенно отчетливо. Кто-то стал переодеваться в рабочее. Кто-то не слишком уверенно взял инструменты и вроде бы принялся за работу. Начальник цеха позвал кого-то за собой, побежал к машине, которой занимался накануне, старательно изображая, что ничего не случилось. Остальные тынялись, а Леша Смирнов сиял такой улыбкой, что впору портрет писать. И тут отличился Федя Кожушко, разбитной, никогда не унывающий крепыш.

Кожушко забрался в кабину грузовика, завел двигатель, тронулся и стал, на радость собравшимся, раскатывать перед цехом. Махая при этом из кабины рукой и выкрикивая нечто весьма оптимистическое. Так продолжалось несколько минут. Опешивший поначалу майстер Хефт включился, выгнал Федора из кабины. Поставил грузовик на место и стал бранить Кожушку, который, радостно смеясь, громко объяснял майстеру по-украински, что чего уж теперь! Шабашить, мол, пора — ведь уже

слышно, «ось вже чути Червону армію!»

Пришлось понемногу как бы браться за работу, но она, естественно, совершенно не двигалась. А через час или, может быть, полтора часа, когда уже наступило рабочее время служащих, вышел в цех господин директор фон Розенберг и спокойным тихим голосом сказал, чтобы мы, русские, собрались все вместе — он хочет с нами поговорить.

И он сказал нам вот какую очень короткую речь. Ужасная война кончается, скоро вы поедете домой. Я понимаю вашу радость и ваше нетерпение. Но и вы должны понять, что я не имею права просто так — закрыть фабрику и отпустить вас. Это привело бы к самым печальным последствиям для всех нас. Поэтому прошу вас — будьте благоразумны, потерпите! Осталось совсем немного...

Слова его здесь написаны, разумеется, по памяти, но за суть и тон ручаюсь.

И мы стали кое-как возиться со своей обычной работой, с двумя-тремя грузовиками, оставшимися к тому дню в мастерской, да с газогенераторами. Двое или трое немецких рабочих плюс мастер вроде бы и старались быть как всегда, но это уже плохо получалось.

А вечером, когда на работе уже никого не осталось, прямо над шарашкиной мастерской, совсем низко, промчались истребители с красными звездами на крыльях. Первый раз за три с половиной года — вижу наших!

Бельгиец Иос Смитс, в просторечии Юзик, написал про этот день в своем дневнике так:

«...В шесть часов Петро и несколько других русских рабочих вытащили меня из койки. Надо лечь, приложить ухо к земле и слушать. Еще вчера мы смеялись над тем, что рассказывает Петро. Теперь мы слышим, как где-то вдали гремит на самом деле. Около 9 часов задрожали двери и окна, а потом стало опять тихо. Сегодня получил письмо от Нанда (мой брат) с талонами на шнапс и два яйца. Сегодня мы опять соорудили диван из двух кресел разобранной автомашины. Устроились вдвоем в машине. Вечером, лежа там, мечтал о доме. Сейчас без четверти девять. Вдруг: «бум-м!» И еще раз: «рр-р-бум!» Мы знаем эту песню! Бежим сломя голову. Скорей удирать! Начали стрелять зенитки, и только потом загудела воздушная тревога. Как рождественская елка — светящиеся нити

трассирующих пуль с самолетов. Они проносятся прямо над нашими головами. Наконец через 2 часа отбой воздушной тревоги. Мы возвращаемся в домик. Не успеваем войти, как прямо над нами снова режут самолеты. Все сначала — гудят сирены, опять тревога. Когда мы бежим к нашим котлам, к убежищу, падают бомбы и свистят пули. До половины второго сидим в котле. Потом ложусь спать одетым. Всю ночь слышны выстрелы, взрывы, грохот».

Следующие несколько дней сбились в памяти как бы в один непрерывный. Канонада стихла, и поначалу мы решили, что завтра, ну, самое позднее послезавтра, Красная Армия будет уже здесь. Ан нет... И немецкое радио изо всех сил кричит, что «враг остановлен и будет отброшен!» и что «мы уже были под Москвой, и мы опять...». Что-то там, значит, застопорилось. А в мастерской продолжается откровенно липовая работа. Исправно, минута в минуту, приезжает утром на работу мастер. Прилежно греет воду и подметает пол старичок Густав. Сидят за своими столами в конторе блондинка и рыжая. Короткие воздушные тревоги — над нами пролетают на небольшой высоте советские самолеты. А нам все равно пора решать, как быть, чтобы перед самым освобождением, что называется — в последнюю минуту, не подставить зря голову.

В нашей компании склонялись к тому, что в лагере опаснее: мало ли что может прийти в голову фашистам, когда наступает неизбежный конец. Вот возьмут и пришлют эсэсовцев, как было в Фюрстенберге при облавах, поставят пулеметы и всех перестреляют...

Те, кто так считал, оставались теперь ночевать на фабрике. Одно спальное место было всегда — моя койка в домике Пита и Юзика. Были широкие, нередко даже кожаные двойные сиденья в грузовиках, ожидавших установки газогенераторов (теперь уже напрасно ожидавших); был уже известный двухэтажный автобус, спать в котором на пассажирских сиденьях — одно удовольствие. А вот с пропитанием стало совсем худо. Кончилась добытая недавно то ли на товарной станции, то ли из чьих-то садовых домиков картошка. На второй или третий день не осталось уже ни куска хлеба, сколько ни растягивай. Есть нечего.

Зато опять слышна артиллерия!

Так и наступил последний день, вернее, последнее утро шарашкиной мастерской. Это было уже в пятницу или в субботу. С утра перестала ходить городская электричка на Обершпее, и

хромой Густав сильно опоздал. А еще часа через полтора началась какая-то суета. Рыжая барышня несколько раз прибегала из конторы в цех и о чем-то шушукалась сначала с мастером, а потом и с другими немцами. Минут через пять или десять все уже знали, что «шеф», директор фабрики барон фон Розенберг, срочно уехал — у него дома что-то случилось. А он еще не подписал какую-то бумагу, без которой им никак нельзя. И теперь надо, чтобы кто-нибудь съездил к нему домой, это не так далеко, но они, мастер и двое немецких рабочих, не говоря уже о барышнях из бюро, почему-то не могут поехать. Что за бумага и зачем она им нужна, мы, понятное дело, не знали. И тут я расслышал произнесенное вполголоса слово «Panzer» — танк!

У меня, что называется, засвербило. И я, не раздумывая, направился с невинным видом к мастеру: «Давайте велосипед, адрес и как туда проехать — я съезжу». Мастер слегка опешил, а рыжая барышня обрадовалась и стала его теребить — пусть едет, только скорее! Великое дело — женское слово! Через несколько минут мне дали чей-то велосипед, и я покатил в Кепеник — езды туда было, наверное, с полчаса или около того — за их бумажкой. Ничего такого особенного по дороге не заметил, дом господина фон Розенберга, обычный для берлинской окраины скромный особняк, нашел легко. Совсем близко от него, в какой-то сотне метров, были хорошо видны смятые ограды палисадников и развороченный тротуар. «Сегодня утром, — спокойным голосом объяснил директор, — здесь были два русских танка; мальчики из фольксштурма пытались в них стрелять...» И таким же тихим голосом сказал, отдавая мне бумагу и прощаясь: «Германия проиграла войну, немецкая армия отступает уже здесь, у моста через Шпрее. Я желаю вам счастья...»

Едва отъехав, я не удержался и повернул к мосту, чтобы увидеть это своими глазами. Остановился неподалеку от набережной и злорадно любовался расстроенными колоннами, огромной толпой людей в зеленой форме, плетущихся по мосту через Шпрее с фронта. Заросшие, грязные, многие в бинтах и кровоподтеках. Многие без оружия. Кто с лошадьми, а кто своим ходом тянут повозки с лежащими вповалку ранеными. Техники не видно никакой, и все это поразительно напоминало виденное три с половиной года назад — в конце октября 41-го, когда Красная Армия уходила из моего Харькова.

Я вернулся на фабрику, отдал велосипед и бумагу от директора. Немцы были уже в гражданском — ждали и переоделись заранее. И сразу стали разъезжаться. Кто-то торопливо прощался с нами, кто-то ушел незаметно; все ближе грохотала артиллерия.

Заперли они что-нибудь или оставили так, не помню.

И мы, человек десять украинских и русских парней, остались на фабрике без немцев. Почти как хозяева. А остальные человек десять ушли в лагерь — поближе к своему скарбу, или, может быть, к друзьям, или еще по какой причине. Попозже вечером, когда грохот обстрела стал еще громче, двое или трое вернулись — уже, что называется, «в полной готовности», с вещами, какие у кого были. Ушел ночевать в городское бомбоубежище бельгиец Юзик.

Пальба все ближе. Еды никакой.

Ночью стрельба ослабела, с рассветом опять усилилась. С нашей территории, от котлов, в которых мы ночевали, видна позиция немецких зениток возле станции электрички. К ним привыкли, во время воздушных налетов они стреляли; мы давно уверены — напрасно, все равно никого не сбили. И вот теперь буквально на наших глазах стволы их здоровенных орудий один за другим опускаются. Они смотрят уже не в небо, это значит — стрелять будут прямой наводкой. Если в сторону пригорода Кепеник и моста через Шпрее, где я вчера видел отступающие немецкие части, то это в нашу сторону...

Идут вторые сутки, как во рту не было ни крошки. Несмотря на разрывы снарядов, которые слышны уже совсем близко, находятся смельчаки: втроем отправляются к ближайшему поселку садовых домиков в надежде добыть хоть что-нибудь съестное. Возвращаются на удивление скоро и с добычей: нашли оставленные кем-то овощи и початую банку с крольчатинной. Самый рассудительный из нас — Иван, с которым мы однажды с мешками картошки на плечах напоролись на полицейского, решает: надо варить горячее. И побольше, потому что когда нам достанется поест в следующий раз — совершенно неизвестно...

Хорошо помню здоровенную кастрюлю, в которой под звуки рвущихся снарядов варили на печке похлебку. Когда бежали с ней от голландской хибары к котлам, что-то грохнуло совсем рядом, в меня полетели какие-то обломки и комья земли. Я перепугался, что уроню кастрюлю или ее пробьет осколком, но все обошлось. Мы тут же на месте, не отходя от нашего убежища, здорово заправились. Потом, ближе к вечеру, вылезали наружу уже только «на разведку», глянуть — и тут же обратно: снаряды рвались уже здесь, на территория фабрики. Доносился треск очередей — то ли пулеметных, то ли автоматных; различать их я еще не умел. А перед наступлением темноты успели увидеть, что стволы немецких зениток возле станции повернуты в нашу сторону. Смотрят, что называется, прямо на нас...

В пальбе и грохоте проходит еще, наверное, несколько часов.

Кто-то уже нервничает — кричит «ой!», когда осколки шваркают о котел.

Меня оглушает невероятной силы удар, я глохну; котел то ли разваливается, то ли улетает куда-то — все кончено? Пробую пошевелить рукой; это получается. Ощупываю себя и трогаю лежащего рядом — нет, мы живы и, кажется, целы. Понемногу приходят в себя и остальные, никого не убило. Мы догадываемся, что прямо в нас, в наш котел, угодил снаряд. Если бы пробил...

Проходит еще сколько-то времени, и снаружи почему-то становится тише. Выстрелы и разрывы слышны, но где-то в стороне, уже не здесь, не на фабрике.

Двое вылезают наружу. Проходит, может быть, минута — их не слышно. Они, наверное, отошли в сторону? Я тоже выбираюсь наружу. Свежий воздух, ночь. Кажется, звезды видны были. По ту сторону фабрики валит дым, что-то горит. Неподалеку от нас у разбитой стены цеха стоят несколько человек в военной форме, цвета которой в темноте не разобрать. Рядом с ними совсем маленькая пушка на колесах.

У них на пилотках звездочки, это же наши!

Все!

Глава седьмая. Красная Армия

Наши пришли! Красная Армия! И мы к ним бросились чуть не обниматься — пришли свои, советские! Вы нас освободили!

Кто-то из них хмуро заметил, что свои — на фронте, воюют, а вы тут что? «Так нас же насильно...» — «Ладно, — прервал эту лирику один из них, наверное старший. — Давай, показывайте, где тут немцы!»

Сразу выяснилось, что это слово значит не совсем то, что мы думали. Для Красной Армии «немцы» — это вермахт. А остальные — так, чепуха. Это «цивиль», гражданские немцы, не опасные.

И мы пошли к станции электрички показывать красноармейцам, где у немцев позиция зенитной артиллерии. По улице двигались осторожно, у самых домов и заборов. В нас никто не стрелял. Зенитчиков на месте уже не было, орудия, одно из которых этой ночью едва не отправило всю нашу компанию на тот свет, стояли брошенные. А в какой-то сотне метров по другую сторону улицы — поразительное дело — светился синим светом указатель. Там был вход в городское бомбоубежище.

Красноармейцы спросили, что это, и направились туда, а нам сказали уходить.

Мы вернулись на фабрику. Стены, изрядно побитые за ночь, стояли. Окон в конторе не осталось, дверь сорвана. Здесь шла уже какая-то другая жизнь, приходили и уходили военные в пилотках и в фуражках. На столе горел очень яркий электрический фонарь, была разложена какая-то очень подробная, это было видно даже издали, карта. Я впервые разглядел советские погоны, они мне не показались внушительными, сразу было видно, что военная форма у наших победнее немецкой.

У командира, сидевшего за столом с картой, на погонах были звездочки, по три или четыре на каждом. Он хмуро спросил про нас, ему ответили, что мы освобожденные. А другой командир, помоложе, сказал, чтоб шли показывать, где прячутся цивильные немцы и где у них спрятано «барахло». А другой добавил с усмешкой: «И где женщины, фрау!» Кто-то засмеялся, а низкорослый корявый красноармеец, улыбаясь во весь рот, похвалился: «Уже три немка е...!» На погонах у него было по одной узкой поперечной ленточке, значения которых я не знал. Остальные не обращали на него внимания, кто-то покривился.

И мы пошли с несколькими военными обшаривать окрестные

места.

В сарае рядом с нашим цехом стоял какой-то неисправный прожектор, принадлежавший зенитчикам. И там оказался примитивно устроенный подвал, большая выложенная досками яма под полом. И в ней полно чемоданов, рюкзаков, саквояжей — жители соседнего дома сносили сюда, наверное, нужные вещи на случай, если дом разбомбят или он сгорит.

Мало чего от этих вещей осталось там к утру...

С каким-то мстительным чувством я первым делом отыскал шерстяной джемпер с закатывающимся воротом, какие спустя много лет стали называть водолазками. Давно о таком мечтал, когда мерз осенью и зимой. Нашел хороший рабочий комбинезон и ботинки из толстой кожи, подошва чуть не в два пальца. И еще взял зачем-то несессер, кожаный футляр с разными штуками: ножницы и пилочка для ногтей, станок безопасной бритвы (я еще не брился), флакон с металлическим блестящим колпачком, еще какие-то красивые штуки.

И, только налюбовавшись при свете там же найденного карманного фонаря этим богатством, ощутил, что ведь это я делаю примерно то же самое, что в первые дни оккупации делали в нашей харьковской квартире германские солдаты, пришедшие с «обыском». Называется мародерством, если по правде.

Застеснялся, однако взятые вещи обратно не положил. Рядом кто-то из наших наталкивал в здоровенный рюкзак какие-то женские вещи. Несколько красноармейцев тоже... Кто-то из них произнес тогда слово, которым это в армии называлось: шарудить. Я, значит, шарудил у немцев, которые спрятали от бомбежки свои вещи.

Комбинезон я тут же и надел, а бывшую на мне рабочую одежду выбросил. Успокоительная мысль была простая: «Они у нас больше награбили...»

Рассвело, подъехали еще какие-то невиданные машины, военные занимались своими делами и уже не обращали на нас внимания. Стало видно, кто из наших основательно постарался этой ночью. У кого чемодан, а у кого и два, да еще битком набитый брезентовый мешок. Интересно, что о еде никто не вспоминал, а ведь мы все давно ничего не ели, а тут, наверное, могли бы и разжиться.

Из городского бомбоубежища вернулся бельгиец Юзик, весь всклокоченный и какой-то растерянный. Что-то происходившее там ему, кажется, сильно не понравилось. Иван спросил военного со звездочками на погонах, что нам теперь делать. Тот ответил, что нам пора мотать отсюда: «Здесь вам делать нечего. Туда

идите!» Он махнул рукой на юго-восток, в сторону Кепеника, откуда они пришли. «А куда там обращаться?» Он снисходительно посмотрел на спрашивающего: «Не беспокойся, скажут!»

И мы стали собираться в дорогу. Приволокли найденную у зенитчиков вместительную тележку на шинах, погрузили на нее свои трофеи. Вот тут вспомнили и про еду. К вещам прибавился ведерный, наверное, немецкий бачок-термос. Там же, где ночью разбирали чужие чемоданы, нашлись какие-то продукты, что именно это было — убей, не помню. Но еды, трапезы мы никакой не устроили. Взяли продукты с собой в дорогу и собрались идти.

Было нас здесь, наверное, человек десять. Попрощались с Юзиком и голландцем Питером, им ведь было совсем в другую сторону. И двинулись мы в путь, катя по очереди тележку, высоко нагруженную вещами, барахлом.

Вышли на шоссе. Оно было все забито техникой, стояли друг за другом, гуськом, десятки, а может, и сотня советских танков. Двигались грузовики и пушки на прицепе. На многих танках были красные звезды и крупно написано «ВПЕРЕД НА БЕРЛИН!». На одном из танков сидел возле оружейной башни молодой загорелый военный в комбинезоне, макал большую кисть в ведро с белой краской и делал из этой надписи другую: «МЫ В БЕРЛИНЕ!» Я остановился возле него и спросил, не из Харькова ли он. Он засмеялся и сказал, что нет. И назвал место, откуда он родом, очень далеко от Украины, где-то на Севере.

Мост, на котором несколько дней назад я видел отступающую немецкую армию, был взорван, два его пролета висели над водой. А рядом лежал в реке широченный и, как мне тогда показалось, очень красивый понтонный мост с металлическим настилом. И по нему навстречу нам шла и шла Красная Армия. Переезжали через реку запряженные лошадьми повозки, шагали строем красноармейцы. Двигались бронированные машины с пушками, под их тяжестью глубже садились в воду понтоны.

По этим понтонам мы перешли через Шпрее и пошли на восток, в сторону СССР.

За городом дорога тоже была вся буквально забита армией, казалось, конца не будет войскам и технике, движущимся нам навстречу — к Берлину. Миновали какие-то предместья, дальше был уже лес, асфальтированная дорога шла прямо через него. Немецкую тележку нам вскоре пришлось отдать: она приглянулась каким-то шагавшим навстречу пехотинцам. Они сказали — это вам «не положено», это трофей. И отдали нам другую, свою тележку. Тоже немецкую, но не армейскую, а

похуже; наверное, от какого-нибудь бауэра, сельского хозяина.

А часа через два или три, когда мы проходили через какой-то поселок или городок, увидели плакат над воротами. Что там было написано, точно не помню: может быть, сборный пункт возвращающихся на Родину. Или добро пожаловать, или еще что-нибудь. У ворот стояли красноармейцы, несколько человек, один из них с автоматом на плече и поманил нас: «Из немецкой неволи? Вам сюда, заходите».

За воротами было довольно большое двухэтажное строение в обычном для немецких городков или предместий садике, похожее, может быть, на школу или на пионерский лагерь. На первом этаже открыты двери больших комнат с железными койками и матрацами; в одной из них мы и расположились.

Пришел сержант («товарищ командир», по моим тогдашним познаниям), позвал идти с собой: за продуктами. Выдали нам на всю компанию хлеб — уже не помню точно сколько, знаю только, что ужасно много. Может, по целой буханке на брата. Еще сахар и чай. И еще там стоял мешок с рисом — насыпайте, ребята, сколько вам надо, будете сами готовить. И после этого двое из наших отправились с сержантом к немецкому мясному и колбасному магазину, который был, естественно, закрыт. Сержант там свободно ориентировался, вызвал хозяина и велел ему выдать нам овцу. Через пять минут все было исполнено.

Притащили откуда-то кухонный котел, развели под ним огонь...

Откуда взялся при той первой после освобождения невероятной трапезе спирт, не знаю, но был и спирт. И тогда же из воронки громкоговорителя, повешенного где-то рядом на сосне, загремела никогда не слышанная нами песня. От ее музыки, от строфы «Любой фашистской нечисти загоним пулю в лоб! // Отродью человечества сколотим крепкий гроб. // Пусть ярость благородная вскипает, как волна! // Идет война народная, священная война!» — меня и теперь пробирает дрожь.

Настроение наше понять не трудно: мы наелись до отвала, идти куда больше не надо. Мы у своих! Думать, что дальше, тоже не надо: их командиры, наверное, уже решают нашу судьбу.

Так оно и было. Пришел красноармеец (по-новому, солдат) и позвал с собой кого-то из нас, наверное первого попавшегося: давай, мол, иди за мной — начальство зовет. Скоро тот вернулся, сказал, что допрашивают про Германию и чтоб шел следующий. Скоро дошла очередь и до меня. Я еще спросил красноармейца, который приходил за нами: кто нас допрашивает — он командир чего? Тот весело рассмеялся: «Какой еще командир? Особняк он! Про особый отдел слышал?»

Я бы не назвал тот первый разговор допросом. Усталый немолодой человек со звездочками на погонах (по три штуки) просто расспрашивал меня: имя-отчество-фамилия, кто и где родители, когда и как попал в Германию, где и кем работал. Еще — кто были полицаи и поступал ли кто служить в немецкую армию. И еще были вопросы, о настоящем смысле которых я догадался не сразу: тебя в полицию забирали? в гестапо допрашивали? На вопрос про полицию я честно рассказал, как меня схватили за кражу колбасы в городе Штеттине и что из этого вышло. Офицер сначала заинтересовался, стал расспрашивать подробнее, но вскоре сказал, что это не важно.

Так мы проговорили, наверное, с полчаса, после чего он дал мне несколько листов бумаги и сказал, чтобы я сам все написал про пребывание в Германии. Если то, чем я стал писать, было ручкой с пером, то держал я ее в пальцах первый раз после сорок первого года. Но может быть, то был карандаш, не уверен. А уверен в том, что ни про талоны от господина Купчика, ни про записки в Фюрстенберг и тайного «человека оттуда» я не рассказывал и не написал. Чувствовал, что так лучше...

Конечно, особистам было с нами просто: вся компания с одной фабрики, все друг друга знают. И те наши ребята, кто напоследок ушел с фабрики в лагерь, пришли сюда в тот же день, вскоре после нас. Тебя спросили про меня, меня про Ивана, Ивана про Петра и про тебя. Очень просто и понятно.

Прошел день, мы знатно выпались без воздушных и прочих тревог. Утром опять готовили варево и ели досыта. Старший лейтенант Гришков и еще один офицер беседовали с вновь прибывшими. Некоторых из нас тоже вызывали и допрашивали, уже по второму разу. Меня тоже.

Во время этого второго разговора со старшим лейтенантом в комнату влетел запыленный до черноты, сильно небритый военный в брезентовой защитной накидке и в фуражке. Старший лейтенант поднялся со стула, велел мне, чтобы я тоже встал, и отрапортовал: «Товарищ начальник, допрашиваю репатриантов...» Это слово, стократно повторявшееся потом не один год, я услышал, наверное, в первый раз. «Этот кто? — рывкнул начальник. — Откуда? Как фамилия?» Старший лейтенант назвал мою фамилию, сказал, что я из Харькова, что двадцать шестого года рождения и что знаю немецкий язык.

Черный человек грозно посмотрел на меня, спросил: «Этот Черненко?» — и схватил с другого стола толстую папку с бумагами. «А ты знаешь, Черненко, сколько у нас тут на тебя

материалов? Как ты переводчиком работал, рассказал старшему лейтенанту? А как в гестапо подписку давал? Ну-ка давай, выкладывай, а то хуже будет! Тут все про тебя известно!»

Отчетливо помню, как я застеснялся: зачем этот взрослый человек и к тому же начальник старшего лейтенанта так явно берет меня «на пушку», устраивает комедию...

На вопрос, который каждому задавали: как думаешь жить дальше? — только двое из нас ответили, что хотят искупить вину перед Родиной и просят послать на фронт. Кто-то сказал, что не знает — мол, «куда определят». А добрейший деревенский парень Петро стал объяснять лейтенанту, что надо бы сначала съездить домой, до дому: родителей повидать, вещички отвезти, которыми, вот, поживились у немцев. А тогда, уж наверное, и в армию — война ведь еще не кончилась, не скінчилась... Обещали чего-нибудь тем, кто собирался до дому, или нет — не знаю, а с нами обоими все решилось быстро. И на следующее утро я уже ехал в обратную сторону. В крытом кузове американского грузовика «шевроле» с красноармейцами энской механизированной бригады, воинской части гвардейской танковой армии. Такие замечательные названия услышал я теперь.

А название городка, где все это началось, давно забылось. Судя по книжкам о войне и по карте, это, скорее всего, Рюдерсдорф, примерно на половине пути до окраин Берлина от города Мюнхенберга, взятого Красной Армией после штурма Зееловских высот.

По уже известному понтонному мосту переехали через Шпрее, проехали, как оно и должно было получиться, недалеко от нашей фабрики. На столбах и прямо на стенах домов теперь появились стрелки с надписями разного размера и цвета: «ХОЗЯЙСТВО...» такого-то. Сотни, наверное, или тысячи русских и разных других фамилий в родительном падеже. А иногда еще короче: «К НИКОЛАЕВУ». Или совсем просто — «ТРОФИМОВ», например. Были и хорошо заметные надписи: «До рейхстага ...!» — и цифры, сколько осталось километров. Там, где дома не были разрушены, из многих окон и с балконов свисали простыни. Или, может быть, наволочки или полотенца — в роли белых флагов. (Кто видел это потом много раз в кино, может не сомневаться: так оно и было, чистая правда.) И еще очень часто, чуть не на каждом доме, встречалась надпись краской или просто мелом: «ПРОВЕРЕНО МИН НЕТ сержант (такой-то)».

До меня начинает доходить удивительность, просто невероятность происходящего. Я, вчерашний невольник, в

Красной Армии! С солдатами и командирами (слово «офицер» я пока ощущаю как чужеродное) в видавших виды пилотках и гимнастерках, в кирзовых сапогах, чуть не у каждого из них на груди медаль или орден — они дошли до Берлина! И я с ними въезжаю теперь в этот Берлин. В нем еще идет бой, его предстоит еще взять.

Наш «шевроле» отвернул куда-то влево и катил поначалу довольно уверенно. Потом на каком-то перекрестке не оказалось нужной указки, и командир, который ехал в кабине с водителем, велел мне стать с ним рядом на подножку, чтоб справляться о дороге. Район был совершенно мне незнакомый, а спрашивать не у кого: берлинские жители на улице не появлялись. К тому же командиру было известно только направление — по указкам своей части в первый эшелон. «К центру!», вот и все.

Так мы двигались постепенно, вроде бы в сторону центра, довольно долго. Приходилось объезжать завалы и развалившиеся дома, или улицу перегораживал покалеченный танк или обгорелый грузовик. Где-то неподалеку, впереди и сбоку, уже вовсю шла стрельба, грохали пушки, но в машине вроде бы не обращали на это внимания. Значит, и мне надо было «не замечать», хотя чувствовал я себя на подножке довольно неуютно. Надвигалась темнота, когда наконец обнаружилось, что этот самый «первый эшелон» уже где-то здесь — нам стали встречаться машины, в которых командир и водитель узнавали по номерам свою или соседнюю бригаду. Разрушений на этой улице почти не видно. Остановились у трехэтажного дома. Командир велел мне пойти туда посмотреть что и как.

У подъезда стоял пожилой немец; чисто одетый. Плотный такой пиджак на нем, рубашка клетчатая и галстук. Он поклонился и сказал: «Здравствуйте, господин солдат! Здесь нет германской армии. Никс дойч зольдат!» Наверное, я хмыкнул; приятно, оказывается, быть «господином». Заглянул в подъезд, в окна первого этажа. Никого. Наши солдаты спешили, командир велел все кругом получше осмотреть и тогда располагаться.

Других жителей не видно, но многие квартиры в доме не заперты. Если какая и заперта, то это наших не смущает; по двери грохают прикладом, и она распахивается. Командир со старшиной устроились в хорошо обставленной квартире на втором этаже, остальные разместились в двух соседних на первом. Никто не торопится, ничего не приказывают. Вместо того чтобы занимать Берлин дальше, умываются, раздевшись до пояса, благо на первом этаже из кранов течет вода. Собираются ужинать и ночевать в этом доме, на немецких перинах. Один солдат постарше, хмурый такой, спросил про меня: а его на довольствие

ставили? На него, мол, нам продуктов не отпущено. Старшина покривился: «Не хватило тебе, что ль? Он теперь солдат, как все!» Хлеб был непохожий на немецкий, кирпичиком. А консервы здешние, в стеклянных банках, похоже, что крольчатина. Недавно мы воровали такие из садовых домиков.

Охранять «шевроле» или вход в дом меня не поставили, сказали, чтоб «отдыхал», что на пост — это надо еще заслужить. И до утра я бессовестно проспал на каком-то диване, накрывшись шикарным пуховым одеялом. Не раздеваясь, как все. Уже понял, что надо помалкивать да поглядывать на старших, чтобы не наделать глупостей...

Совсем недавно был я стреляный воробей, знал себе цену, а теперь — опять мальчик, ни в чем толком не разбираюсь...

И оставаться бы мне в несмышленищах еще, наверное, неизвестно сколько, если бы не случай на следующее утро. Среди военных машин с черными номерами Красной Армии за ночь появилась красивая легковая с откидным верхом, где-то взятый трофей. Вокруг него колдуют шоферы, подходят посмотреть другие солдаты. Нам вот-вот отправляться вперед, нашего командира уже кто-то старше чином торопит в довольно сильных выражениях, а вести «мерседес» некому. Сколько «штатных» машин, столько и шоферов. Других «не положено» (эти слова часто повторяются по самым разным поводам). Командир торопит шоферов, те пожимают плечами и вроде бы оправдываются, что, мол, пусть назначат солдата, которого можно хоть ненадолго посадить за руль.

И тогда я нахально вызвался — давайте я! Мне, мол, приходилось. На самом деле «приходилось» — это во дворе «генераторен-унд-моторен» переставить грузовик на другое место или подать его в сторону, чтоб проехал следующий; больше ничего. Командир недоверчиво пожал плечами, а потом махнул рукой и велел шоферам: была не была, пробуйте!

И я уселся за руль. Повернул ключ зажигания.

Мотор завелся сразу. Времени, чтобы долго меня проверять, не было. Тронулся с места, проехал на малом газу не сколько шагов вперед и назад. На том испытание и закончилось. Шофер Дементьев покривился слегка, но кивнул — пусть его! Сам вывел «мерседес» на проезжую часть улицы, похлопал меня по спине и побежал к своей машине.

Рисковать жизнью никто из давно воевавших не захотел, и храбрец, чтоб сесть со мной в легковую, нашелся только один — солдат моего же примерно возраста. Километра, может, три рулил я в жутком напряжении в плотной колонне между

военными грузовиками, а Ваня на заднем сиденье радостно кричал что-то и поднимал вверх автомат. Доехали мы с ним до какого-то места, где колонна встала, без приключений И уже через несколько минут я с огорчением увидел, что нужна была легковая только затем, чтобы снять с нее колеса и какие-то детали. Оставить трофейный автомобиль при части почему-то не разрешается. «Не положено».

Там его и бросили — уже без колес. Черт с ним! Зато солдаты смотрят на меня теперь поприветливей: «Шоферить может!»

Только про очень немногое за дни войны в Берлине знаю уверенно, когда именно это происходило, до или после чего-то другого или какого числа. Не запомнились самые простые вещи — что ели, например. Или: где удавалось поспать (очень мало) после того первого дня.

Дали мне оружие, оно называлось «карабин» и было известной с довоенных времен винтовкой-трехлинейкой, только короче. Спросили, умею ли стрелять: «Боевое оружие в руках держал когда-нибудь?» Я гордо ответил, что еще в школе сдал нормы на «ювээс» — юный ворошиловский стрелок. Из малокалиберной, конечно. Старшина посмеялся и велел быть поосторожней: «Стволom чтоб всегда вверх! В своих не пальни!»

Продвигались вперед вдоль улиц, иногда пробирались прямо через дома. Ближе к центру города почти все кругом было разрушено, остались одни наполовину обвалившиеся стены. Или снаружи дом вроде почти целый, а на самом деле внутри все выгорело. И там еще сидят солдаты вермахта или эсэсовцы, пальба идет такая, что не подступиться. Если же в стену бьет снаряд, она рушится и любого из нас может завалить. Или побить кирпичами, что не раз и случалось. А если стрелять переставали, то чаще всего это значило, что немцы отступили, ушли из этого подвала или дома. Или же из давно выбитого окна или пролома в стене появлялась белая тряпка на палке, какая-нибудь вещь из белья, и оттуда кричали: «Нихт шиссен!» — не стреляйте! И выходили солдаты, несколько человек с поднятыми руками — сдаваться. Вид у них был, конечно, плохой. А у меня появлялась шальная надежда, про которую сам понимал, что она глупая: а вдруг сейчас это будет тот полицейский, который бил меня в городе Штеттине! Не может разве быть, что он теперь здесь воюет с Красной Армией? Вот я ему покажу! Или: а вдруг сейчас возьмем пленного, его станут обыскивать и у него окажутся золотые часы моего отца!

Не очень взрослые это были мысли.

Хотя насчет часов — не совсем бескорыстные. У всех наших

солдат были хорошие наручные часы, бывало, что и не одни. Часто повторялась присказка, что вот, мол, раньше знали по-немецки только «хенде хох» да «Гитлер капут», а теперь, когда пришли в Германию, все знают еще три слова: «ур, фрау, шнапс». Die Uhr, die Frau, der Schnaps. Часы, женщина и водка, такой вот набор... Про женщин я и тогда думал, что это больше болтовня, во всяком случае для нормальных людей. Водка меня мало интересовала, да и откуда возьмется шнапс у берлинских жителей. А вот часы — другое дело.

Дальнейшее понятно, увы, и без объяснений; хорошие наручные часы очень скоро у меня появились.

А в какой-то вечер за стеной уже оставленного немцами полуразрушенного дома никого рядом со мной почему-то не оказалось. И вокруг какая-то странная тишина. Я вдруг понял, что вот сейчас, в эту самую минуту, пока не пролезет сюда еще кто-нибудь наш, между мною и отступившими из этих развалин немцами никого нет. И если они меня сейчас во второй раз...

Испугался бывший мальчик в тот раз сильно.

Берлинская улица, мало пострадавшая. Движение застопорилось, вокруг полно солдат и техники.

Среди бела дня бежит откуда-то молодой офицер, за ним с криками гонится молодая женщина в разодранном платье, развеваются рыжие волосы. У него руки заняты, потому что очень уж, мягко говоря, «не в порядке костюм». Рыжеволосая вцепляется в офицера и дубасит его по спине. Солдаты кругом свистят и гогочут. Незадачливый ухажер знает, наверное, что скажет его начальство (а то и хуже — особист), и норовит вырваться и удрать. В конце концов ему это удастся. Потом уходит, не найдя, кому пожаловаться и вытирая слезы, рыжая женщина. Солдаты провожают ее смешками, свистом и восхищенными взглядами.

Что на войне, случается, женщин насилуют, это я знаю, к сожалению, с первого дня. А офицер тот еще хорошо отделался — всем уже известно про грозный приказ командующего фронтом: «беречь честь и достоинство советского воина, не допускать жестокостей по отношению к мирному населению Германии». За нарушение — военный трибунал. Солдатский народ побаивается этого, и даже шарудить в оставленных жителями квартирах стали меньше. Нетрудно догадаться, что будет, если кого-то обвинят в изнасиловании.

Нас во взводе сейчас человек десять или двенадцать, примерно половина того, что «положено», потому что первые дни после форсирования Одера были тяжелые бои. Командира взвода

у нас нет — он в госпитале, ранен. Должен скоро вернуться. За него пока помкомвзвод, сержант, фамилию которого я, хоть разбейся, не могу вспомнить. О командирах же, которые «выше», я постоянно слышу, и только. У них, наверное, своих дел хватает. Меня понемногу вроде как опекают солдаты постарше. Куда поглядывать, когда пригнуться и жаться к стенке, а когда и носом в землю, вернее, в асфальт или брусчатку берлинской улицы. Зря не стрелять. Индивидуальный пакет чтоб всегда был (это специально упакованные бинты) и нож. И еще ложка, но это уже по другой причине.

Не забыл про меня и особый отдел. Это старое название, правильно он теперь называется «Смерш», что значит «смерть шпионам». А «черный человек», который меня пугал, — это их начальник. Его звание гвардии капитан, фамилия Полугаев, у него орден и три нашивки на груди, две красные и желтая. Это значит, что он трижды ранен; желтая нашивка — за тяжелое ранение. Непонятно, как такое случается с начальником, да еще особого отдела. Солдаты объясняют: такой он человек. «Лезет на передок, потому и ранило...»

Переводчик у них вроде бы есть, но им, наверное, не хватает. Когда меня к ним зовут, это значит, что нашли какого-то гражданского немца (пленных я у них не видел), которого будут допрашивать. Старший лейтенант Гришков, тот самый, что недавно допрашивал меня самого, задает немцу вопросы, но они не про шпионов. И не про вермахт или фольксштурм, сопротивляющийся в Берлине. Спрашивают прежде всего про фашистскую партию. Немец уверяет, что в НСДАП его записали чуть не насильно и что он, хоть и состоял, ничего в партии не делал. Ему не верят и дальше спрашивают, что ему известно про Гитлера — где он может теперь находиться? Где находится Геббельс? И еще несколько фамилий. И мне кажется, что командиры Красной Армии очень надеются захватить в Берлине фашистскую верхушку. Наверное, хотят и отличиться. А может, всем особым отделам приказано искать Гитлера.

Я переводил вопросы старшего лейтенанта, а допрашиваемые пугались или недоумевали и рассказывали хотя и с разными интонациями, но в основном одно и то же: как еще недавно Геббельс обещал по радио, а Гитлер издал воззвание, что Берлин не сдадут и русских победят. А что теперь, конечно, «аллес капут» и, разумеется, Гитлер капут...

Я догадывался, что Красной Армии от таких ответов пользы мало. Ловил себя на том, что даже жаль этих гражданских немцев — в «Смерш» попали вроде бы ни за что, а отпустят ли их, неизвестно; вполне может быть, что всех членов фашистской

партии сошлют куда-нибудь. Еще было понятно, что старший лейтенант почти ничего не знает о Германии и про фашистскую партию, но очень старается вникнуть во все это. И я старался как можно лучше переводить его вопросы и ответы немцев.

Через несколько дней моей военной службы, когда я уже много чего усвоил из ее премудростей, на улицу, где мы остановились, вышла пешая колонна. Солдаты без оружия, гимнастерки на всех явно «б/у». Я услышал оклик: «Мишко!» Огляделся и увидел: машет рукой Петро с «генераторен-унд-моторен», который сказал в особом отделе, что хорошо бы сначала до дому. Выбрался он из строя, спросившись у пожилого солдата с винтовкой, который шагал там сбоку, подбежал ко мне. Мы обнялись, сказали какие-то слова. Я увидел в колонне еще наших, был там Леша, который давал мне прятать пистолет. Я стал махать ему, а Петро побежал догонять свою шеренгу. Рота из вчерашних «остарбайтеров», необстрелянных новобранцев, шагала к центру города, в самое пекло.

Через пятьдесят, наверное, лет в московском «Мемориале», где собрана картотека бывших «остарбайтеров», искал я фамилии тех ребят.

Не нашел ни одной.

Догорают дома вокруг, небо застилает черный дым. Вечер 29 апреля тысяча девятьсот сорок пятого года. Мы уже где-то в центре, где именно — не знаю, да и не в том дело. Говорят, что уже недалеко до рейхстага. Лупит артиллерия, трещат автоматные очереди, что-то взрывается совсем рядом. Переваливает через развалины самоходка, здоровенная пушка на танковых гусеницах. Авиации второй день не видно. Немецкой, наверное, не осталось, а наша не летает, чтоб не угодить по своим?

И вдруг — фантастическое зрелище: над разбитыми домами появляется и карабкается в небо самолетик, маленький, какой-то несерьезный. Еле ползет. Хорошо видны знаки «люфтваффе» на крыльях.

По самолетiku начинают стрелять — он же совсем низко! — кто из чего может. Каждому, кто его заметил, самолетик виден, может быть, какие-то секунды, мешают крыши уцелевших домов. А он продолжает лететь. И исчезает из виду, скрывается в висящей над городом черной мгле.

Гитлера увозят!

А что же еще могли мы подумать?

Через много лет я прочту в серьезных книжках про то, как

генерал фон Грейм и летчица капитан Ханна Райч прилетали в почти уже взятый Берлин к Гитлеру. На подлете в них тоже стреляли, генерала ранило. Райч, которой фюрер благоволил, уговаривала его лететь из Берлина. Он отказался, дальнейшее хорошо известно. Самолетик поднялся в воздух прямо с улицы...

Обо всем этом мы, естественно, не имеем ни малейшего понятия. И уверены, что у нас на глазах из Берлина бежит Гитлер...

Мы в центре, вокруг одни развалины. Уже несколько часов, как сидим в подвале наполовину разбитого дома. С задней стороны, «со двора», откуда мы сюда попали, уже, можно сказать, советская власть. Или хотя бы не совсем передовая: там не стреляют, туда даже машины подходят. А улица, куда выходят окна подвала, под огнем. И не видно, откуда именно стреляют. Нам сначала велели перебегать на другую сторону улицы, но из этого ничего не вышло, еле-еле вытащили с мостовой обратно в подвал двоих раненых. Теперь приказано ждать.

Наверное, до этого подвала я и не знал, что почта действует на войне везде и всегда. А тут, пока ждали, сержант Тихомиров дал мне карандаш, бумагу и даже конверт, трофейный, конечно. Пиши, мол, домой. Сказал номер полевой почты и что «не бойсь, дойдет!». И я написал в первый раз письмо домой и просьбу к соседям, чтобы ответили на адрес полевой почты, если мамы там нет, известно ли что-нибудь про нее.

В подвал постепенно набилось много самых разных военных людей, в том числе с большими звездочками на погонах; они подходили и подъезжали с той, уже взятой стороны и здесь застревали. К тому времени я уже хорошо понимал, что кроме стрельбы в противника на фронте очень много других дел, без которых обойтись невозможно. И очень много людей, которые должны ими заниматься, а не палить из ружей. Наверное, кто-то занимается и тем, чтобы нам выбраться наконец из этого подвала и двигаться дальше.

Так оно и произошло. Стрельба вдоль улицы стала потише, наш сержант сказал, что немцев с той стороны выбили и нас сейчас «подбросят» до КП, командного пункта, который оказался уже впереди.

День этот был Первое мая, праздник. Еще запомнилось, что из подвала была видна уцелевшая табличка с названием улицы, наверное, это была Muller-Breslau-Strasse. Через сколько-то времени на другой ее стороне недалеко от нас остановился транспортер с торчащим вперед пулеметом. Мы вылезали через окна, бежали к нему и забирались в бронированный кузов. Во

время этих перебежек одного солдата все-таки ранило, наверное не очень сильно. Ему помогли тоже забраться в машину, кто-то разрезал ему рукав гимнастерки и бинтовал плечо. Лейтенант в танкистском шлеме буквально загнал в кузов еще нескольких офицеров, которые храбрились снаружи, сел к водителю, и мы тронулись. Машина поехала прямо по тротуару, у самых стен. Потом съехала на проезжую часть и медленно прошла под эстакадой городской электрички. Сразу за ней открылся перекресток и по другую его сторону — остатки какой-то чугунной ограды.

Транспортер остановился, лейтенант помахал рукой и крикнул нам: «Дальше — броском, улица простреливается!» И под звуки не очень близких, но явно предназначавшихся нам выстрелов мы по двое, по трое буквально перелетали на ту сторону и лезли через остатки ограды.

За ней парк. И там тоже стреляют, уже с другой стороны.

Это был берлинский зоопарк, «ZOO». Помкомвзвод сказал, что мы прибыли, куда приказано. Сам обшарил местность вокруг и позвал нас к какому-то непонятному строению, оно было словно врыто в землю и едва над ней возвышалось. Кажется, без окон, но не ручаюсь. Что это было, не знаю, может, бункер для кормов. Или же террариум. (Что мы в зоопарке, я тоже сначала не знал. Вблизи никаких зверей и клеток не было.) Становилось темно, и хорошо было видно, что стреляют в нашу сторону только с одной стороны. Больше всего откуда-то сверху. Стрельба то затихала, то опять становилась сильнее. Иногда близко рвались снаряды.

Понемногу проясняется, что происходит и чего ждут.

Посреди парка стоит многоэтажный бетонный бункер, городское бомбоубежище с зенитными орудиями на крыше. Теперь там засели немцы, наверное эсэсовцы. Оттуда сильный огонь. Под стенами бункера уже наши, говорят, туда подвели артиллерию и били из пушек прямой наводкой, но бункеру ничего от этого не делается. (На следующее утро сказали, что его бетонную крышу не берет и авиационная бомба весом в тонну. Верно это или придумано — не знаю. И еще говорили, что зенитные орудия на крыше были повернуты стволами вниз и так в нас стреляли. Возможно это или нет — тоже не знаю.)

Всем понятно, что к празднику Первое мая Берлин полагалось взять окончательно, вот рейхстаг — успели и подняли там знамя, а здесь застряли. Наверное, генералы требовали, чтобы бункер был взят, но сделать это солдаты осадившего его батальона не могли. Противника за бетонными стенами их огонь не доставал, а в них самих и в нас тоже то и дело палили через

бойницы. И посланные «поднять», «подтолкнуть» и прочее возвращались каждый раз ни с чем и докладывали об этом своим командирам.

Тем временем наступила ночь. Наверное, поэтому двигаться к стене бункера нам не приказывали. Часа в два кто-то сказал, что эсэсовцам передан ультиматум и что «срок до шести ноль-ноль», а полковник, командир нашей бригады, теперь отдыхает. И что приказано разбудить его в пять ноль-ноль.

Никто поблизости даже не пытался уснуть. Шинели у меня не было, я мерз. Стрельба впереди то усиливалась, то затихала, вспышки выстрелов в нашу сторону были хорошо видны. То и дело раздавался окрик: «Стой! Кто идет?» — и потом два слова тихими голосами (пароль — отзыв), это пробирались среди кустов и деревьев и возвращались обратно посыльные в батальон, из артдивизиона, к саперам и еще куда-то. Монотонный голос радиста повторял где-то рядом: «Волга, Волга, я Краса. Прием!»

Было еще темно, когда оттуда, со стороны «Волги», раздался грохот сильного взрыва. Потом стало тихо. Только изредка слышались одиночные выстрелы.

Там подорвали сложенные за стеной, «снаружи», боеприпасы, и гарнизону бункера стало нечем обороняться. Или еще что-то произошло, точно не знаю. Когда рассвело, вокруг уже говорили про капитуляцию. Те, кто находился в непонятном помещении рядом с нами, стали вылезать наружу и устраивались под кустами — просто посидеть на воздухе. Совсем близко от нас остановился прицеп — полевая кухня. Котелка у меня тогда еще не было, и Ваня (который не побоялся ехать со мной в трофейном автомобиле) дал мне, когда поел, свой котелок. Я тоже съел что-то горячее или, вернее, теплое. Выстрелы все же иногда звучали. Несколько раз рядом что-то посвистывало, негромко вроде бы «тю!.. тю!..». Солдат Сидоров степенно сказал, что если пуля свистит, то это она уже пролетела мимо, чего ж ее бояться... В общем, никто не прятался.

Потом совсем молодой солдат, вроде меня, вдруг закричал, и все увидели, что у него с ладони течет кровь. Его стали перевязывать. Пришел санитар, посмотрел и сказал, что палец ему почти отстрелило, его наверняка ампутируют. Услышав про это, раненый заплакал. Ребята постарше его уговаривали, что надо, наоборот, радоваться: это считается легким ранением, а пока будешь в госпитале, война кончится, значит, тебя не убьют. Ты, мол, теперь герой, ты же кровь пролил! А он сквозь слезы повторял, что невеста его ждать не станет, потому что кому нужен такой работник, без пальца...

Подошел офицер и приказал всем укрыться от обстрела:

«Чего расселись, жить надоело?»

Издалека видно, как к перекрестку за разрушенной оградой подъезжают «виллисы». Из них выходят офицеры и еще двое в кожаных пальто (я уже знаю, что полковник, а тем более генерал не имеют права быть на передовой со знаками различия). Поодаль останавливается большая легковая машина. От нее идут немецкие офицеры в своих длинных шинелях и высоких фуражках. Они подходят к нашим офицерам, останавливаются и отдают честь, козыряют. А оба в кожаных пальто отвечают им! Несколько минут возни; машины разворачиваются и уходят в ту сторону, откуда мы вчера попали сюда. Солдатский телеграф действует — через несколько минут все только и говорят, что пришли парламентары. Неужели капитуляция? Тихомиров поясняет: понимай дело, славяне! Вот сейчас их в армию повезли, а то и во фронт! (Я тоже понимаю, что это значит — в штаб армии, в штаб фронта.) Сдаются немцы, раз парламентаров прислали! Чего ж им еще делать-то?

Конечно, откуда нам все это было знать, если серьезно. Но по времени — сходится с написанным через много лет историками. Шесть часов утра второго мая тысяча девятьсот сорок пятого года; командующий берлинским гарнизоном генерал Вейдлинг сдается в плен и отдает приказ о капитуляции...

Зоопарк заполняется красноармейцами и машинами. Пришла и наша, на которой въезжали в Берлин. Забрались в нее. Тихомиров сказал, что здесь теперь чуть не вся бригада. Машины медленно тянутся одна за другой по аллеям, наверное к выходу из парка. Увидели и громадный бункер. Из него цепочкой между двумя рядами автоматчиков выходили люди. Мужчины и женщины, больше пожилых, многие несли рюкзаки, узлы с вещами. Среди них странно выглядели довольно молодые парни, тоже в гражданском, но как-то не полностью или несуразно одетые и без вещей. Их сразу «вынимали» из очереди выходящих и ставили строиться под охраной в стороне — брали в плен. А женщин и пожилых мужчин пропускали мимо, и те уходили из парка. И еще: стоял там неподалеку между вывороченными деревьями подбитый танк. Кто-то сказал, что он предпоследний в бригаде.

Многие клетки вдоль аллей были разбиты, там лежали мертвые звери. И сетки вольеров были порваны — осколками снарядов, наверное. Красивые птицы разлетелись и сидели на ветках, а павлины никуда не уходили и величаво прогуливались в своих загонах. Туда можно было войти и потрогать их.

Один шофер взял в руки попугая, тот стал сердиться, верещал и норовил клюнуть в руку. Тогда шофер посадил его на руль своей машины. Попка сразу успокоился и цепко сидел на баранке. Когда машина тронулась и шофер, естественно, стал поворачивать руль, попугай очень аккуратно переступал лапами вправо или влево, чтобы не упасть.

И еще я там видел своими глазами, как медведь пил водку — наверное, разведенный спирт. Его клетку не повредило, и один солдат при громком одобрении собравшихся просунул туда через прутья бутылку. Мишка взял ее передними лапами и всю выпил, запрокидывая голову, и даже лег на спину, чтоб допить до последней капли. И уже остался лежать, только ворочался да мычал, как настоящий пьяный. Так что написанное в книжках про любовь медведя к спиртному — это правда.

Через много лет после войны в кино не раз изображалось, как Красная Армия занимала берлинский зоопарк. И еще какой-то поэт сочинил про это поэму. В отличие от правдивых рассказов и кадров кино про вывешенные на улицах полотенца и простыни, там все вранье.

Остановились после зоопарка на какой-то большой площади. Как и везде в последние дни, вокруг много разрушений, но были и уцелевшие дома. Ощущалось какое-то расслабление; мы ведь уже несколько часов, можно сказать, были без дела. И теперь ждали, что прикажут дальше, и слонялись вокруг своего «шевроле».

В это время из дома на углу отходящей от площади улицы несколько раз выстрелили. Туда сразу побежали автоматчики. И довольно скоро вытащили на улицу наполовину одетого немолодого мужчину и его солдатский мундир. Он его сбросил и там, в этом доме, переодевался в гражданское. Появился начальник «Смерша» капитан Полугаев. Меня позвали к нему, и мы стали прямо на улице допрашивать этого немца. Он был сильно напуган и повторял, что жил недалеко отсюда, что его мобилизовали в фольксштурм, а теперь все разбежались, и он тоже пробирался домой. А в этот дом спрятался, чтобы не попасться эсэсовцам, которые грозились расстреливать паникеров и дезертиров, сдающихся русским. И что у него не было оружия, а был только мундир, а ни сапог, ни солдатских штанов ему не выдали — это он особенно настойчиво повторял, показывая на свои перепачканные брюки. А кто стрелял, он не знает...

Удивительное дело, капитан, попугав немца сначала расстрелом, а потом Сибирью, вскоре махнул рукой и велел кому-то из офицеров идти с автоматчиками искать лучше.

Шли вторые сутки, как мы ни минуты не спали, и я чувствовал в голове как бы гудение или слабый звон. Но спать не хотелось. Наступал вечер, водители стали включать фары. Почти у всех они были с затемнением, и лица людей, на кого падал этот свет, казались неестественно синими. А у водителя, который еще днем посадил попугая на руль, оказались последователи. Особенно здорово выглядели птицы в открытых кабинах «виллисов» и транспортеров. Потом какой-то офицер стал бегать от машины к машине и грозно приказывал «убрать немедленно!». Кричал, что это гвардейская воинская часть, а не цирк. Сидоров сказал, что он из политотдела: «Им там, вишь, не ... делать».

И тут нашлось дело мне.

Мне приказали ехать с офицером, который отправляется «привести тылы». То есть показать дорогу находящимся там, где фронт проходил несколько дней назад. Им велено прибыть сюда.

Капитан недоверчиво покосился на мое вооружение, спросил про карабин: «Она хоть стреляет?» — и сказал, что возьмет еще автоматчика. «А твое дело — улицу искать. Если заблудимся!» И мы вчетвером — шофер, капитан, сержант-автоматчик и я — уселись в легковой «опель» и поехали. У шофера тоже был автомат. Легко нашли зоопарк, обогнули его. Потом узнали места, где вроде были накануне. С полчаса медленно ехали «назад от указок» нашей части, а капитан еще сверялся по карте и несколько раз посылал меня искать название улицы.

Вокруг никого. Разбитые дома, завалы. Темно. И тишина. Полная тишина, будто никакой войны и не было. Какая-то фантастическая картина, словно мы на Луне или что-то в этом роде. Наконец выбрались на широкую и совершенно пустую улицу, которой я не помнил. Нашли ее название. Капитан сказал, что это была «ось наступления», а раз так, то все правильно и — «давай, газуй!». И шофер погнал машину, что называется, полным ходом, словно и не по чужому разбитому городу...

Я проснулся от дикого скрежета тормозов, успел увидеть перед собой круто задранную вверх обрывающуюся дорогу. Машину разворачивало, било боком об остатки каких-то перил. Потом она дернулась и осталась стоять.

Это мы на полном ходу влетели на взорванный мост; шофер за рулем тоже заснул...

Пришли в себя, сменили погнутое колесо. Светила луна, было хорошо видно: еще метр-полтора, и свалилась бы машина вместе с нами в канал.

Неподалеку нашли переправу, там охрана долго проверяла у нас документы. Дальше поехали уже помедленней. «Тылы»

отыскивали без приключений, там, конечно, все, кроме часовых, мирно спали. Капитан передал приказ, всех подняли как по тревоге — собираться. А нам дали часок поспать в каком-то их помещении. Это был хороший немецкий дом, мне опять достался диван. А перины на этот раз не было.

Скоро нас разбудили, и колонна машин затемно двинулась к новому месту. Я первый раз в жизни ехал в «виллисе». К своим вернулись, когда стало уже светло. Они находились теперь в другом месте, наверное далеко от зоопарка. Сержант Тихомиров, который всегда знает новости раньше всех, объяснил: нас «выводят» во второй эшелон фронта!

А война вот-вот кончится, все понимают, хотя и не говорят об этом, потому что на войне не положено гадать о том, что будет.

Нескончаемая колонна машин с Красной Армией катит по хорошей асфальтированной дороге. По сторонам зеленеют садики, все цело, только не видно людей. Попадаются немецкие указатели со знакомыми мне названиями юго-западных окраин города. Вот на въезде в поселок аккуратная таблица; это Кляйн-Махнов. Колонна втягивается в узкие улочки, они сплошь из особняков с садами. Незнакомый офицер командует, кому куда двигаться; машины расходятся в разные стороны. Местных жителей не видно.

«Шевроле» останавливается. Мы слезаем, разминаем ноги. За невысокой оградой-сеткой, перед двухэтажным домом зеленеют кусты. Пригревает солнце, в палисаднике верещит птичка. Здесь будет наше расположение. Разгружаем машину, у ворот становится часовой.

Совсем близко слышны крики. Напротив соседнего дома какой-то майор распекает сержанта с двумя медалями на груди: гимнастерка у того застегнута не на все пуговицы. Сержант никак не становится по стойке «смирно». Даже отсюда видно, как ему противно, но он молчит. Козыряет майору, а воротничок не застегнул. Тот орет...

Сидоров опять поминает добрым словом политотдел, а Тихомиров раздумчиво добавляет: «Еще и строевым погонят. На политподготовку! Вот ты, Черненко, небось не кумекаешь политику? Тут научат!»

Никакой это уже не фронт, этот второй эшелон...

Глава восьмая. Оккупация

Какой же это фронт? Что с того, что везде стоят часовые. Что с того, что нас стараются держать «в боевой готовности»? Все знают, что это — только для порядка; войны ведь здесь нет. И дело теперь совсем в другом — что дальше? Когда объявят капитуляцию? И почти для всех, для солдат во всяком случае, главное — когда отпустят домой? А мне, может быть, и возвращаться некуда. Если и придет ответ на мое письмо, то нескоро, и еще неизвестно какой... Вот у солдата Саши, который всего на полгода старше меня, немцы сожгли деревню, но он получает письма из дому: его родители устроились жить где-то поблизости.

Солдаты постарше уверяют, что нас переведут на тыловую норму, но пока что я отъедаюсь: каждый день густой суп или каша, перемешанная с мясом, хороший черный хлеб. А курево — махорка, ее заворачивают в обрывок газеты. У многих есть еще и личный запас, трофейные сигареты. Иногда откуда-то берутся и трофейные лакомства. Бывает, угощают. В общем, подольше бы так. А вот предсказания Тихомирова понемногу сбываются. Нас «гоняют», пока, правда, не очень. Каждый день, «как положено», подшиваю к гимнастерке чистую белую тряпочку, подворотничок; из бывшего немецкого «белого флага», конечно. Чуть не по два раза на дню чистят автоматы; я драю промасленной тряпкой карабин. Занятия устраивает по большей части политотдел, а остальные — так, лишь бы видимость была. Тоже понятно — командиры, офицеры-фронтовики, сыты войной по горло. Играть в «шагом марш!» да «кр-р-у-гом!» душа у них не лежит.

Через несколько дней этой тыловой жизни произошла военная премудрость, которой на фронте быть никак не могло: пристрелка личного оружия. Мы всем взводом отправились на опушку леса, вывесили сигналы, что здесь опасно, стреляют. И помкомвзвод, который, оказывается, чуть не снайпер, сам давал по самодельной мишени очередь из каждого автомата. Если попаданий было меньше, чем «положено», подправлял (подбивал) мушку, проверял ствол и стрелял опять. Так до тех пор, пока пробоины в мишени получались близко одна к одной, с малым рассеянием.

Дошло дело и до моего карабина. Помкомвзвод осмотрел его, сказал, что с такой мушкой только огород караулить, но все же прицелился лежа и выстрелил, раза три, наверное. Пошли

смотреть, пробоин не нашли. Под общие смешки пострелял он еще. Две дырки нашлись, только не в мишени, а в деревьях метрах в двух или трех от нее. И тогда помкомвзвод сказал, что завтра сдаст «эту пукалку» оружейникам: на списание.

А мне наконец-то дали автомат, не новый, конечно. Только зачем он теперь...

Утром нас послали охранять дорогу. Сказали — союзники, американцы и англичане, поедут по ней в Берлин. И мимо нас катили покрашенные в маскировочные серо-желто-зеленые разводы легковые машины, шли и шли «виллисы» и «доджи» с офицерами и солдатами союзных армий. Форма на них была получше нашей, а знаки различия видны плохо, так что догадаться, кто полковник или генерал, а кто капрал, было трудно. Мы углядели в кавалькаде явно генеральского вида высокого пожилого человека, который приветственно махал рукой стоящим вдоль дороги, и решили, что это Эйзенхауэр. (Потом, когда в армейской газете было напечатано про подписание капитуляции, узнали, что его там не было. Я еще долго потом думал, что если не Эйзенхауэр, то, наверное, Монтгомери, британский командующий. Еще не скоро узнал, что его там тоже не было.)

Спал я в комнатухе под крышей, там у нас было три спальных места, одно из них для дневального, которого чаще называли «поддежурным»; туда приходили подремать, кому как придется.

В ту ночь я проснулся, можно сказать, уже в воздухе: шофер грузовика Шевченко, здоровенный украинец ростом под потолок, тащил меня с лежанки за ногу. Другой рукой он тащил солдата Сашу и явно собирался крутануть нас обоих вокруг себя. «Тревога! — орал Шевченко. — В ружжо! Німци прорвались!» Снаружи была слышна беспорядочная пальба. Натянув штаны и схватив автомат, с которым теперь чуть не спал в обнимку, я вылетел на улицу. Точнее — сначала в палисадник.

Где-то совсем близко гремел торжественными словами репродуктор. Смысл был такой, что немецкое командование уже приказало своим войскам сложить оружие. И что кое-где отдельные разбитые части противника еще пытаются оказывать сопротивление, «но мы не сомневаемся, что доблестная Красная Армия сумеет быстро привести их в чувство...».

Это был конец войне, Победа. Говорил по радио Сталин или читал его приказ диктор Левитан, точно не знаю.

Вылез на улицу заспанный Саша и стал ворчать: зачем, мол,

разбудили, если и так ясно, что война кончилась. Ему даже ничего не было за то, что не сразу выскочил «по тревоге».

А в поселке Кляйн-Махнов уже грохотала самая настоящая канонада. Палили в воздух из боевого оружия всех видов. Потом, еще ночью, пили что-то и кричали здравицы. В честь победы, за Сталина, за командарма Катукова, за нас, за мирное будущее. Поминали погибших. И до утра, сколько ни старались остановить ее какие-то командиры, продолжалась стрельба в воздух. «Внушала нам стволов ревущих сталь, что нам уже не числиться в потерях...» — напишет потом об этих залпах Твардовский.

Я тоже радуюсь, больше всего — за тех, с кем я теперь рядом, кто на фронте эту победу добыл. А сам я что? Ну, выполнял приказ, наступал вместе со всеми. Стрелял, в меня стреляли, так ведь совсем недолго, меня даже не ранило. И подвига не совершил...

Вольница продолжалась недолго. После Дня Победы стали поговаривать, что будет передислокация, а еще через несколько дней вся бригада погрузилась на свои «студебекеры» и другие машины и вместе с артиллерией и прочей техникой покатила по немецким дорогам со всем своим хозяйством в летние лагеря. Тихомиров разъяснил: «А как же! В мирное время Красная Армия где находится? По времени года — то на зимних квартирах, а то — в летних лагерях. А сейчас будет лето...»

Место нашего нового расположения, дислокации — лес, самый обыкновенный, не слишком густой лес вдоль автострады, идущей из Берлина на юг, почти не побитой во время боев. Кто только туда не прибыл! Каких только не придумано нужных фронту частей в одной только бригаде! Вот РТО — рота техобеспечения. Продсклады. Склад вещевого довольствия. Артдивизион, своя артиллерия. ПТР — бронебойщики с тяжеленными противотанковыми «ружьями», их носят вдвоем. Связисты. Авторота — парк грузовых автомашин. Рота управления. И так далее.

И чего только в том лесу не появилось за какие-то два или три дня! Все же армия — великая организация. Никогда не думал, что землянку на десятерых можно построить за каких-то два-три часа и что в ней будет почти что удобно. Еще мы строили землянку, но уже не совсем землянку — что-то вроде домика, для кого-то из старших командиров. Рядом с кухнями на колесах сколотили столы и скамьи. Соорудили навесы для машин и пушек. Появились мастерские, «клуб» (пока под открытым небом). Баня... Когда пришла наша очередь идти туда, я разглядел, что неприятности с гигиеной бывают, оказывается, не только в

немецком лагере. Так что солдатское нижнее белье, именуемое нательным, мы там сдавали, наверное, не только в стирку, но и в дезинсекцию. И получали взамен новое.

В те первые недели после войны великое множество народу двигалось по дорогам Германии на захваченных немецких автомашинах (пока хватит горючего) или на своих двоих, чаще всего с тележками вроде той, что была у нас в первое после освобождения утро. Шли в разные стороны. Возвращались к себе домой немцы, эвакуированные из разбитых бомбежками городов. Ехали на запад освобожденные в Германии французы, бельгийцы да голландцы. Шли на восток освобожденные из плена и лагерей красноармейцы и «остарбайтеры», кого еще не успели перехватить «Смерш» или другие охранители порядков. А нас посылали в патрули на шоссе. Вместо (а бывало, что после) ежедневных военных дел, шагистики, политики и прочих занятий.

Кто только не шел или ехал по тем дорогам! Машины Красной Армии, американские и английские военные в обе стороны, немцы на велосипедах или пешком с тележками тоже в обе стороны — наверное, возвращались из эвакуации или шли из Чехословакии, откуда их уже выгоняли. Это днем. А еще было патрулирование ночью, потому что, как нам объяснял командир, появились во множестве мародеры, наши, советские, и они грабят немецкое население и насилуют женщин. Одна немецкая женщина, у которой было то ли трое, то ли четверо детей и муж не вернулся с войны, пришла в лес жаловаться советским командирам, что несколько ночей подряд к ней в дом заявляются русские военные, несколько человек с раскосыми глазами. И забрали у нее одежду и другие вещи, а ее насиловали.

Так нам объяснили и послали ночью человек десять в какой-то крохотный городок с заданием обнаружить и задержать мародеров и насильников и вообще праздношатающихся военных. Про эту молодую женщину все там знали, дом нам показали сразу. Мы там прокараулили вчетвером целую ночь. Заходили греться, и хозяйка была этому явно рада, тем более что ее чем-то угощали. Мародеры же и насильники в ту ночь себя никак не обнаружили...

В потоке людей, двигавшихся по автострате, шли семеро (а может, их было шесть или восемь, за точность числа не ручаюсь) освобожденных где-то западнее советских военнопленных. Шли они с красным флагом и какими-то трофейными пожитками на ручной тележке. И были остановлены патрулем от нашей бригады, выставленным вместе со многими другими для порядка

на дороге и для препровождения идущих с запада соотечественников по назначению — на расспросы-допросы все в тот же особый отдел. Там была уже приготовлена и землянка для будущих задержанных. Бывших пленных пригласили к своим культурно-вежливо, они охотно за патрулем пошли. Разместились в новенькой землянке, а оттуда их уже не выпустили — приставили часового. И стали вызывать по одному, как недавно в Рюдерсдорфе нас, — допрашивать.

Подробностей, как это все происходило, не знаю, а знаю только, что беседы эти и, разумеется, сидение в землянке под охраной военнопленным сильно не понравились. И кто-то из них стал это громко объяснять особисту. Тот его ударил. Пленный в ответ на него замахнулся, его схватила охрана...

А утром следующего дня землянка оказалась пустой: жители подрыли изнутри заднюю сторону, выбрались наружу (часовой не заметил или не захотел замечать), и поминай как звали.

Солдаты пересказывали записку, которую оставили эти пленные красноармейцы. Спасибо, мол, Родина, за теплую встречу и до свиданья, прощай.

Ясное дело, на этот раз пошли они в другую сторону...

А часового арестовали.

Услыхал от солдат, что у гвардии капитана, начальника «Смерша», есть заместитель и его звание — майор. В мое представление об армейском устройстве это не укладывается, я еще не понимаю, что звание и должность — вещи разные, могут не совпадать.

В отличие от начальника-капитана, майор Городничев мал ростом, с брюшком. Пояс с пряжкой на нем висит — не затянут. Майор постоянно улыбается. Солдаты рассказывают, что раньше он работал в НКВД и его перевели сюда с понижением в должности за пьянство и за то, что избивал арестованных. (Фамилию майора я назвал не совсем правильно; наверное, так придется делать и с некоторыми другими именами и уже не предупреждать каждый раз.) Потом этот майор Городничев куда-то пропал. Говорили, что капитан Полугаев кричал на него: «Вы, товарищ майор, опять хватили лишнего и находитесь в неподобающем виде! А на вас солдаты смотрят!» Еще говорили, что майор поехал без разрешения в Берлин, там то ли сильно буянил пьяный, то ли гонял на чужой машине, пока его не задержала комендатура. И тогда его вроде бы «представили на увольнение из рядов Красной Армии». Правда это или нет, и вернулся ли он в свое НКВД, не знаю.

Еще я узнал в том лесу, что в Красной Армии разрешен

теперь мордобой. Не в том смысле, что повздорили между собой два солдата, ну и подрались. Ничего подобного! Оказывается, вовсе не только задержанного может ударить особист. Оказывается, офицер может довольно-таки запросто поднять руку на солдата, и ему, советскому командиру, ничего за это не будет! Видел своими глазами.

Солдаты постарше хмуро объяснили: ну, бывает... А что поделаешь, раз в уставе записано! — Как так в уставе? — А так; «при неповиновении командиру... меры принуждения... вплоть до применения физической силы...» Вот и получается — если что не так, то можно и по морде. И ничего не докажешь... А ординарцы у самых разных командиров и начальников? Это же, если по-честному, самые настоящие денщики. Прямо из книжки про белогвардейцев или про царскую армию: принеси то, подай это.

Ничего себе Красная Армия рабочих и крестьян!

Зовут меня: «Бегом марш! Особист требует». Это к нам пожаловал старший лейтенант Гришков. «Пойдем, — говорит, — наш начальник велел тебя привести. Понравилось ему, как ты с ним фольксштурмовца допрашивал, которому солдатских штанов не дали».

Пришли мы к ним в землянку, я отрапортовал, как положено. А «черный человек» хмуро поулыбался и сказал, что надо будет, пожалуй, меня «посадить». У него хриплый голос, очень громкий. «Ну ладно, — говорит. — Это и потом не поздно! А сейчас со мной поедешь. Доложи командиру, пять минут на сборы, и чтоб был при полном боевом!»

И мы поехали. Ну, не через пять минут, но скоро. На легковой машине с шофером-сержантом и женщиной.

Что в «Смерше» есть офицер-женщина, я сначала не знал. Она младший лейтенант, но называли ее, во всяком случае за глаза, Марией Семеновной или, проще, Марь-Семенной. Она там отвечала за документы, которые они возили с собой. А ее начальник взял меня с собой в это, как оказалось, секретное путешествие, чтобы задавать его хитрые вопросы разным немцам. Из их разговоров по дороге с Марией Семеновной я скоро понял, за чем поехали: у них пропала какая-то папка с документами. Что в ней было, не знаю, но понятно, что снаружи было написано «Совершенно секретно», так у них полагалось на всех документах. Украсть папку, конечно, никто не мог, и они решили, что, наверное, Марь-Семенна не положила ее на место в железный ящик и папка могла остаться где-то, где они «стояли» во время наступления.

И еще из разговоров в машине я узнал, что капитан

Полугаев — мой тезка, его зовут Михаилом Филипповичем.

В первый день мы останавливались в нескольких местах в Берлине; в дома, не занятые Красной Армией, там уже вернулись местные жители. Гвардии капитан, а иногда, чтоб получалось помягче, младший лейтенант Мария Семеновна, расспрашивали их, что вот-де, мы тут находились во время боев, мы надеемся, что большого вреда вашей квартире не причинили... И еще мы тут где-то оставили такую картонную папочку, так не попадалась ли она вам...

Ничего, конечно, в Берлине не нашлось, и мы, переночевав где-то на окраине, поехали дальше на восток. Так я оказался во второй раз в том доме, похожем на пионерский лагерь, откуда началась моя военная жизнь. Там уже жили гражданские немцы, кажется беженцы из Польши. Папку с документами не нашли и там. Михаил Филиппович, а еще больше Марь-Семенна уже сильно беспокоились. Было понятно, что эта история грозит им сильными неприятностями.

Поехали дальше и на третий день доехали до города Мюнхеберга, в котором находился их «Смерш», когда переправился через Одер. Нашли дом, который они занимали. Теперь в этом доме была, можно сказать, дружественная организация — такой же секретный особый отдел, но только польской армии. А начальником отдела оказался советский полковник.

Мы с шофером сидели в машине, а наши особисты бегали с озабоченными лицами туда и обратно, потом еще куда-то, и все это продолжалось очень долго, часа, наверное, четыре, если не больше. Возвращаясь несколько раз к машине, капитан и Мария Семеновна раздраженно переругивались, а я удивлялся: она ведь младший лейтенант, как же ей можно ругаться с капитаном?

Наконец они вернулись совсем, очень довольные. Младший лейтенант несла, прижимая к груди, обвязанный со всех сторон шпагатом здоровенный сверток с красными сургучными печатями.

И мы поехали обратно. По дороге капитан еще долго бранился. Можно было понять, что секретную папку польские особисты давно нашли и уже собирались отправить ее «по инстанции». Ясно, что тогда потерявшим не поздоровилось бы. Отдать «дело» согласились с большим трудом и только в запечатанном виде и с каким-то официальным писанием, наверное советским начальникам над гвардии капитаном.

Такая вот была первая в моей жизни командировка. Лет через двадцать или тридцать сказали бы — по местам боевой славы...

Было, наверное, «личное время». Помню только, что сидел на травке — ничего не делал. А Тихомиров, который ходил в другое подразделение или еще куда-то по каким-то делам, подошел ко мне, и с ним еще кто-то, и он говорит, улыбаясь во весь рот: «Ну, Черненко, пляши!» И достает из полевой сумки и протягивает мне...

Это был свернутый из двойной тетрадной страницы «треугольник» — письмо без марок с номером полевой почты и моей фамилией, написанной знакомым почерком школьного друга. Так посылали тогда письма в армию, конвертов почти ни у кого не было. Я схватил треугольник, руки у меня дрожали. Развернул его. Письмо было сплошной сумбур, отрывочные фразы, написанные вкривь и вкось четвертьями моими одноклассниками. Только одно было совершенно ясно: они узнали, что «нашелся Миша», от моей мамы!

Наверное, меня шатает. Кто-то хлопает по плечу. «Живы? Ну, теперь собирай им посылку!»

А еще через день пришло и письмо от мамы и бабушки.

Прошел уже месяц, если не больше, как мы обжились в лесу. А солдатский телеграф передает новое известие: опять передислокация; наверное, так в армии полагается, что поделаться. И вскоре, оставив землянки и погрузив на машины военное имущество и снаряжение, переехали мы на сотню километров южнее, в сторону Дрездена.

Леса вокруг маленького города. Хутора (или, может быть, надо их называть фермами), принадлежащие бауэрам, сельским хозяевам. А в самом городке — несколько кожевенных фабрик, и они очень даже привлекают внимание разного военного начальства.

Там, в городке К., произошло со мной очень приятное событие, которое едва не обернулось бедой. Меня наконец поставили на пост; я — часовой со снаряженным по всем правилам боевым оружием и, согласно уставу, «лицо неприкосновенное». Много я потом на военной службе отстоял этих постов, и все было хорошо, а главное — как положено. А вот в первый раз сильно оплошал.

Охранял я три машины, две грузовых и легковую. По одну сторону от меня — последние перед лесом дома городка, по другую — наше расположение. А впереди поле или луг, одним словом, совершенно пустое место, где постороннему просто неоткуда взяться. Я вышагиваю вдоль машин с автоматом на груди и даже, как инструктировал помкомвзвод, старательно заглядываю под грузовики. Пройдя в очередной раз свои двадцать

или сколько их там было метров, разворачиваюсь через левое плечо...

Чужая легковая машина почти рядом. А прямо передо мной стоит, заложив руку за поясной ремень, полковник и ждет, что я буду делать. Это, конечно, сам командир бригады. Чуть поодаль молодой офицер, кажется, он посмеивается. Я залопотал что-то вроде того, что красноармеец такой-то охраняет пост и вверенное имущество... «Разводящего! — только и сказал полковник. Прибежал помкомвзвод, за ним кто-то из офицеров. — Арестовать разгильдяя!»

И у меня забрали автомат, сняли с меня поясной ремень (срезали погоны или оставили — забыл) и сунули в каталажку, именуемую гауптвахтой. Солома на земляном полу, больше ничего и никого. Через час или два (часы с меня тоже сняли) принесли котелок воды и большой кусок хлеба. Как пайка.

И недавний мальчик, а теперь солдат, красноармеец, решил, что военная служба бесславно кончилась, что завтра — под трибунал. А что ж еще делать с теми, кто ловит ворон на посту? Эх, если бы я раньше обернулся! А теперь — все... И, если честно признаться, заплакал.

...В тот же день познакомился я на собственном опыте еще с одним неписанным законом армейской жизни: приказ старшего начальника, отданный «через голову» начальника непосредственного, этот последний норовит саботировать. Чего, мол, лезет, я и сам знаю, что надо. Так что к ужину меня, посмеявшись над моими страхами, уже выпустили. Сидоров угостил хорошей трофейной сигаретой. Я спросил — а если он вспомнит? Что тогда? «Других дел у полковника мало, чтоб еще про тебя помнил, — отрезал помкомвзвод. — Уж если какой придурок из штабных и спросит, скажем — сидит десять суток. На всю катушку!»

Однако же история эта была мне хорошим уроком. Чтоб знал и бдел. А на посту — особенно.

Вообще же служба моя начинала приобретать какой-то двойственный характер. Как только кто из чужих командиров узнавал про мой немецкий язык, так ему тут же приспичивало — нужен переводчик. «Нам ненадолго, по такому-то делу...» Дела эти были чаще всего, конечно, хозяйственного свойства.

А еще «Смерш». Они находили самых разных немцев, про которых узнавали от других немцев, что те не были в фашистской партии и вроде бы не одобряли Гитлера. Незаметно приглашали их на беседу. Расспрашивали про СС и нет ли в городке беглых эсэсовцев, кто остался из убежденных фашистов и

«гитлерюгенда». Во время одной из этих тайных бесед я и услышал (все от того же старшего лейтенанта Гришкова) немецкое слово, которого не знал: «вервольф».

Гришков мне потом растолковал, что это подпольная организация «Оборотни», что они оставлены фашистами, чтобы нападать на военнослужащих Красной Армии, совершать диверсии и убийства. А мы во что бы то ни стало должны разыскать их и изловить. Ловить фашистских диверсантов я был рад, это весьма соответствовало моему умунастроению. Но совершенно не отвечало моим представлениям — что может и чего не может быть в побежденной Германии. И, усомнившись в немецком подполье, я рассказал Гришкову, а потом и его начальнику, почему я так думаю: здесь народ дисциплинированный. Раз теперь другая власть, везде комендатуры и назначают бургомистрами сидевших до прихода Красной Армии в концлагере, — немцы будут их слушаться. И ведь вся Германия занята войсками, победившими вермахт, нашими и союзников! Какие же могут быть «оборотни»? Особисты слушали мои рассуждения внимательно, однако капитан Полугаев рыкнул, что это не нашего ума дело. Мы должны найти «вервольф»! Хотя бы в этом городке.

Опрашивали мы об эсэсовцах и диверсантах из «гитлерюгенда» многих, от молодых до совсем старых жителей городка и окрестных крестьянских хозяйств. Ничего похожего, за что можно было бы «зацепиться», не услышали ни разу.

А про секретные указания «Смершу», доставляемые Фельдьегерем в пакетах с сургучными печатями, я в то время ничего еще толком не знал.

Вот такие были мои, теперь очень частые, встречи и беседы с жителями побежденной Германии; имен их я не помню. А первая запомнившаяся немецкая фамилия из того времени — это Хонеккер, будущий глава ГДР и первый секретарь тамошней Социалистической единой партии Германии. Ни больше и ни меньше...

Вот как это получилось.

Зачем-то ездили в город Бранденбург, наверное на армейский продуктовый склад. Недалеко от города прямо у шоссе стояла за высокой оградой тюрьма. Старший из наших офицеров пошел туда представиться и спросить разрешения, и нас пропустили посмотреть. Все тюремное хозяйство внутри опекал и стерег теперь единственный человек, немец, который кем-то служил здесь и раньше. Внутри была совершенная роскошь, если можно сказать про такое заведение. Примерно как показывают теперь в

заграничных фильмах. Но только — без единого узника. Тот немецкий надзиратель, показывая все это хозяйство, пояснял, кто у них здесь сидел при Гитлере. Открыл камеру, больше похожую на очень чистую комнату, но с санитарными устройствами и решеткой на окне под потолком: вот здесь содержался секретарь германского комсомола Хонеккер...

И еще в той тюрьме был в глубоком подвале склад вещей, принадлежавших заключенным. Надзиратель рассказал, что сюда же привезли чемоданы важных фашистских фюреров, в том числе Геббельса, — чтобы подальше от бомбежек в Берлине, на случай эвакуации и тому подобное. Помню, что старшее начальство под каким-то предлогом поживилось содержимым этих чемоданов.

Был в части совсем молодой, лет 17, солдат Коля П. Тоже из освобожденных, только раньше меня, еще в Польше. Низенького роста, курчавый весельчак. Не расставался с автоматом. Неплохо знал обиходный немецкий, падежей и прочих тонкостей не признавал. С немцами обращался, когда имел к тому возможность, с веселой холодной жестокостью; солдаты рассказывали, как однажды Коля ни с того ни с сего полоснул автоматной очередью по гражданским немцам. И еще Коля очень интересовался женщинами и поступал с ними просто: позовет взрослую немку, отведет ее в какой-нибудь закуток. А там наставляет на нее автомат, задирает юбку и...

Про эти художества прознало и начальство. Сажало раз или два Колю под арест, но, пока была война, еще терпело.

А пострелять Коля любил не обязательно в кого-нибудь, можно и просто так. Лишь бы погромче. И в один прекрасный летний день недалеко от расположившегося в чистеньких немецких домиках нашего военного начальства на окраине городка К. раздался боевой грохот: Это Коля П. зафуговал припасенный им немецкий панцерфауст, предшественник всех последующих, хоть советских, хоть американских ручных, подствольных и прочих реактивных гранатометов.

Пролетев положенное ему расстояние, фауст взорвался, на счастье — в чистом поле. Но поблизости случился сам начальник штаба бригады и, естественно, пожелал узнать, кто и с кем воюет...

Кончилось дело для Коли печально. Свое начальство набило ему морду и отправило под арест на гауптвахту. А потом, уже не надеясь, наверное, перевоспитать его, сдрючило с Коли военную форму, объявило, что по возрасту он в солдаты еще не годен, и отправило прочь из бригады — в пересыльный лагерь для освобожденных.

Если Коля П. уцелел во всей послевоенной кутерьме, то теперь он давно пенсионер со льготами — бывший малолетний узник фашизма.

На этот раз, когда Тихомиров поведал, что скоро опять передислокация — будем занимать «какую-то Саксонию» вместо американцев, которые оттуда уходят, — я набрался нахальства и спросил: ну откуда он это может знать? «Квартирьеры уехали, понимай! — просвещает меня сержант Тихомиров. — И солдаты с ними, ясное дело. Они-то знают, у них задание! Вернутся, доложат, тут мы и двинемся. До демаркационной линии!»

Новые слова — демаркационная линия. Так, может, мы и американскую армию увидим?

Все верно, через неделю начались недолгие сборы; день-другой, и опять поехала Красная Армия... Велено было, между прочим, «привести себя в полный порядок». Оружие чтоб до блеска, подворотнички чтоб свежие, пуговицы и пряжка чтобы блестели. А карту, по которой проверял маршрут командир, мне тоже удалось повидать, она поразила меня своей невероятной подробностью. Как это возможно — заснять всю территорию чужой страны? Да так, что на ней есть любая тропинка, чуть не каждый куст! (Вот уже полсотни с лишним лет не могу отделаться от детского подозрения, что генштабы будущих противников в спокойное мирное время просто обмениваются по секрету своими секретными картами. Иначе ведь никаких шпионов не хватит.)

Переехали по совершенно целому мосту Эльбу, на которой двадцать пятого апреля встретились наши и американские солдаты. И скоро на каком-то перекрестке увидели американцев; их и наши офицеры сменяли регулировщиков. Американского ждал разукрашенный «додж», наша девушка-сержант с флажками уже вовсю дирижировала движением. Шло оно, правда, пока в одну сторону. А негр никак не мог оторваться от такой потрясающей сменщицы.

Уже под вечер, проехав за этот день километров сто пятьдесят, прибыли в городок с названием как из сказки — Гримма. Квартирьеры там уже ждали, на улицах были знакомые «стрелы» — хозяйство такого-то. Расположиться было нам велено в огромной старинной постройке непонятного назначения, больше всего похожей на крепость.

Согласно британскому премьеру Уинстону Черчиллю (*Вторая мировая война. Том 3-й*), было первое или второе июля сорок пятого года.

Наверное, еще не все подъехали, во всяком случае, места в том замке было сколько хочешь. Комнаты здесь — не совсем

комнаты. Толстенные стены, сводчатые проемы, а где и потолки. Это кельи и прочие помещения для монахов: мы разместились в бывшем монастыре. И улочка называлась, если по-нашему, Монастырской: Klosterstrasse. А крохотный переулок рядом — переулок Бенедиктинцев.

Устроились, разгрузили имущество, поставили часовых. Под утро я стоял на посту у монастырских ворот. На этот раз внимал так, что и кошка не проскочила бы.

А на следующий день у нас — чисто военная новость: назначен командир взвода. Это офицерская должность, но он никакой не офицер, даже не младший лейтенант. Он старшина с лычками в виде буквы «Т» на погонах. Лет двадцати пяти, плотный, почти толстенький. С золотым зубом.

Тихомиров его знает и уже объяснил всем, что новый командир был и по должности старшиной — правой рукой командира (в основном по хозяйству) такой-то роты. Не проходит и суток, как старослужащие солдаты уже обращаются к нему на «ты». Правда, с уважительным: «Старшой...»

А еще через день это новое начальство с явным интересом расспрашивает меня: «Верно, что по-немецки можешь? Ишь ты! Откуда?» Я отвечаю, обращаясь к нему, как положено, по званию: «товарищ гвардии старшина». «Известно, старшина! — перебивает взводный. — Мы тут свои! Александр я, Саша, если не по службе. Понял?» Безусловно понял, хотя и смущен. «Вот что, — продолжает новое начальство. — Поможешь мне тут с местными разобраться. На квартиру, скажем, устроиться, нельзя же все — взвод да взвод! Почему не передохнуть от службы, верно?»

К вечеру выясняется, что три четверти этого «устройства» предприимчивый командир уже проделал сам. Помкомвзвод получает указание «до утра не беспокоить», очень четкое описание, где найти «в случае чего», — это совсем рядом, каких-нибудь сто метров от ворот монастыря, и «Черненко со мной, на пост сегодня не ставить...».

...Крохотная квартирка на уровне тротуара в очень старой, монастырских времен, наверное, развалюхе. Очень пожилые хозяева, муж и жена. И две гости — вроде бы двоюродные сестры, племянницы хозяев. Совершенно разные внешне, да и возрастом. Худенькой Ильзе лет восемнадцать, округлой Мелани — вроде бы сильно за двадцать. Обе приветливы и слегка насмешливы. Здоровенный Сашин портфель битком набит съестными припасами, из него появляется и фляга со спиртом. Саша отдает старикам две буханки хлеба, мясные консервы. Просит посуду и отливает им из фляги стакана полтора, это сейчас почти богатство. Пожилые хозяева вскоре куда-то

удаляются. Ужин и все последующее проходит весело и непринужденно.

И потом повторяется еще не раз. Перевод оказывается почти не нужен.

Одна из монастырских келий — это ванная. Там здоровенная печь с вмурованным в нее котлом для воды. Мы ее стали, естественно, топить, где-то нашли дрова. Там, дождавшись очереди, я в первый раз после довоенного 41-го года залез в ванну. Отлежался в горячей воде, начинаю мыться, а выданный мне «на баню» большой кусок желтоватого мыла никак не мылится. Я его и так тру, и этак — ни в какую. Что ж за такое дрянное мыло дали со склада, чего делать-то?

Минут через пять заглядывает в ванную комнату следующий, из старых солдат, улыбается: ну как? За ним еще двое... Общее веселье: салагам вроде меня в армии полагается подсовывать вместо мыла тротил, тол — боевую взрывчатку. Если новичок к тому же не знает, что просто так тол не взрывается, получается совсем весело...

Я до тех пор тоже не знал. Правда, быстро сообразил.

А вскоре за меня опять взялся особый отдел. Иди фотографируйся (отсюда первая фотография в солдатской форме, совершенно детская). Садись, рассказывай про лагерь и где работал в Германии. Пиши автобиографию... Зачем одно и то же в третий, если не в пятый раз, я в то время понимал так: если кто врет, то он может забыть, чего говорил в прошлый раз, и начать выдумывать по-новому. Они сравнят и увидят, где не так.

А в общем вокруг ощущалась какая-то неуверенность. Офицеры нами почти не интересуются. Всякую там строевую и тому подобное откровенно саботируют. Старослужащие солдаты поговаривают, что нашу часть расформируют: мол, «по штатам мирного времени» мехбригады не предусмотрены, а гвардейский корпус сократят до дивизии. Мне это все очень не нравится, потому что я уже привык здесь и люди вокруг мне уже как свои, а что с нами будет, если не станет самой нашей части?

...Гвардии капитан Полугаев вызвал меня к себе поздно вечером; в квадратном дворе монастырского замка только начинало темнеть — июль. В большой келье с письменным столом и старинным диваном я предстал пред хмурым толстеньким подполковником, которого уже несколько раз видел раньше и слышал, что он — старшее начальство бригадному, он «из корпуса».

Осмотрев меня, что называется, со всех сторон, иронически

хмыкнув (возможно, на мои попытки держаться по уставу: «по вашему приказанию...», «разрешите обратиться...» и т.п.), гвардии подполковник пораспрашивал обо мне, нимало не стесняясь моим присутствием, нашего гвардии капитана, после чего велел принести бумаги и сообщил мне: «Теперь садись, пиши автобиографию! (Две или три странички с очередным моим сочинением на упомянутую тему лежали перед ним.) А это, — он их презрительно отодвинул в сторону одним пальцем, — чепуха, тень на плетень. Пиши подробно, каждый день описывай!» Я спросил, как это — каждый день? Я не каждый день помню. И сколько же это получится? «Ничего, вспоминай лучше! Сколько надо, столько и получится! — резюмировал начальник. — Не бойся, бумаги хватит! Где, когда, с кем встречался, кто тебя допрашивал, о чем в гестапо говорили — чтоб все подробно!» — «В гестапо я не был». — «Это мы потом разберемся, где ты был, а где нет. Твое дело — пиши подробней подробного. Ясно?»

И, отрапортовав по уставу «слушаюсь!», я уселся в монастырской келье сочинять еще одну наиподробнеешую автобиографию.

Ночью свет отключили, от дежурного мне принесли свечку. Вспоминал я и писал до самого утра. Насочинял, кажется, страниц тридцать с лишним. Имен и, где знал, фамилий солагерников и фабричных немцев вспомнил и «изложил» множество. Утром ко времени завтрака пришел гвардии капитан, забрал мое писание. Ни малейшего понятия о том, что сейчас в очередной раз поворачивает в другую сторону моя судьба, я тогда не имел.

А что он мог проверить, этот подполковник? Чисто личное впечатление — врет или не врет, не будет ли нам с этим мальчиком неприятностей. А по делу — ровным счетом ничего.

Где оно сейчас, то полудетское покаянное сочинение? Может, и уцелело в каком-нибудь секретном или пересекретном архиве, кто знает.

Через несколько дней вытряхиваемся из монастыря, туда въезжает какой-то штаб с мебелью, сейфами и множеством офицеров. Говорят, уже идет переформирование. Старшие солдаты хотят обязательно остаться здесь, на месте, чтобы не пропустить демобилизацию. Взвод набирается как бы заново. Среди пришедших из других рот — парень из Харькова; он всего года на два или на три старше меня, но зовут его уважительно Федором Никитичем — у него орден Славы третьей степени.

Появился капитан Полугаев, заметно, что он в хорошем настроении. Позвал меня: «Поедем мы с тобой, Миша, управлять немецкой провинцией. Будем шпионов ловить! (Чьих шпионов?

Война ведь кончилась!) А если не хочешь, скажи — оставим тебя в полку.левой-правой!» Михаил Филиппович хрипло смеется. Ответа, наверное, не требуется...

Понимал ли в то время бывший мальчик, чем занимается «Смерш», кроме неудачных попыток найти «вервольф»? Начинал понимать, хотя и отрывочно. Все вокруг знали, как недели три назад арестовали ротного командира своей же бригады, вся грудь в орденах. И телефонистку той роты тоже арестовали. Их держали порознь в каком-то подвале, и офицер чуть не разнес там дверь и так орал на особистов, что слышно было «на другом конце города». Провинились они вроде бы тем, что ее незаконно представили к ордену. А среди солдат гуляла повторяемая шепотом версия куда проще: «Бабу не поделили...»

Еще. Был в части однорукий солдат, состоял в адъютантах при ком-то из командиров. Рукав гимнастерки был у него до локтя подвернут, на груди — медаль «За отвагу». Говорили, что руку он потерял не на фронте, иначе его непременно «комиссовали» бы.

Так вот, буквально за несколько дней до всей этой реорганизации Однорукого в части не стало. Передавали (опять же по углам, шепотом), как бушевал начальник «Смерша», как сорвал с него медаль. И пересказывали «страшную» причину: на Однорукого пришла проверка, согласно которой он оказался немцем.

Ну и что? Ведь он же советский немец! И как же можно отнять у человека его боевую награду? Оказывается, «Смершу» можно. Кто-то сказал: «Еще хорошо, что под трибунал не пошел». А «хорошо» — это с бывшего адъютанта сняли солдатскую одежду и отпустили в гражданском на все четыре стороны. «Раз немец — значит, пусть идет к своим...»

Все это, конечно, только самые первые проблески, попытки задавать вопросы хотя бы самому себе. В основном же мысли юного солдата были в то время не слишком сложными. Вот документ (письма мои из армии мама и бабушка сохранили):

«24.7.1945. Я сейчас около Лейпцига, интересно (без запятой) сколько километров теперь между нами? Вы пишете, что вам главное знать, что я жив и здоров. Но ведь, мои дорогие, войны-то теперь нет, как же могу я быть не здоров! С тех пор, как я в Красной Армии (без запятой) мое здоровье очень хорошее... Каждое воскресенье бываю на стадионе, а вечером в кино. Вообще живется мне очень, очень хорошо...»

Ничего не скажешь, политически выдержанный товарищ с оптимизмом смотрит в светлое будущее. А еще через несколько дней:

«6.VIII-1945 г. Мой адрес (№ полевой почты) меняется, нового еще не знаю. Не пишите, пока не получите следующего письма. Передайте об этом моим друзьям. Спешу — кончаю. Крепко целую — Миша. Посылаю фото».

В бывшей резиденции прусских королей под Берлином только что закончилась встреча руководителей держав-победительниц. Сталин, Трумэн и Эттли (сменивший потерпевшего поражение на выборах Черчилля) договаривались об управлении побежденной Германией и об устройстве послевоенного мира. А на японский город Хиросиму падает атомная бомба, о чем здесь, в Западной Европе, никто еще ничего не знает.

И три машины, две трофейные легковые и грузовая с крытым верхом, катятся по обсаженным фруктовыми деревьями дорогам из саксонской Гриммы на север.

Сержанту Тихомирову, разумеется, уже известно место нашего назначения — город Потсдам.

Глава девятая. «Смерш»

Катят наши машины по ухоженным гладким немецким дорогам.

В грузовой — мы, солдаты, вместе со старшиной-взводным. Впереди на легковых — толстенький подполковник Вдовин «из корпуса», наш гвардии капитан, еще два старших лейтенанта. А Марь-Семенна осталась в Саксонии. Говорят, она поссорилась с начальником и теперь демобилизуется.

Приехали в Потсдам, легко нашли городскую комендатуру. Оттуда прибежал немолодой лейтенант, отпраповал нашему подполковнику, сел к нему в машину. Взводный объясняет: это наш квартирьер, он будет комендантом отдела. Через пять минут — мы у выбранной лейтенантом резиденции, это красивый особняк на тихой улочке, вокруг такие же богатые дома. Подполковник вылезает из машины, смотрит по сторонам и тут же объясняет лейтенанту, что он лопух: где это видано, чтоб отдел контрразведки размещался у всех на виду? Лейтенант предлагает показать другие помещения. «Завтра! — отрезает Вдовин. — В девять ноль-ноль. До завтра — всем отдыхать. Можете идти!»

Комендант исчезает.

Подполковник с капитаном расположились наверху, в комнатах с роскошной мягкой мебелью и огромным балконом, уставленным кадками с южными растениями. Оба старших лейтенанта ушли в городскую комендатуру с какими-то делами. Взводный поставил часовых у входа и охранять автомашины. На первом этаже, слегка заглубленном ниже тротуара, множество помещений и огромная кухня. Ночевать будем здесь.

Перекусили, вышли на улицу. Осматриваемся. Вокруг богатые дома, ничего не скажешь. А жителей не видно. Выселили их, что ли? Вот на улице появился мальчишка лет восьми, в руках у него старая игрушка. Подошел к нам. У мальчишки нездорового бледного цвета лицо. Темные дуги под глазами. Наверное, у меня были такие весной сорок второго в Харькове. Это от голода. Пацан смотрит на нас, протягивает руку и просит: «Битте, брот...» — Пожалуйста, хлеба!

Взводный Саша — молодец. Тут же достал из продуктового тюка две (!) буханки хлеба и банку с тушенкой. Отдали их парню. Тот стащил с себя рубашку, завернул добычу, прокричал «данке!» и унесся.

Стемнело. Начальство не беспокоит, часовые на посту, солдатский народ, напившись чаю, неторопливо чешет на кухне языки — рассуждает, какая теперь будет жизнь и служба. С улицы заходит поддежурный: «Слышь, старшой, давешний пацан пришел, чего-то лопочет да показывает. Выйдешь?» Саша кивает мне — пошли!

И под каштанами потсдамской улочки, застроенной богатыми особняками, мы выслушиваем замечательное устное послание.

«Мама сказала, что вы очень хорошие люди, мы хотим вас благодарить. Я вам покажу место, где что-то спрятано. Мама сказала, что вам это очень понравится!» Старшина берет электрический фонарь, зовет еще одного солдата. «Пошли!» Пацан ведет нас в какой-то двор, там отыскивает узенькую заднюю дверь пристройки. Объясняет, что «hier!», здесь. Дверка закрыта, но легко поддается. За ней лесенка в подвал, фонарь высвечивает какие-то старые стулья, корзины для белья, сундук. И среди этого старья — два деревянных ящика с гнездами, из которых поднимаются запыленные горлышки бутылок. Десятка полтора бутылок, если не все два!

Взводный шепотом командует отход. Уносим трофеи. Мальчик торопливо рассказывает, что тут жил важный эсэсовец, мама сказала, что он украл эти бутылки во Франции. Одна бутылка тут же перекочевывает за пазуху мальчишке: «Передай маме, скажи спасибо, завтра приходи еще!» Мы вваливаемся на кухню. При виде наших трофеев народ приходит в неопиcуемый энтузиазм.

Но самое интересное начинается дальше.

Бутылок много, все разные, некоторые выглядят очень старыми. Взводный Саша долго чешет в затылке. «В чем дело, старшой? — теребят его. — Заначь себе, сколько требуется, а так — чего же? Надо пробовать!» Шофер легковой машины Смирнов, он на фронте с 42-го года, урезонивает молодых: «Поспешишь — людей насмешишь! Прежде надо начальство угостить, тогда и самим можно. Вот взводный и маракует — как да сколько. А ты — пробовать! Разогнался...»

Взводный, Смирнов и сержант Тихомиров еще довольно долго «раскладывают» добычу так и этак. Много отдашь — самим мало останется. А мало — не похвалят. Наконец Смирнова отряжают наверх с четырьмя бутылками (из почти двух десятков). Возвращается не сразу, хмыкает. «Что такое?» — «Замечание заработал!» — «За что?» — «Он спросил: а сколько достали? Докладываю — семь бутылок, товарищ начальник! Три бутылки солдатам оставили, взводный разрешил! А подполковник: неправильно поступили! Должны были все представить.

Начальство само вам укажет, сколько кому. Делаю вам замечание!». — «А ты что?» — теребят Смирнова. «Ясно что! — подмигивает шофер. — Слушаюсь, мол, товарищ подполковник! Так и сделаем в следующий раз».

...Три бутылки выставили на кухонный стол, остальные спрятали подальше, доставали по одной. На второй или третьей я стал задремывать. А напитки были действительно редкостные. Коньяк, старинные красные вина. Какая-то водка, пахнувшая, как я тогда решил, одеколоном... (Лет через тридцать догадался — джин.) Попировали крепко...

Если кто скажет, что похоже на святочный рассказ, то что ж поделаешь. Мало ли что бывает «похоже». А тому славному мальчишке сейчас, должно быть, шестьдесят с хвостиком.

Утром лейтенант пришел с офицером из городской комендатуры. И подполковник, взяв с собой капитана и для разговоров с немцами меня, поехал смотреть «другие помещения». Подходящее нашлось быстро: двухэтажный дом с садом на отдаленной улице, идущей вдоль задней ограды парка Сан-Суси. Вывеска у входа: «Издательство имярек». Позади участка — насыпь железной дороги. Неподалеку четырехэтажный жилой дом, который комендатура обещала тут же освободить под квартиры для офицеров. А под издательским домом — большой глубокий подвал.

Он тоже очень понравился подполковнику.

Лейтенант-комендант быстро освоился. Подправляемый коллегами из городской комендатуры, добывает и привозит все необходимое. Две большие комнаты превратились в казарму для нас — хорошие кровати с сеткой, матрацы, новое постельное белье. В пристройке к жилому дому оборудовали кухню и столовую, комендатура города выделила нам телегу с лошадью, на которой возят продукты и прочее.

Один из наших солдат был повар, настоящий или самоучка, не знаю, но кормили нас сытно. Суп, каша, в ней немного мяса. Если пшенная — совсем хорошо, если перловая («шрапнель» на солдатском языке) — хуже, но все равно порции хорошие, нарезанный большими кусками хлеб на столах. Иногда соленая рыба, бывают макароны по-флотски. Каждую неделю привозят на телеге запас продуктов со склада и, кажется, еще из какого-то уже заведенного нашей военной администрацией подсобного хозяйства.

И я продолжаю отъедаться. На фотографии того времени — уже округлившаяся физиономия, без особых признаков мысли, если по правде.

А в подвале издательства началось строительство камер, там споро орудуют два немецких каменщика, солдат ставят им помогать. Скоро появятся и первые подневольные помощники: те, кого привели сюда в первые осенние месяцы 45-го, а отсюда не отпустили, тоже строили камеры в нашем подвале. Для себя...

Подвал был весь заставлен большими деревянными ящиками с книгами. А в одном из них обнаружили красиво напечатанные грамоты военных наград. Незаполненные, без имен награждаемых, но уже подписанные. Очень крупным размашистым почерком: «А.Гитлер». (Наверное, это были все же факсимильные отпечатки, но мне до сих пор кажется, что я видел и жирные чернильные линии пера «рондо».)

Книги куда-то увезли, а грамоты наше начальство велело уничтожить. Мы их сожгли на заднем дворе.

«Мы» — это теперь отдел контрразведки «Смерш» Советской военной администрации провинции Бранденбург. Ее начальник — генерал Шаров, он был замполитом корпуса, в который входила наша бригада. Подполковник Вдовин — начальник контрразведки, Полугаев — его заместитель. Капитан Мирошниченко — старший следователь, капитан Петровский — старший оперуполномоченный при комендатуре города. Приезжают и другие офицеры, капитаны и лейтенанты, есть даже один майор. Они будут уполномоченными в округах, из которых состоит провинция. А мы, солдаты, называемся взводом охраны. Наша задача: охранять, не допускать проникновения, проявлять бдительность... В общем, все, что полагается.

...Солдату полагается нести караульную службу в течение суток. Через равные промежутки времени (по два или три часа) он проходит по очереди три состояния: стоит на посту, бодрствует, отдыхает. (Во втором из них солдат ничего не делает, но спать не имеет права и должен быть готов немедленно заменить стоящего на посту или выполнить иной приказ.) Не очень приятно, но ведь всего одни сутки, когда еще пошлют в следующий раз!

А теперь представьте себе, что так — все время.

Именно это и происходило с нами. Пошли приказы о демобилизации, старшие по возрасту уезжали — на сборный пункт, а оттуда в Союз, домой. Пополнение не приходит, или же уезжают трое, а новенького присылают одного. И мы трубим непрерывный караул. Это значит, что через каждые шесть часов надо три часа стоять на посту.

Вот что это такое на практике.

Сегодня мне на пост — в шесть утра. Отстоял до девяти, после чего до трех часов дня свободен. (Поскольку «непрерывка», то ничего другого от нас не требуют; нет ни занятий, ни шагистики, ни «политики». Лишь бы оружие было в порядке, это и так все соблюдают, автоматы чистят исправно.)

Пока все очень хорошо...

Дальше. В три часа дня опять заступил на пост, отстоял до шести вечера. До полуночи свободен. Ничего страшного.

Простоял на посту с нуля до трех часов ночи. Ложусь спать, однако же в девять утра мне опять на пост, а до этого надо успеть позавтракать... Стою с девяти до двенадцати, свободен до шести вечера. Сменяюсь в девять, галопом в столовую на остатки ужина и — спать, к трем ночи вставать: на пост! Сменился в шесть утра, голова гудит. Часок поспал. Позавтракал. В двенадцать дня на пост. Сменился в три, пообедал; в девять вечера — на пост до двенадцати ночи. С нуля до без четверти шесть сладко спал...

А теперь сосчитайте: прошло трое суток. Можете попробовать этот режим и убедиться, что через две-три недели такой жизни человек, даже молодой и здоровый, превращается в машинку. Стоит на посту, таращится, ест, спит. Больше ничего. Со мной было еще хуже, потому что я хоть и солдат взвода охраны, но при первой же необходимости — еще и переводчик.

А стоять на часах лишний раз не хочет никто, да это при таком раскладе и невозможно.

Одно из первых поручений подполковника было: ищите портного, надо шить гражданское. «Вам, Черненко, тоже. Такая будет работа...»

И мы поехали с шофером Смирновым искать портного, нашли на большой улице в центре вывеску «Мужская одежда на заказ, Koniglicher Hoflieferant». Поставщик королевского двора, вот так!

Хозяин оказался невероятно старым, едва держался на ногах. Еще человек пять стариков сидят на столах с шитьем, тетка под шестьдесят что-то ворочает у здоровенной гладильной доски. Старики сначала нас испугались, потом ничего, успокоились. Привезли главного старика к Вдовину. Портной снял с подполковника мерку, показал образцы шерсти, Павел Петрович выбрал материал и пригласил портного с собой позавтракать. Потом еще снабдил его продуктами.

Главный портной остался знакомством очень доволен и перестал стесняться, так что дальше мы уже были у него желанные гости. Вдовина он сразу стал звать полковником — «герр оберст». Васю Смирнова — «герр фельдфебель», а я стал «герр лейтенант». Смирнов был старшим сержантом (не раз

переписывался в рядовые, опасаясь, что младших командиров могут задержать в армии, когда начнется демобилизация), так что самая большая прибавка — на семь воинских званий — досталась мне...

Куда большее место, чем в «нормальной» жизни, занимала там выпивка. Фронтовики смершевские офицеры или, кто-то может посчитать, тыловики, но пробыли — кто год-полтора, а кто почти четыре года — не дома. На войне. Теперь война кончилась, людям бы домой; солдат старших возрастов уже демобилизуют. А они?

Фронтовые «сто грамм» давно кончились, но спиртное откуда-то все время бралось. А потом открылся Военторг, и «денежное довольствие» стали выдавать оккупационными марками (они были похожи на настоящие деньги, но не очень). Так что возможности появились.

У Михаила Филипповича, как я скоро узнал от него самого, была язва желудка, с которой он старался «не соваться», чтобы не загудеть в госпиталь и на демобилизацию. И вообще, к питью он особого пристрастия не имел. Выпьет большую рюмку водки, грамм сто двадцать, и все. Пьяным не видел его за все три года службы с ним ни разу. А подполковник Вдовин — другое дело. Мог после обеда на работу прийти с некоторым запахом. Мог поздно вечером, а то и ночью явиться проверять дежурного и посты в состоянии некоторого, мягко говоря, возбуждения. В общем, бывало с ним то, что зовется «дуреет от выпитого». И однажды дурение это сыграло с нашим начальником довольно неприятную шутку.

В выходной день Павел Петрович возвращался на машине из гостей; навещал в Берлине сослуживца по штабу корпуса. Кроме водителя-сержанта, которому скоро было уезжать по демобилизации, был с ним его неофициальный адъютант, старший сержант. Они уже въехали в Потсдам, дело шло к ночи, на улицах пусто. И тут подполковник заметил — неподалеку от служебного здания нашей Советской военной администрации, СВА, мужчину в офицерской форме, обнимающегося под деревом с женщиной. Приказал шоферу остановить машину и — к ним. Шофер и старший сержант пробовали начальника удержать — куда там! Женщина, понятно, моментально исчезла, укрепив пьяную уверенность начальника «Смерша», что офицер миловался с немкой. Подполковник на него и набросился...

Стал совать офицеру под нос свое удостоверение, требовал, чтоб шофер с адъютантом «забрали» того в машину. Офицер пробовал объяснить, что-де я вас, товарищ подполковник, не

знаю и вам не подчинен, вы к тому же в нетрезвом виде. А я не на службе...

Вдовин полез его хватать. Тот вырвался и пропал в темноте. А когда машина подъехала «к дому», то оказалось, что у подполковника пропало удостоверение личности. Что значит для особиста потерять служебное удостоверение, объяснять не надо.

Вызвали меня и поехали искать то место, «того мерзавца»...

Наметанным глазом шофер Ананьев сразу определил зловредное дерево. Стали искать под ним и вокруг. Сначала в полной темноте; потом шофер отвел машину чуть в сторону и подсвечивал фарами. Подполковник нервничал, дергал нас: ночь, в любую минуту может нагрянуть комендантский патруль, которому придется предъявлять документы...

На счастье Вдовина, удостоверение нашлось, хоть и с явными следами битвы Амура с Зевсом — изрядно затоптанное. Там под деревом, ночью, я в первый раз держал в руках этот грозный документ и прочел, что на нем написано. Запомнилось так: «НКО СССР (это Народный комиссариат обороны, министерство нынешнему). Главное управление контрразведки Красной Армии...», а ниже огромными буквами: «СМЕРШ».

Во взводе тоже случалось спиртное. Где его доставали — точно не помню. Может быть, покупали в открывшемся в городе магазине офицерского Военторга. Жидкость пониженной крепости, градусов тридцать, чаще всего была чем-то подкрашена, Напиток этот, нечто промежуточное между водкой и ликером, вкус имел ужасающий, сладковато-сивушный. (Зато можно было догадаться, что немецкая промышленность понемногу как бы возрождается, во всяком случае в этой части.) Однажды в казарме несколько человек в дневное время заспорили, верно ли, что есть такие лихие «питухи», что могут выпить не отрываясь, прямо из горлышка, целую бутылку. Мнения сходились к тому, что есть, конечно, да только у нас никто сам этого не умеет.

И тогда солдат Мальков, парень лет двадцати пяти, сказал: «Наверное, я смогу!» Произошел спор, кто-то притащил нераскупоренную бутылку. Составились партии спорящих, в конце концов согласились на такие условия: если не выпьет, то остаток — на всех, а хозяину бутылки проигравший «поставит» другую. А если выпьет, то и быть по сему: хозяин подопытной бутылки ее проиграл, а испытателю — даровое удовольствие...

Вспомнили, что бутылку надо для такого дела раскрутить, чтоб жидкость лилась струей, не булькая. Открыли бутылку, Мальков понюхал — не обман ли. Сел на свою койку, покрутил бутылкой в воздухе, запрокинул голову, разинул рот. (Кажется,

перед этим еще сказал: «Ну, с Богом!») Струя полилась довольно аккуратно ему в горло, Мальков крепко держал бутылку над собой, горло его слегка дергалось, а лицо прямо на глазах делалось бурым. Все! Мальков нетвердой рукой поставил пустую бутылку на пол. Произнес заплетающимся языком: «Братцы, на пост, меня подмените...» — и в ту же секунду заснул.

Следующее его стояние на посту проспоровшая партия разыграла в жребий. И начальство так ничего и не узнало об удавшемся опыте.

Скоро наш подполковник уехал — первым из всех — на полтора месяца в отпуск домой, куда-то на Украину. Главным остался гвардии капитан Полугаев. Его теперь чаще называют зам. начальника или еще проще — «замнач». Офицеры иногда даже обращаются: «Товарищ замнач...» Проходит неделя или две, и у нас начинают поговаривать, что Вдовин не вернется. То ли его увольняют в запас, то ли куда-то переводят с понижением. (Мы с шофером Ананьевым переглядываемся — может, на него донесли за ту историю с офицером и женщиной? Или прицепились к пострадавшему удостоверению?) Еще через несколько дней гвардии капитан зовет меня в свой кабинет и предупреждает: «У нас, Миша, будет комиссия. Из фронта! (Значит — из самого штаба фронта, теперь это правильно называется: Группа советских оккупационных войск в Германии. А может быть, уже Советская военная администрация в Германии. Когда это переподчинение произошло, точно не знаю.) Тебя тоже проверять будут!» При чем же тут я, солдат? «При том, — объясняет М.Ф., — что твоя подпись на протоколах допроса: «допросил через переводчика...». Смотри, лишнего не болтай!»

И в один, как говорится, прекрасный день они прибыли. Главный — моложавый подполковник без орденов; наш зам. начальника с ним явно знаком. Еще два майора, одна не очень молодая женщина-лейтенант и совсем юный младший лейтенант. Розовое почти детское лицо; мундир новенький, а сидит плохо, сразу видно, что военную форму надел человек совсем недавно.

Они все собрались в кабинете начальника, и там что-то происходило. Наших офицеров туда вызывали, а младший лейтенант Зина, секретарь-машинистка, таскала туда и обратно папки с делами. Часа через два вышел приезжий младший лейтенант, спросил, кто Черненко, и позвал меня в тот кабинет. Я представился, как полагается, старшему по званию — приезжему подполковнику, он улыбнулся и кивком показал на младшего лейтенанта: «Вам — с товарищем имярек...» Мы вдвоем отошли подальше от стола, за которым сидело начальство, к окну.

Младший лейтенант назвал свою фамилию и сказал, что закончил институт иностранных языков, сюда его прислали недавно. Он теперь инспектор по переводу и должен меня проверить. Спросил по-немецки, откуда я знаю язык, потом — расскажите биографию, коротко... Я рассказал, и дальше разговор продолжался уже о переводческой работе. Мне было немного неловко, потому что у лейтенанта было какое-то учебное, а не настоящее немецкое произношение. Он этого нисколько не стеснялся, похвалил меня и, спросив у подполковника разрешения доложить, сказал, что язык я знаю хорошо. «Пригоден для использования в качестве переводчика». Женщина-лейтенант, которая приехала с ними и теперь сидела в стороне на диване, поморщилась.

Я еще гадал — надо ли спросить «разрешите идти?» или ждать, пока прикажут, когда приезжий подполковник отодвинул папки с делами и сказал, что с замечаниями комиссии оперативный состав ознакомит новый начальник отдела майор Зубов. «Прошу, товарищ майор!»

Один из двух майоров, очень немолодой по моим тогдашним представлениям, поднялся, криво улыбнулся и слегка кивнул присутствующим. На лице у М.Ф. была заметна какая-то напряженность.

Чем занимался «Смерш»?

Еще в разбитом Берлине хотели ловить чуть не каждого члена НСДАП. Многие оперуполномоченные, наверное, не понимали, что в фашистской партии состояли чуть не все. Не знали толком ее устройства. А найти «целленляйтера», это что-то вроде секретаря парткома по месту жительства, было трудно — они все, ясное дело, сбежали на Запад. (А «ортсгруппенляйтера» — секретаря райкома, если по-нашему, я за все время службы «в органах» не видел своими глазами ни одного.)

К концу лета в Потсдаме появилось у нас понятие «американский агент», их кинулись искать чуть не на каждом шагу. И еще, естественно, искали (и нередко находили) эсэсовцев, военных преступников. И опять же искали «вервольф».

Откуда что узнавали? Оттуда же, откуда любая спецслужба любой страны, все разведки и контрразведки. Святая инквизиция, сигуранца, гестапо, КГБ, ЦРУ и прочие во все времена. Называется это некрасивыми словами, особенно на профессиональном жаргоне. Ничего не поделаешь.

Из документа 1947 года, показанного на выставке «Именем народа! — Юстиция в ГДР». Лейпциг, 1996 год:

«Крестьянин (такой-то) в соответствии с Приказом Советской Военной администрации № (такой-то) и по статье 58 (пункт такой-то) УК РСФСР... за саботаж, выразившийся в сокрытии посевной площади в размере 13 гектар земли с целью укрывательства сельскохозяйственной продукции от обязательной сдачи государству, приговорен к высшей мере наказания — расстрелу с конфискацией имущества...»

Еще цитата — из брошюры «Из Потсдама в Воркуту», Берлин, 1997 год:

«Герман Ш., 1930 года рождения. Упорно уклонялся от участия в занятиях по русскому языку и вместе с тремя одноклассниками был 18 декабря 1945 года арестован советской секретной службой НКВД...»

Ш.:

«...В пять часов утра в дверь позвонили, отец пошел открывать. Перед нами стояли советский офицер и переводчик. Они сказали, что им надо говорить с Германом Ш. и отвезли меня... (в тексте — наш адрес). Там начались допросы. Нас били. От нас добивались признаний, а признаваться было не в чем, потому что мы ничего не сделали... Уверяли, что мы хотели создать подпольную организацию, и все время повторялось слово «вервольф». Когда дело дошло до приговора, нас приговорили за нелегальную организацию и враждебное отношение к Советскому Союзу — этого было тогда достаточно — к расстрелу...»

Там же:

«...Четверо несовершеннолетних школьников были осуждены на смерть. Три месяца спустя Герман Ш., единственный из этой группы, был помилован. Приговор

был заменен 20 годами трудовых лагерей. По случаю первой годовщины образования ГДР 7 октября 1950 года 20-летний к тому времени заключенный Ш. был амнистирован Министерством внутренних дел ГДР и освобожден...»

Если бы только «уклонялись от русского языка» да «враждебное отношение»!

Все было гораздо хуже: мальчишки собирали брошенное оружие — в конце войны и еще довольно долго после оно валялось всюду. Находили и прятали у одного из них дома.

А что тут, собственно говоря, такого удивительного? В «гитлерюгенде», а то и дома или в школе им сколько лет вбивали, что покорят весь мир. А тут — на тебе, русские пришли. Это же враги, оккупанты! Не все станут сразу слушать чужую, да еще военную, власть. (Большинство, конечно, смиренно слушалось, так ведь и у нас не везде была «Молодая гвардия»...)

...Мы в тот дом явились уже с ордером на обыск, подписанным военным прокурором, потому что знали результат заранее: один из этих шестнадцатилетних мальчиков в конце концов все выложил на допросе.

Отец его был врач-венеролог, богатый человек. Он бросился к нам — спрашивать, что с сыном? Ему сказали, что сын находится у нас, он арестован. Покажите его комнату; вам известно, что там спрятано? — Полагаю, что ничего. — Сейчас проверим...

Пригласили понятых из соседнего дома. Попросили стремянку. По ней я поднялся к потолку, поднял крышку люка, влез на чердак. Там под старой шинелью и было попрятано оружие — все, как парень рассказал. И я вытаскивал по одной и подавал вниз винтовки — немецкие и одну советскую, с красноармейским штыком. Несколько гранат, приржавелый «панцерфауст». Разное.

На лицах понятых был просто ужас; хозяин, отец того мальчика, еле держался на ногах. Можно было понять...

А вот что жителей чужой страны, ее граждан, в том числе несовершеннолетних, судят по советскому Уголовному кодексу — это понять было трудно.

Были пойманные дезертиры. Были солдаты, сбегавшие со сборного пункта демобилизуемых и образовавшие банду, грабившую немецкие дома. У них было оружие, и жили они то в одном, то в другом немецком городке или в усадьбе — выгоняли хозяев, приглашали (или тащили силком) молодых женщин и

веселились... Потом двигали дальше, пока их не взяли военной силой. Провели следствие, допросили немецких свидетелей. Военный трибунал присудил этой компании большие сроки.

Был офицер, о котором дознались, что у него — чужая фамилия. В начале войны он сидел в советском лагере. Сумел оттуда бежать, сумел сменить документы и был призван в Красную Армию. Воевал, повышался в звании, заслужил орден и медали. Стал командиром части.

Все равно его не простили, трибунал приговорил его к сроку, который он не отбыл, и еще за побег из-под стражи...

Был немецкий крестьянин, бауэр, у которого работал, как и во многих других хозяйствах, русский парень, «остарбайтер». И у этого парня завязался роман с хозяйской дочкой, а спустя какое-то время бауэр застал их, что называется, на месте преступления. Совершенно осатанел и учинил самосуд: дочку избил до полусмерти, так что она потом лежала в больнице, а того парня — до смерти. И потом повесил на дереве во дворе своей усадьбы.

К слову — жители той деревни от него отвернулись. Они же его и выдали, когда пришла Красная Армия. Нетрудно догадаться, какой был приговор военного трибунала этому бауэру.

А в один прекрасный день поздней осенью 1945 года дотошный оперуполномоченный отыскал странного гражданина средних лет, очень выраженной еврейской внешности, явно нашего соотечественника, но проживающего почему-то в городе Потсдаме на квартире немецкой фрау, не состоящей с названным гражданином ни в родственных, ни, по ее утверждению, в каких-либо иных близких отношениях.

Соломона Ц. притащили в «Смерш», засадили в кутузку и стали выяснять обстоятельства его присутствия в Германии. Пострадавший уверял, что, насмотревшись в родном Житомире на бесчинства оккупантов, он ушел в партизанский отряд, а потом надумал насолить оккупантам еще крепче: убить Гитлера. И с этой целью вернулся в город и завербовался в Германию, представившись украинцем («я ж чорнявий!»). Здесь, естественно, попал в лагерь, работал на заводе и старался быть «ударником». Тем обратил на себя внимание немецких начальников. И стал обращаться к ним, все выше «по инстанции», с покорнейшей просьбой: разрешить ему увидеть своими глазами драгоценного фюрера Адольфа Гитлера. В продвижении с этой просьбой Соломон Ц. дошел якобы до самого большого эсэсовского начальника, в котором признал самого Гиммлера. И тот его поблагодарил за добрые слова о фюрере, чем-то наградил и велел

идти работать дальше; фюреру же он, эсэсовский начальник, скажет все сам...

Поразительным образом, наше начальство отнеслось к этой байке (которую вскоре весело обсуждали чуть не все) если и не с доверием, то, во всяком случае, довольно мирно. Вскоре Соломона из кутузки выпустили и определили в кухонные мужики. Месяц или два был он на птичьих правах — не арестованный, но и не вполне свободен. Ночевал при кухне. Потом его и вовсе отпустили, и он отправился на квартиру к своей фрау. Время от времени появлялся в отделе, заходил к начальству, общался по старой памяти и с солдатами. Приносил и продавал (для нас получалось — вроде бы недорого) разные вещицы. Часы, например, авторучку или бритву.

И в конце концов запропал где-то в Западном Берлине, в то время еще не отгороженном стенкой. Может, и не сам по себе, не знаю.

А случались и вовсе несусветные истории.

Ясным осенним днем, в воскресенье, когда из офицеров в отделе полагалось быть только дежурному, позвонил по телефону уполномоченный из дальнего района: готовьтесь, сейчас в войсках могут объявить тревогу — в нашем районе приземлился самолет «люфтваффе»... (Чуть не через полгода после конца войны!) Это недалеко отсюда, выезжаю на место...

Зам. начальника был у себя в кабинете — зашел, как всегда заходил на службу по выходным дням. Он сразу позвонил на квартиру майору, тут же вызвали машину, и мы с Полугаевым, как были, покатали в тот отдаленный район. Нашелся для этой неожиданной поездки только хилый трофейный «опель-кадет» (предшественник самого первого — в то время еще будущего — «Москвича»). Ехали долго, заехали в никогда еще не виданную нами в Германии глушь, там была даже грунтовая — не асфальтированная! — дорога; переправлялись через какую-то протоку на крохотном паромчике, на котором машина едва поместилась, а тянули его на канате к другому берегу руками...

Никакого большого начальства на месте происшествия не оказалось. Самолет — правильнее было бы называть его самолетиком, двухместная легкая машина с открытой кабиной — стоял посреди убранного поля. Выглядел он, что называется, по всей форме: защитная окраска, знаки германских воздушных сил — кресты на крыльях. А экипаж сбежал, отчего оперуполномоченный «Смерша», да и комендатурские офицеры, суетившиеся на месте происшествия, чувствовали себя явно не в своей тарелке. А выяснить на месте удалось только то, что

деревенские жители видели двух убегающих с поля мальчишек. Примерно старшего школьного возраста.

Больше ничего.

С тем мы и отбыли обратно в Потсдам. А комендатура, уполномоченный «Смерша» и еще, может быть, какие-нибудь назначенные для выяснения загадочного дела люди дознались через сколько-то времени, что было оно в общем-то довольно просто. Самолетик был оставлен летчиками в конце войны за ненужностью. Кто-то закатил его в свой амбар, где он и простоял до этого воскресенья. А тут нашлись умельцы, которые его завели, выкатили и попробовали поднять в воздух. (Может быть, учились до этого в летной школе. Так или иначе, а самолетик взлетел. Говорят, на легких машинах это довольно несложно.) Горючее кончилось у них почти сразу. Вот что посадили машину и не разбились — это здорово...

Про дальнейшее ничего не знаю. Очень может быть, что за эту историю каким-нибудь военным начальникам все равно сильно влетело.

Понятно и без объяснений, что в «Смерш» человека приглашали, если можно так сказать про это учреждение, не по его воле. Однако же были и такие, кто пришел сам.

В тот день я был при дежурном. От главного входа просигналил часовой. «Черненко — на выход! Немец пришел». Небольшого роста мужчина в хорошем костюме и рубашке с галстуком сделал едва заметный поклон и сказал по-немецки: «Моя фамилия — Зевиге. Мне нужно говорить с полковником». К тому времени я уже какие-то смершевские тонкости усвоил и поэтому не рявкнул, что «мы таких не знаем!» и что никаких полковников тут нет. Заметил, что на лице пришельца отразилось легкое, может быть, чуть ироничное недовольство моим незнакомством с его фамилией, и ответил ему: «Подождите, пожалуйста». И пошел докладывать Полугаеву.

Он заглянул в какую-то папку из числа многих, лежавших у него на столе (обязательно перевернутыми, «задом кверху»), пожал плечами и отправился к нашему новому начальнику.

Через минуту гостя велели позвать, но не в кабинет майора, а в другую комнату, которую сразу освободили. Там майор Зубов — он был в гражданском — поздоровался с гостем, пригласил садиться и спросил, с чем господин Зевиге к нам пожаловал. И тот, сразу же назвав свою недавнюю должность — консул германского Красного Креста, а на самом деле — уполномоченный «абвера», военной контрразведки, в очень важной во время войны европейской стране, — стал

рассказывать...

Через несколько минут начальник попросил его остановиться и велел позвать Анну Кирилловну, лейтенанта-машинистку, которая умела стенографировать. Я переводил, Анна Кирилловна быстро писала под диктовку свои значки. Иногда гость отвечал майору примерно так: над этим вопросом я хотел бы еще подумать, наверное, он будет интересен и для руководителей службы, к которой принадлежит господин... полковник? (Звания своего майор не назвал, фамилию назвал вымышленную, а должность — начальник отдела. Сказал, что, дескать, род его деятельности посетителю безусловно известен, раз он к нам пришел.)

Разговор — назвать его допросом трудно — продолжался довольно долго, несколько часов. Потом гостя накормили (тут же, в кабинете) офицерским обедом, после обеда предложили отдохнуть — здесь же, на диване. Он не отказался, ему принесли одеяло. А ближе к вечеру, когда наше начальство тоже передохнуло и, разумеется, доложило о странном госте «наверх», беседа продолжилась. Я в ней уже не участвовал: переводила лейтенант Куликова (через несколько дней после той комиссии она стала работать у нас, ее назначили военным переводчиком — штатным, в отличие от меня).

На ночь господину Зевиге приготовили в офицерском доме квартиру. Первая комната там была проходная, в ней начальник велел ночевать мне. Гостю сказали, что это на случай, если ему что понадобится. Он все очень хорошо понимал и сдержанно улыбнулся. Меня же основательно проинструктировали (разумеется, не только о том, что могло бы понадобиться квартиранту). А за дверью квартиры на лестничной площадке всю ночь дежурил сержант с автоматом. Гостю знать об этом вроде бы не полагалось. Ужин нам принесли на подносе, весьма обильный. Перед сном мы с гостем еще довольно долго беседовали — просто так. То, что теперь называется «трепались». Оба хорошо понимали, что касаться чего бы то ни было, относящегося к делу, ему со мной не полагается.

Утром после завтрака майор Зубов еще раз с ним разговаривал, а меня предупредили, чтоб был готов в дорогу, и выдали, опять же с инструктажем, заряженный пистолет. Через час или два подали машину начальника. Майор (в гражданском, как и накануне) сел с шофером, мы с гостем — сзади. И покатали из Потсдама... Того места, куда мы приехали часа через полтора, я не знал. Похожий на Кляйн-Махнов поселок, сплошь из особняков. Вокруг ограда, на въезде шлагбаум, везде часовые.

Зубову место было хорошо знакомо, он и показывал дорогу шоферу.

Нас ждали. Как только мы вошли в дом, два офицера, откозыряв Зубову, справились у нашего подопечного о самочувствии и увели его с собой. Он едва успел сказать нам «до свиданья» и — что он благодарит за любезный прием. Майор остался обедать с хозяином этого дома, подполковником, шофера и меня повел кормить сержант — его ординарец или, может быть, адъютант. На обратном пути я спросил начальника: что теперь с нашим «гостем»? Майор Зубов был в хорошем настроении и, криво улыбаясь, как это у него почти всегда получалось, ответил, что тот уже в воздухе — отправлен самолетом в Москву.

Зачем этого человека повезли в Москву, я тогда мог только гадать. (Навряд ли угадал бы верно.) Но естественно, возгордился: во какого фашистского контрразведчика «поймали»...

И еще один человек сам пришел в «Смерш» — пришел и по доброму согласию остался. Это был беспризорник времен Гражданской войны, забравшийся в черноморском порту на пароход просить милостыню. И с тем уплывший во Францию. Там сначала тоже побиравался, потом устроился мыть посуду в ресторане. Стал помогать поварам и понемногу выучился их искусству. Жил один, не женился. А когда в сорок пятом кончилась следующая война, решил, что пора ехать домой, на Украину. В советском посольстве ему сказали, что ждать придется долго, и тогда дядя Гриша решил проделать немалую часть пути самостоятельно. Где-то его подвозили солдаты, где-то устраивался на поезд и так прибыл в советскую зону. В какой-то комендатуре, объяснял дядя Гриша (который был почти неграмотен, едва читал по слогам, писать не умел), ему сказали про нашу «конттору». Вот он и явился...

У него были французские документы, и это решило дело — дяде Грише, в общем, поверили. Во всяком случае, в подвал не сунули и пообещали послать его документы «на подданство», чтобы он мог ехать в СССР. А деваться ему пока что было некуда. И он попросил — оставьте меня здесь, я вам буду готовить, вы только попробуйте...

Его послали на солдатскую кухню, дали койку в каптерке. Дядя Гриша приготовил обед раз, приготовил два. Пожаловался Михаилу Филипповичу, который с ним беседовал (или, можно считать, его допрашивал), что нет здесь разных нужных продуктов. Оливкового масла, например. Еще цыплят, грибов, сельдерея... Гвардии капитан попробовал его суп и второе — и на

следующий день дядя Гриша перешел жить к нему на квартиру, в комнатку при кухне. Был его личным поваром до дня своей неожиданной кончины. (От многочисленных порч печени и других внутренних органов, как стало известно на вскрытии.)

Дядя Гриша был многолетним законченным алкоголиком...

За время службы мы в какой-то мере сблизились с Михаилом Филипповичем, гвардии капитаном. Того же Соломона Ц. он допрашивал при мне, тут же меня и спрашивал — такое могло быть в лагере? Не раз мы с капитаном вместе обедали или ужинали у него на квартире. (Если по правде, то бывало и в женском обществе.) И однажды я ему рассказал про Мишу Сергеева и про Петра Кривцова с их тайными записками, про пистолет и про «человека оттуда». Как быть со всем этим?

«В герои собрался? — хмыкнул М.Ф. — Туда дорога колючая, не разгуляешься». Я ответил, что не в том дело, а вообще... Помните, еще подполковник Вдовин требовал, чтоб «про каждый день и про каждого человека»? Вот я вам и рассказываю... «А раньше чего молчал? — спросил капитан. — Дрейфил небось? А почему? То-то же! Быстро соображаешь...» И перешел к сути: «Раз нет доказательств, то лучше, Миша, помалкивай, чтоб не нажить неприятностей. Кому это нужно? В «органах» не любят знать про то, что трудно проверить...»

Просто и понятно, но противно. К тому же я очень хотел найти Мишу большого, моего покровителя в лагерной жизни. Адрес его родителей я давно написал маме в Харьков, она к ним ходила и узнала, что сначала он тоже «нашелся», был номер его полевой почты. А потом перестал отвечать на письма, и больше о нем ничего известно не было.

Я тоже послал письмо на эту полевую почту. Никакого ответа не получил. Выходило, что Михаил Иванович Сергеев куда-то пропал...

Приближался Новый год, 1946-й. Все уже знали, что 25 декабря у немцев Рождество. Ну, раз мы в Потсдаме живем, как же не выпить! Тем более что рядом еще один великий праздник, о котором я до этого понятия не имел: «чека» Дзержинского была, оказывается, основана 24 декабря. Так что в «органах» это праздник — День чекиста. Все ясно. А через несколько дней — и Новый год...

У меня был в тот вечер «хороший» пост — как раз с девяти до двенадцати; отстояв, можно почти вовремя поспеть к встрече Нового года. Не тут-то было! Минут за десять до двенадцати пришел дежурный, он же помкомвзвод. Чуть не извиняясь,

объяснил, что сменщик мой напился. Так что до трех ночи сменить меня некому, хоть разбейся. И что ему, сержанту Воронину, не лучше: лейтенант, который должен был подменить его, тоже «не вяжет»...

Ну, естественно, в три ночи я наконец-то отпраздновал Новый год: пошел к Смирнову, который был уже «хорош». В шесть утра меня подняли — на пост по графику...

А через несколько дней, когда народ только еще отходил от недельного пьянства, оказался день рождения капитана Петровского, уполномоченного при комендатуре города. Он занимал особняк какой-то богатой и важной немецкой дамы недалеко от комендатуры, и все поехали туда. На столе были очень большие хрустальные рюмки, холодец и бутылки с жидкостью ядовито-зеленого цвета. Она была примерно водочной крепости и омерзительно приторного вкуса.

Все это закончилось для меня плохо. Приехавший поздравить Петровского комендант города увидел отдыхающего на снегу возле дома солдата и сделал по этому поводу довольно выразительное замечание. Я его услышал, но не поднялся и ничего не доложил, потому что заснул. И на следующий день, когда у меня еще трещала голова, а надо было что-то переводить, наш начальник майор Зубов позвал меня к себе и приказал: неделю — без увольнения с территории отдела. Сказал, что вообще-то надо бы вкатить мне суток пять ареста, чтобы знал кому и когда попадаться на глаза, да вот, жаль, работать надо. Ну, и на посту стоять некому будет.

Вообще-то, если не считать праздников, стоять на посту мне теперь приходилось гораздо реже, потому что вместо уехавших по демобилизации нам прислали пополнение и народу во взводе стало больше. Самый настоящий интернационал получился. Понятно, что русские и украинцы из разных мест, еще узбек Хамраев, карел Подшивалов, еврей Личман, мордвин Корепанов, кого только не было! Дорогие мои сослуживцы, с которыми съели, наверное, тот самый пуд соли. Вот только с командирами нам не везло, где их таких находили... После того как взводный Саша уехал в свою Грузию по демобилизации, был у нас младший лейтенант, был старшина, был лейтенант, да только все либо пьяницы, либо бездельники, или и то и другое вместе. Через какое-то время это так надоело майору Зубову, что очередного лейтенанта прогнали — за неразбериху в службе и пьянство, и дальше уже обходились помкомвзводом. Дотошный старший сержант Володин, а после него сержант Женя Воронин с делом справлялись гораздо лучше.

А я все чаще работал со следователями или с начальством — переводил. Мой немецкий был в то время уже весьма основателен, беседы в «Смерше» его во многом усовершенствовали и прибавили мне знания немецких, как говорят теперь, реалий. Теперь я запросто обходился с такой, к примеру, часто повторяемой тирадой: «Да, я состоял в НСДАП, но только формально. Никакого участия в деятельности партии я не принимал. Блоквальтер такой-то ходил по домам и всех записывал (это как бы секретарь квартальной парторганизации, а на предприятиях и учреждениях, это я тоже узнал теперь от допрашиваемых немцев, парторганизаций не было). Если бы я отказался...» Дальше понятно.

Но вскоре появились первые всерьез арестованные (тот же бауэр, забивший дочку и русского работника). И старший следователь капитан Мирошниченко стал вести и записывать формальные допросы, объявлять арестованным постановления, предъявлять обвинение и прочее. А теперь представьте себе девятнадцатилетнего солдата с семиклассным образованием, поднаторевшего в обиходном немецком, который должен перевести на чужой язык такое, например: «Я, старший следователь имярек, рассмотрев имеющиеся материалы о преступной деятельности такого-то и руководствуясь статьей такой-то Уголовно-процессуального кодекса РСФСР, постановил: мерой пресечения способов уклонения от следствия и суда в отношении такого-то, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных статьями такими-то Уголовного кодекса РСФСР, избрать содержание под стражей — арест, о чем, в соответствии со статьей такой-то, объявил арестованному под расписку... Арест прокурором санкционирован».

Знающие любой иностранный язык могут, заглянув в словари, попробовать, что у них получится. У меня словаря не было.

Я уже понимал, что мое образование, семь классов, — это чепуха. Хотел учиться, даже попросил маму прислать учебники, математику и физику (из учебы, естественно, ничего не вышло). И в то же время — очень о себе воображал. Полагал свой жизненный опыт и нынешние занятия куда как важнее институтской учебы моих довоенных одноклассников. Подумаешь, студенты какие-то! Вот я — на военной службе, мы искореняем фашизм в побежденной Германии... К тому же, чего греха таить, быть господином, а господином своего бывшего господина особенно — это довольно приятное ощущение. Пистолет на боку, когда на дежурстве (или за поясом, если

секретная «операция»). Сыт, обут, одет, и все это без всяких хлопот с моей стороны.

И еще начинал понимать, что от нашего начальства (а значит, от нас) откуда-то «сверху» требуют результатов. В чем они заключаются — ясно. А что делать, если «вервольф», будь он неладен, после тех мальчишек никак не находится? И американские агенты тоже почему-то никак себя не обнаруживают?

...Марию, то ли немку, то ли чешку, арестовали черт знает где, ездили километров за триста на границу нашей зоны оккупации с американской. Вроде бы эта девица (лет 25, наверное) не раз переходила демаркационную линию туда и обратно, заводила знакомства с советскими солдатами, да еще в разных воинских частях. Вроде бы что-то выспрашивала у них про военные секреты. И к тому же заразила нескольких неприятной болезнью, именуемой в просторечии триппером.

Намаялись с ней следователи, настрадались охраняющие. Во-первых, была она то ли не вполне в своем уме, то ли умело изображала дурочку. Во-вторых, чуть что — из кабинета следователя или снизу, из подвала (где она сидела, естественно, в отдельной камере, потому что других арестованных женщин не было) раздавался ее крик: «Ой! Офицер! Сюда! Он (следователь, конвоир, дежурный) хочет меня е....!» Русский язык в этих пределах она вполне освоила. Сыты были наши начальники и следователи этой шпионкой (была она ею или нет — судить не берусь) по горло.

Особенно лейтенант Куликова, потому что по самым разным поводам Мария то и дело требовала к себе женщину.

С военными, особенно с офицерами, беда случалась сплошь и рядом из-за амурных дел. Формулировка гласила: «морально разложился, сожительствовавал с немецкими женщинами...». (Во множественном числе, наверное, для более грозного звучания.) От этого «сожительствовавал» недалеко было до следующего вопроса: не склоняла ли она согрешившего к дезертирству, чтоб остался с ней? А это получалась уже измена Родине, 58-я статья... Вряд ли начальство не понимало, что такие разбирательства и даже «дела» — чепуха, а не контрразведка. Грешны ведь на самом деле чуть не все, начальники, между прочим, тоже. Как говорил взводный Саша, великий знаток солдатского фольклора, всякое дыхание требует пихания...

И лезла в голову крамольная мысль: чем же эти запреты и кары лучше лагерфюреровых угроз — «кто покусится...» и прочего? Хорошо еще, если только за это, — под трибунал не

отдают. Дают партийный выговор, понижают в должности. Отправляют отсюда в Советский Союз. А тех, у кого обнаружат венерическую болезнь, сгоняют в какой-то специальный больничный лагерь. Немецких женщин тоже отправляют в такое заведение.

Выходили оттуда наголо стриженными, женщины в том числе. Наверное — на всякий случай, чтобы было заметно хоть какое-то время.

Пришли фронтовые награды, к которым офицеров и солдат представляли еще на фронте или сразу, как кончилась война. Вместе со всеми, кто приехал сюда из бригады и корпуса, я получил медаль «За Победу над Германией», а потом еще одну — «За взятие Берлина». А на майские праздники 46-го, к первой годовщине победы, майор Зубов велел построить взвод и читал нам приказ начальника Советской военной администрации о присвоении воинских званий. Сержанту Жене Воронину присвоили старшего сержанта, Феде Туликову, у которого орден Славы, — сержанта. После чего я услышал: «Звание младшего сержанта — рядовому Черненко...» В тот же день получил, как полагается в армии, подарок — новенькие сержантские погоны с двумя лычками.

Рад был ужасно: значит, я для советской власти такой же, как все. (Через несколько лет пойму, что сильно заблуждался.) Новые погоны пристегнул, конечно, к парадной гимнастерке (на повседневной, х/б, просто пришел лычки из желтой ленты). «Выходная» же моя форма была уже мало похожа на солдатскую. Шерстяная гимнастерка, галифе из заграничной материи все от того же «королевского» портного, которого нашли еще для подполковника Вдовина. Сшитые на заказ сапоги (наверное, была уже и не одна пара), фуражка с черным, как полагалось в танковой армии, околышем. Про шинель точно не помню; но кажется, тоже из офицерского сукна. Если же отправлялся в город или еще куда-то по тайным делам, то в хорошем пиджачном костюме (от того же старика портного).

Ничего не скажешь, прибарахлился товарищ младший сержант изрядно.

А когда именно стали меня брать переводчиком на тайные встречи с теми самыми, «откуда узнают» — с осведомителями, проще говоря, — точно не помню. Сначала туда ходила или ездила с начальниками или оперуполномоченными лейтенант Куликова. Все в гражданском, конечно. Иногда, если Ольга Ивановна не могла разобрать почерк, мне давали переводить рукописные документы (проще говоря, доносы).

По брызжанию майора и довольно откровенным репликам М.Ф. я догадывался, что работать с Куликовой им не нравится.

Накануне выборов в Верховный Совет 9 февраля 1946 года по радио передавали речь Сталина. Выборы считались чуть не праздником; мы поехали в гарнизонный клуб голосовать торжественно, «всем личным составом». Проголосовали (т.е. опустили в урну бюллетени, в каждом из которых была одна фамилия) за начальника Главного управления контрразведки «Смерш» генерал-полковника Виктора Семеновича Абакумова... Чтобы ехать обратно и подменить часовых и дежурного, был один «виллис», а ждать или топать пешком никому не хотелось. Набилося нас в машину двадцать с лишним человек; висели на подножках и сзади. Добрались благополучно, никто не сорвался, и комендантский патруль обвешанную солдатами машину не остановил.

А что через семь лет не станет Сталина и его наследники осудят Абакумова на смерть вслед за Берией, того знать никому дано не было.

Еще зимой вышло разрешение привозить сюда, к месту службы в Германии, семьи из Советского Союза. Офицеров стали пускать в отпуск. Человек ехал на полтора месяца домой и возвращался с женой и детьми, если они были. А некоторым отпуск почему-то не полагался; может быть, они мало были на фронте или вообще недавно начали службу. Или какие-то другие обстоятельства, но так или иначе, а появилось вот какое новшество: за семьей офицера стали посылать солдата. Было это официально разрешено, или начальство так устраивало по своему усмотрению и разумению — не знаю. А знаю, что наш начальник, майор Александр Мефодьевич Зубов, в открытую сказал, что посылать надо тех, чей дом поближе к месту, куда едут. Чтобы человек мог заехать и к себе домой хотя бы на день-другой. Потому что когда еще будут отпуска всем. (Смотри главу шестую — чуть не до самого конца войны в немецкой армии давали отпуска с фронта.)

Кто привез семью самого начальника — не помню. Может быть, кто-то с его прежнего места службы, из управления «Смерш» фронта. За семьей Михаила Филипповича поехал мой друг шофер Вася Смирнов, оба были из Сибири, всего сутки пути на поезде от Новосибирска до Новокузнецка, тогда Сталинска. А в начале лета сорок шестого майор Зубов разрешил послать за семьей офицера в Запорожскую область меня. «С заездом в город Харьков, — было написано в командировочном предписании, — на срок 4 (четыре)

дня». Официально все это называлось «для выполнения задания командования». Возможно, что к слову «задание» было еще прилагательное «специального». И с собой мне дали, кроме документов на жену того офицера, засургученный пакет в Харьков — липовый, с каким-то никому не нужным запросом.

На всякий случай, если вдруг комендатура «полезет не в свое дело» — почему «с заездом».

В Харькове, куда добрался с пересадками только через три дня, обнял счастливых маму и бабушку. Услышал подробности, как маму приютили незнакомые люди в бывшем совхозе и выдавали за родственницу-учительницу. Мама рассказала, как спаслась от голодной смерти бабушка, выменяв ведро семечек на какую-то оставшуюся одежду. Села на улице и стала их продавать по стакану. Послевоенная нищета ощущалась во всем. Хлебные карточки, продуктов в магазинах нет. Солдатским хлебом и тушенкой, которые я получил по продовольственному аттестату в комендатуре, бабушка угощала моих школьных друзей как лакомством... А в украинской деревне, где жила жена офицера, за которой я приехал, мужчин, кроме нескольких инвалидов, вообще не было — полегли на войне почти все...

Без особых приключений, хотя и с бесконечными задержками на железной дороге, какие сегодня трудно себе даже представить, доехали мы с той женщиной на пятый день до своей заграницы.

Стыдился признаться себе, что почувствовал облегчение, когда вернулся: тут, на военной службе, лучше...

А в начале осени пошли в «Смерше» тревожные разговоры: нас, отдел контрразведки, ликвидируют! Сначала я в это совсем не верил, но вскоре услышал от М.Ф., что все не так просто: на самом деле нас хотят объединить с опергруппой. Кроме «Смерша» в Потсдаме работала еще «опергруппа НКВД». Я тоже слышал о ней какие-то, секретные конечно, упоминания. Ну, группа и группа, у НКВД, наверное, здесь свои дела. И потом, сколько это людей? Десять человек? Ну, пусть двадцать... Как бы не так! Конечно, наши начальники знали и раньше, что это такое на самом деле, поэтому и началось беспокойство. «Группа» занимала большую старинную усадьбу с парком за высоким забором. Одних жилых домов у них — чуть не целый городок. Батальон охраны с зелеными погонами, как у пограничников, это тебе не наш взвод...

Довольно скоро все понемногу прояснилось. Оказывается, НКВД теперь вообще не будет, и «группа» станет учреждением нового министерства — МГБ СССР. Министерство государственной безопасности, во как! А наш «Смерш» будет отделом этого учреждения. Называться оно будет оперсектором;

Оперативный сектор Советской военной администрации... Ясное дело, офицеры, и прежде всего начальник и М.Ф., что называется, чешут в затылке. Здесь — известная работа с привычным начальством. Свое хозяйство, обжитые квартиры. Свои автомобили, шоферы. Своя охрана. И между прочим, свой сапожник из солдат и вольнонаемный «портной по мелочам». У Михаила Филипповича еще недавно был повар... А там что будет?

А что будет с нами, солдатами? Да ничего особенного, пожимают плечами начальники: взвод перейдет в комендантскую роту при комендатуре города. Будете нести службу... Большинство не ждет от этого ничего для себя хорошего; собирались служить здесь уже до самой демобилизации, а на новом месте — еще неизвестно что. Я тоже жду худшего.

«Черненко, — позвал меня со своей обычной кривой улыбкой Зубов, недавно ставший подполковником. — Зайдите ко мне!»

Вошел к нему в кабинет, закрыл за собой дверь.

«Вот что, — глядя в стол, говорит начальник. — Хватит вам тут дурака валять...» На «вы» — это он всегда, солдат ты или капитан. Даже если дает взбучку.

Ничего не понимаю. Когда это я бездельничал?

«Мы вас, Черненко, забираем с собой туда, — продолжает начальник. На лице у него выражение явной брезгливости. — Будете оформляться в штат. Поняли?»

«Так точно!»

Ответил, кажется, по уставу, хотя в голове полный сумбур. Меня — в госбезопасность?!

Глава десятая. Оперсектор, или Ge-Pe-U

Получается — да; завтра уже велят идти «туда», в бывшую опергруппу НКВД, в отдел кадров. Когда я туда пришел, велели заполнить анкету, невероятно длинную. Сверху на ней было напечатано: «Секретно по заполнению». Потом дали какую-то бумажку и сказали, чтобы шел с ней к коменданту: «Определит вам квартиру».

Невероятно, квартиру!

Нашел коменданта, отдал ему листок. Он черкнул на нем подпись-закорючку, показал в окно: «Вот тот дом. Третий этаж слева. Хочешь — зайди, посмотри. Послезавтра освобождается, и можешь вселяться. Если надо что из мебели, ну, кровати там не будет, — получишь у завхоза». Пропуска не дали, сказали, что проходить на территорию буду пока по списку. «Это до оформления».

На другой стороне той же улицы — три жилых дома, мой — попроще, а два других — пятиэтажные, что в Германии редкость. Куда девались их жители, непонятно. Говорят, здесь жили семьи местного фашистского начальства. Уехали на Запад перед приходом Красной Армии, бросив все.

Во многих квартирах осталась не только мебель, но вся посуда, разные принадлежности. В одной из них я первый раз в жизни видел электрический холодильник...

Последние два дня ночевал на старом месте, в казарме. Забрал вещмешок, чемодан, и шофер начальника, дослуживающий с нами последние дни, перевез меня на новую квартиру. Это две маленькие комнаты, первая проходная, в ней голландская печь. Крохотная кухонька с бездействующей плитой. Уборная, в которую тепло из комнаты не проникает.

Оказывается, сюда берут на работу и нашего гражданского переводчика Митю Огородникова, он теперь будет, как это здесь называется, вольнонаемным. Его начальнику капитану Петровскому разрешили не переселяться, он останется в своем барском особняке. Наверное, чтобы поближе к комендатуре города. На Митю это разрешение не распространяется, ему велено селиться в ту же квартиру, что и мне. Мы сразу решили ставить обе кровати в дальней комнате, а проходная пусть будет «гостиная».

Утром пришел на работу. Вахтер в пограничной форме

поставил меня в сторону, пока проходили сотрудники с пропусками, и долго ворчал — искал мою фамилию в напечатанном на машинке списке. Нашел, пропустил.

Все здесь не похоже на «Смерш». Там, как ни крути, а рядом подвал, капэзэ, тюремные камеры с запертыми в них людьми. Арестантская кухня и уборная, куда водят дважды в сутки (и очень редко — «при крайней необходимости»). С сопутствующими всем этим устройствам запахами. А здесь — самый настоящий замок — с ударением на первом слоге. Сотня, наверное, если не больше, комнат. Вокруг парк за высокой каменной оградой. Никаких арестованных: тюрьма в другом месте (чуть не в самом центре города у всех на виду). Отдел, который занимается допросами и называется следственным, там при тюрьме и находится. Арестованных из «Смерша» увезли туда, и наши оба следователя уже несколько дней ходят на работу в эту тюрьму. А остальные офицеры — сюда, в Оперсектор. Сюда же перевезли их документы, секретные папки с делами.

Мне отведен письменный стол с креслом в большой комнате, где работают секретарь-машинистка и один из оперуполномоченных. Мебель здесь почти вся старинная, явно от прежних хозяев.

И в первый же день службы на новом месте — неожиданная новость. Приговаривая «ой-ой...» и пожимая плечами, то ли неодобрительно, то ли ехидно, секретарша объясняет, что лейтенант Куликова с нами больше не работает! Наши начальники сумели избавиться от Ольги Ивановны хитрым способом — в Оперсекторе ее назначили в другой отдел.

Под вечер в субботу приказали: завтра к шести утра — «при полном боевом» (значит, с оружием) и в военной форме, пуговицы и сапоги чтобы блестели: особо важное задание! Автомат я сдал коменданту «Смерша» перед уходом сюда, теперь мое «табельное» оружие — тяжеленный пистолет «ТТ».

Затемно пришли на станцию железной дороги, благо она отсюда совсем близко. Говорят, именно сюда, к вокзалу, больше похожему на кукольный домик, пришел в июле сорок пятого, когда была Потсдамская конференция, секретный поезд из Москвы. И вроде бы дача, где останавливался Сталин, тоже была где-то неподалеку. Хозяйство на станции давно уже немецкое, но сегодня полно наших военных. По первому пути подкатился к перрону странный поезд: два или три спальных вагона, вагон-ресторан, багажный и рефрижератор. Вычищенный до блеска паровоз. Второй путь свободен, на третьем стоит поезд, тоже короткий, но из обыкновенных вагонов, здешних. В одном из них

нам и велели размещаться.

Кто-то из начальства разъясняет задачу. Сюда прибудет из Москвы товарищ Молотов — министр иностранных дел, заместитель Сталина. Он едет в Париж на совещание с министрами из Англии, Франции и Соединенных Штатов Америки, они там решают важные послевоенные дела. А поезд, который ждет товарища Молотова, будет охранять до границы американской зоны Красная Армия. И конечно, госбезопасность. По всей дороге расставлены военные посты, все стрелки будут «защиты», у каждой дежурит немецкий стрелочник и с ним — советский офицер. А мы поедем перед поездом товарища Молотова: проверять дежурящих и установку стрелок.

...На первом пути грузят в холодильный вагон продукты, показываются повара, одетые в белое и в колпаках. Расхаживают по перрону какие-то важные люди в гражданском. Присматривает за всей этой суетой и командует незнакомый генерал.

Ждали мы долго, замерзли.

А через несколько часов примчалась откуда-то шикарная легковая машина, из нее вышел молодой генерал и сразу махнул рукой тому генералу, который распоряжался у поезда. И через несколько минут нас всех отправили «по домам». Сказали, что прилетевший из Москвы в Берлин товарищ Молотов отдохнул на аэродроме и полетел дальше — в Париж. Погода была летная...

Готовили тот поезд на случай плохой погоды или для отвода глаз — чтобы обмануть тайных врагов, которые могли бы покушаться на товарища Молотова, — этого нам не сказали.

Каждый божий день мне приносят бумаги на немецком языке, которые надо перевести на русский. Уже привычные рукописные — это «агентурные донесения». Между прочим, вовсе не обязательно доносы. Там могут писать о самых разных вещах. Вплоть до совершенно невинных, содержание которых поначалу приводило меня в недоумение. Например, нечто о производстве красителей. Со всяческими подробностями и мало понятными деталями. Кто, что и по чьему заказу изготовил, когда и куда отправил или собирался отправить. Какой в этих описаниях смысл, мне не говорят. И зачем это нужно государственной безопасности, я не знаю.

Не понимаю, но прилежно перевожу. Это гораздо труднее, чем было в «Смерше», потому что во многих таких вещах я, естественно, совершенно не разбираюсь. Через несколько дней кто-то подсказывает, что здесь есть словари, правда как бы в «частной собственности» — у переводчиков другого отдела. К ним надо постучаться, зайти и попросить.

Могут спросить зачем, посмеяться над моей

неискушенностью — но словарь одолжат.

А иногда текст бывает похож на скучный доклад «О международном положении». (Ну, не совсем международном, а в Германии.) Мне кажется, что в нем нет ничего интересного или секретного, но чаще всего именно такие бумаги требуют «очень срочно, бросай все и гони!».

Был случай, когда переводил я такой доклад всю ночь, и на всю ночь оставалась печатать мой перевод машинистка. Нам сказали — надо, чтоб было готово утром к приходу генерала. Получилось двадцать страниц на машинке, часов в семь утра я в них еще исправлял ошибки, свои и машинистки...

Когда начался рабочий день, отпустили поспать. А зачем генералу было нужно это «международное положение», я так и не понял.

Наверное, нечто вроде «вервольфа» в то время все же бывало. Вот такая операция происходила однажды.

С вечера нас, человек тридцать или сорок наверное, тайно отправили в другой город, километров за сто. На двух крытых грузовых машинах (и легковая с начальством). Тайно и в том смысле, что мы сами не знали, куда и зачем. Приехали в тот город поздно ночью. В тамошнем «отделе» был устроен инструктаж: предстоит арест большой группы, всех надо брать одновременно и неожиданно. Нас вызывали по списку (значит, заранее подготовленному), в каждой группе обязательно — переводчики здешний офицер. Перед рассветом группы разошлись по адресам. Офицер из комендатуры того города и двое солдат должны были стоять снаружи. Так сказать, «оцепление», чтобы тот, за кем мы идем, не мог скрыться через другой выход или через окно.

Несмотря на кажущуюся детективность описания, так и получилось: когда мы постучали в дверь назначенного дома, в одном из окон с другой стороны показался полуодетый молодой человек и стал выбираться наружу. Солдат наставил на него автомат и скомандовал, наверное, «Стой, стрелять буду!». Дальше понятно.

Каждая группа приводила или привозила своего задержанного в «отдел»; куда их отправили и что с ними было дальше, я не знаю.

Гражданская жизнь к концу сорок шестого года уже понемногу оживала. Например, в городе открылось кино, в котором по вечерам крутили в основном советские фильмы. Или совершенно безобидные (теперь сказали бы — мыльные) старые

немецкие комедии. А совсем рядом с Оперсектором, где кончалась высокая каменная ограда дворянского замка, открылся газетный киоск. И там каждое утро продавалась вчерашняя газета «Правда» из Москвы и еще — начавшие недавно выходить немецкие газеты. Они были из трех берлинских секторов — из английского «Telegraf», из американского «Der Tagesspiegel» («Зеркало дня») и советская «Neus Deutschland» («Новая Германия»). Потом прибавилась еще газета из французского сектора. Рассказывали и рассуждали они о разных вещах, чаще всего об одних и тех же — но совершенно по-разному.

И я повадился их все три по утрам покупать и читать. Это было очень интересно, потому что я узнавал «другую», иногда очень даже непохожую на советскую, точку зрения. И к тому же хорошая практика по языку — грамотные тексты, латинский шрифт. Не то что сочинения наших «источников информации» да еще если кто-то пишет готическим шрифтом! Рукописный готический — это, как правило, нечто немыслимое.

Но не тут-то было...

Про газеты узнал блюститель политической нравственности капитан Петровский и стал меня поучать, что я не должен читать «буржуазную прессу». Я возражал, что, во-первых, это пишут немцы в стране, которую мы теперь оккупируем. Разве нам не надо знать, о чем у них говорят и пишут? А во-вторых, если даже это американское влияние, «вражеские происки» и прочее, то все равно полезно знать, чего хотят «враги»!

Петровский же гнул свое — это вредно, потому что пропаганда буржуазных взглядов! И конечно, настучал. Кому — начальнику нашего отдела, или прямо в кадры, или еще кому-то — не знаю, но только Зубов вызвал меня и велел газет больше не покупать. («Если надо будет про что-нибудь специально прочитать, я вам скажу. А так — воздержитесь...»)

На том и закончилось мое первое знакомство с западной прессой, «прислужницей империализма».

Здесь уже есть представительства от разных министерств из Москвы. Они знакомятся со здешней техникой, налаживают работу немецких лабораторий, конструкторских бюро и тому подобное. Наверное, с очень простой целью — использовать результаты. Это совершенно гражданские люди, начальство или просто инженеры, переодетые перед отъездом сюда в военную форму — от майора до полковника. (Довольно скоро один за другим они ее перестают носить и ходят в гражданском.) Все они вместе называются у нас «совколонией» — советской колонией. В их учреждениях, в конструкторских бюро и лабораториях

работают уже и немецкие специалисты. Обслуживающий персонал тоже, конечно, из местных.

А что, если зловердные американцы завербовали кого-то из них в шпионы (а проще — в свои осведомители) и хотят прознать, чем это здесь занимается советское учреждение такое-то? А то, что таковых надо выявить. Путем оперативной разработки. По этой причине моя, уже привычная, работа теперь усложняется.

Переводы с немецкого — это, может быть, и не просто, особенно если про какую-то незнакомую технику. Но это — цветочки. А ягодки — это когда приносят русский текст, который надо перевести на немецкий... (Приносившие или сами не знали толком, зачем это нужно, или не имели права мне это объяснять.) Но поскольку в таких случаях обычно говорилось: «Чтоб нельзя было отличить!» — то что мне оставалось, как не предположить, что его хотят кому-то выдать за настоящий немецкий? Чтобы тот, кто его будет читать, не понял, что ему дурят голову. Ох, сильно я теперь сомневаюсь, что эти наши художества так уж трудно было распознать...

Принесли мне однажды отпечатанные по-русски листки с описанием устройства какого-то фотоаппарата. Велели перевести на немецкий. Текст там был по пунктам, «надписи к стрелочкам» — так я тогда воспринял по своему техническому невежеству экспликацию к чертежу, изображавшему детали аппарата. Безуспешно покопавшись в словаре, я взвыл: пошел к начальству и сказал, что не могу. «Как так не можешь?» — «Не знаю таких слов, не понимаю, что они означают. Даже и по-русски не все понимаю, вот сами посмотрите!» Опер, который принес эту штуку, стал злиться. Благоволивший мне обычно М.Ф. на этот раз тоже осwirепел, кричал, что меня надо под арест на десять суток. В конце концов начальник отдела Александр Мефодьевич Зубов стал сам читать это описание, глянул на «картинки», почесал в затылке и сказал: «М-да!»

Наказания не последовало, хотя задание осталось невыполненным.

Из письма домой.

«Здравствуйте, мои дорогие! Во-первых, хочу вам сообщить, что отправил вам свои новогодние подарки — две посылки. В одной из них: черный отрез на костюм маме, синий домашний костюм и вязаная кофточка бабушке, какой-то отрез неопределенного цвета и качества и две пары туфель. Во второй четыре пары

чулок и две пары теплых носков, дамский плащ, два дамских джемпера. Еще в каждой посылке по паре дамского белья...»

Как это понять, и откуда у младшего сержанта «четыре пары чулок и два дамских джемпера»? Объяснение — в другом письме маме и бабушке:

«...Мне очень приятно, что вы довольны моей посылкой. Как раз сегодня в обеденный перерыв собираюсь ехать в наш универмаг и получить промтовары — карточка этого квартала у меня еще почти целая... Вообще — мое, так сказать, материальное положение очень хорошее...

Для занятий (самостоятельных) и чтения времени, правда, не особенно хватает, но все-таки за последние месяцы я одолел «Клима Самгина», «Хождение по мукам» и «Американскую трагедию» и еще «Анну Каренину» на немецком языке. Только что получил работы с заочных курсов...»

Заочные курсы — это «Ин-Яз». Вместе с несколькими другими переводчиками я теперь там прилежно учусь — выполняю и отсылаю в Москву письменные задания. А универмаг, промтовары и «карточка», она же «лимитная книжка», — это признак моего «материального положения» на переводческой (вообще-то офицерской) должности. Так нас здесь содержит советская власть. Вещи из универмага явно не отечественного происхождения. Может быть, уже работали снова какие-то немецкие фабрики, точно не знаю.

...Присланное в посылке мама по большей части продаст, а бабушка купит на вырученные деньги продукты — там, дома, жизнь пока что не слишком сытая.

Меня переселяют. Кто-то нажаловался на подполковника Зубова: работать в одной комнате с секретарем отдела переводчику не положено, я не должен знать тех секретов, с которыми имеет дело секретарь. В общем, справедливо. И меня переводят в комнатку на другом этаже, где уже работает переводчик из другого отдела. Мне кажется, что так секретность нарушается даже больше, потому что о других отделах знать не полагается вообще ничего. Но наверное, по документам

считается, что переводчики посвящены только в какую-то «малую секретность». Просто секретно, но еще не «сов. секретно». Ну ладно.

На новом месте нас уже трое, все из разных отделов. Вернее, двое из отделов, а третий — из какого-то совсем таинственного отделения, про которое мы на самом деле ничего не знаем. (Про другие, хотя это считалось как бы неизвестным, — знали, даже про разведотделение, а про это — нет.) Их переводчик Валя Фридман попал в Оперсектор со сборного пункта демобилизованных — там искали знающих немецкий язык и предлагали им службу в «органах» на правах вольнонаемных сотрудников. Прибыл к нам Валя во всем солдатском, только уже без погон, чуть не на следующий день сменил гимнастерку на серый «в яблоках» костюм и почувствовал себя явно в своей тарелке. Быстро со всеми перезнакомился, явно нравился девушкам. Хорошо играл в волейбол...

Мы с переводчиком из другого отдела бывшим студентом Пашей быстро заметили, что рукописные бумажки, которые Валя приносит после походов в город со своим начальником-капитаном, он переводит очень уж подолгу. И все время, чертыхаясь, разыскивает что-то в словаре. Но в чужую работу, да еще такого секретного отделения, заглядывать не полагается, и довольно долго мы помалкивали.

Все чаще Валя возвращался от своего капитана, которому относил написанный перевод, в явном огорчении и, что называется, сильно чесал в затылке. И однажды, видя, как он ищет в словаре слово за словом, мы рискнули спросить — Валя, а как ты, вообще-то говоря, делаешь перевод? Как обходишься с разными оборотами, иносказаниями? (Наверное, я уже знал в то время и слово «идиома»). Может быть, от Паши, который до войны учился в университете.)

А Валя сказал нам, что переводит он очень просто. «Читаю слово, если знаю — пишу его по-русски, потом беру следующее. Если не знаю — ищу в словаре. Если оно там есть — пишу по-русски. Что тут особенного?»

«И как, получается?» — поинтересовались мы. «Не всегда, — признался Валя. — Чего-то не вяжутся, бывает, эти немецкие слова». — «И что же ты тогда делаешь?» — «Я иду к капитану, — гордо сообщил Валя, — и объясняю ему, что немец написал какую-то чепуху, глупости!»

...Несмотря на немцев, писавших чепуху, и доверчивого капитана, Валью Фридмана очень скоро откомандировывали домой; родом он был из белорусской Гомельской области. Прощаясь, Валя горестно качал головой. «Эх, не надо мне было

судя соглашаться. Я же им говорил — я не переводчик, я еврей!»

В Оперсекторе появился еще один заместитель генерала — подполковник Кочурин. Говорят, его прислали из Москвы. Чем он занимается, мне неизвестно, во всяком случае — не нашим отделом.

Однажды не оказалось на месте кого-то из переводчиков, и мне приказали ехать с подполковником «на задание», а проще — на встречу с осведомителем. Было это явно по части другого отдела, о делах которого мне знать не полагалось; т.е. по какой-то причине начальство решило нарушить правила.

Мы приехали (естественно, в гражданской одежде) на машине с шофером в какой-то маленький городок. Дальше довольно долго шли пешком. И пришли в мастерскую художника, где все было заставлено и увешано картинами и рисунками. Я такое видел впервые в жизни. А осталось в памяти, что разговор с художником был совсем не об искусстве, а о каких-то политических людях и делах. Много лет спустя, когда уже были ГДР и ФРГ, «наша» Восточная и «их» Западная Германия, и даже после объединения в 1991 году, не раз встречал в газетах фамилии людей, о которых говорилось тогда в мастерской у художника...

Когда шли обратно, подполковник спросил меня про немецкий язык, похвалил за то, что после освобождения был в армии. Потом разговор перескочил на политику. Он сказал, что раз я был так долго оторван от Родины и от правильных политических знаний, то как это важно теперь — политическая учеба. В то время я учил «Краткий курс истории ВКП(б)», где говорилось про диктатуру пролетариата и про будущий коммунизм. И спросил подполковника, поскольку он был явно самый главный из начальников по части политики, с кем мне приходилось разговаривать, — я его спросил про одно свое соображение.

А именно: вот в истории партии сказано, что при коммунизме государства не будет. Все будет делаться и управляться само собой. Но там же сказано, что не вдруг сразу наступит коммунизм, а государство будет отмирать постепенно. Значит, разные государственные органы отомрут не сразу? Так сказать, по очереди? Он подозрительно посмотрел на меня, но кивнул головой утвердительно. Да, мол. «Вот у меня и вопрос в связи с этим. Раз карательные органы — острейшее оружие диктатуры пролетариата, то они, наверное, первыми и отомрут?»

Подполковник сильно нахмурился и сказал, что это полная чушь. Все наоборот! Что пребывание в Германии все-таки на мне

плохо сказалось, что пока еще я политически неграмотен. Чем ближе будет коммунизм, тем больше коварные враги будут нам стараться напакостить! Значит, тем сильнее должны быть «органы». (Теперешнее слово «правоохранительные» в те времена известно не было, во всяком случае у нас не употреблялось.) А мне надо лучше вдумываться в смысл истории партии. «Я скажу парторгу, чтобы он проверил!»

Парторг, старший лейтенант Г.Л., был умница и добрый, никакого втыка от него мне не последовало.

Однажды под вечер в нашу комнату заглянул редкий гость — Митя. Обычно он находился где-то в городе с Петровским по их делам. (Из чего, кстати, я заключил, что комендатурой наш отдел по-прежнему интересуется.) Поздоровался, важно сказал, что их с Петровским вызвали — к кому ты думаешь? К генералу! Вот, мол, какие у них важные дела.

Ну ладно.

Поздно вечером я вернулся с работы домой и лег спать. Митя еще не было, к чему я привык: он нередко оставался у Петровского, никого это в общем не интересовало, хотя и считалось, что Митя живет не в особняке, а здесь.

Проснулся ночью от каких-то звуков, открыл глаза. И понял, что на своей кровати сидит Митя, одетый, и тихо матерится. Я решил, что это он спяну, такое уже случалось.

Оказалось — черта с два, гораздо хуже. Повторив много раз, что все это «только между нами», Митя стал рассказывать...

Через какой-то другой отдел большое начальство узнало, что у хозяйки особняка, где они с Петровским квартировали, собираются важные и богатые немецкие «бывшие». И что хозяйка — не просто богатая молодая дама, а то ли графиня, то ли еще что-то в этом роде. А гости, в том числе ее знатная родня, приезжают к ней из западных секторов Берлина и ведут там некие беседы, содержание которых очень интересуется нашего генерала.

«И что же тут такого? — удивился я спросонья. — Вербовать кого-то будете (про подслушивающие устройства мы тогда не знали, а может быть, их и не было в нашей конторе)». Митя в ответ обозвал меня известно каким словом и сказал, что его самого, наверное, теперь «завербовали». «Это как же так?» — «А так, — еще раз матюкнувшись, мрачно ответил Митя, — что она со мной спит, а они узнали! И теперь мне велено войти в доверие к тем, к ее родне!» Еще он сказал, что на него, Митю, очень надеется сам генерал. Тут в Митином голосе послышалась некоторая гордость от важного задания, которое он получил.

Все это было здорово интересно. Но конечно, бранился Митя

не зря: хорошо понимал, что попал в непростой переплет...

Еще про это самое «совершенно секретно». У нашего начальника подполковника Зубова ужасный почерк. Бывало, что утром он меня вызывал, запирали дверь, показывал на листок бумаги с каракулями и мрачно спрашивал: «Вот я тут вчера ночью записал... Вы можете это прочесть?» Иногда удавалось.

А однажды, вскоре после того, как меня переселили из комнаты секретаря, начальник велел мне прочесть секретную бумагу — правильно ли там все с грамматикой и тому подобное. Потому что не все оперуполномоченные умели верно излагать факты или соображения на хорошем русском языке. Сам же начальник хотя красиво сочинять не очень умел, зато видел, где что не так, очень даже хорошо. Чувствовал и ценил грамотность. О пишущих с ошибками операх не раз презрительно говорил, что вот-де какой грамотей — «в слове парикмахер последний слог с большой буквы переносит!».

Постепенно получилось, что мне стали поручать писать бумаги со специальным секретным названием: «спецсообщение». Сочинял я их по черновикам, где говорилось о вещах, про которые я ничего не знал и не должен был знать. Для такой работы начальник запирали меня на ключ и приказывал — на стук в дверь не отвечать.

Те, у кого начальство брало эти черновики, об этом, наверное, догадывались. Очень может быть, что и докладывали «кому следует».

Сведения, из которых потом возникали почти все наши дела, брались, естественно, не из воздуха. А от негласных информаторов, наших секретных осведомителей, которых в обществе принято называть стукачами. Теперь это модное слово, склоняют его направо и налево; дескать, стукачи — это такие мерзкие типы, что-то вроде застреленного благородным Штирлицем агента Клауса.

Злодеи, конечно, встречаются. Ну, такие вот универсальные «активисты». Действуют из корысти, зависти, просто из горячего желания сделать гадость ближнему. Жаждают «справедливости» — чтобы кому-то было хуже, чем им. Насколько могу судить, даже в этом не самом благородном деле — они в абсолютном меньшинстве. Один такой появлялся время от времени у проходной Оперсектора и пытался совать выходящим кипу бумажек, в которых, как он уверял, перечислены все «партайгеноссе» ближайшей округи. Был поразительно похож на агента царской охраны из советских фильмов конца тридцатых.

Совсем другое дело — искренне убежденные. Это были отсидившие в концлагерях члены компартии, или чудом уцелевшие германские солдаты-дезертиры, или штрафники, осужденные военным судом за «разлагающую пропаганду», т. е. за высказанные сомнения в победе рейха или гениальности фюрера. Многие из них считали тайное сотрудничество с нами своим святым долгом. Немецкие коммунисты знали, конечно, и формулу про то, что «революции не делаются в белых перчатках».

Остальных же, а их было явное большинство, приносить информацию просто вынуждали. Разными способами, не мытьем, так катаньем, кого посулами, а кого и угрозами. Постигала человека эта незавидная участь чаще всего по несчастью. Или по его слабости. Попробуй-ка сопротивляться власти, которая требует от тебя какой-то малости, к тому же еще чего-то обещает. Притом власти чужой, военной. Ей ведь с тобой расправиться — что раз плюнуть!

Вам приходилось? Если нет — не судите.

Все, что с этим связано, — «обращение» человека в осведомители, тайные встречи с ними в условном месте в назначенное время, переводы их собственноручно (это обязательно!) написанных сообщений — такая была в то время моя обычная работа. Случалось и так, что наш «знакомый» не появлялся и надо было разузнавать, куда и почему он пропал. Не сбежал ли, упаси Боже, в американскую зону. Или надо было зачем-то узнать, живет ли на такой-то улице некий N. И не вернулся ли из плена L?

Если другого способа не находилось, посылали переводчика.

Поначалу, это было еще в «Смерше», я пытался спрашивать М.Ф., как мне себя вести и что говорить. Ведь и дураку ясно, что просто так не явится советский солдат узнавать, как бы это ему повидать пожилого (других после войны еще почти не было) господина N. Гвардии капитан, а потом, уже в Оперсекторе, майор похохатывал или рычал — в зависимости от настроения. «Кто по-немецки может — я или ты? Одевай гражданское и иди. Что хочешь, то и выдумывай!»

Русский молодой человек в гражданском, хорошо одетый — это каждому немцу будет понятно, кто он и откуда. Значит, надо говорить с ними пусть самыми простыми фразами, но «как на родном языке».

Несколько раз возвращался я с таких заданий и докладывал о выполнении, страшно собой гордясь: сошло благополучно, меня не раскусили! Увы, не всегда. Однажды такой вот пожилой собеседник спросил, прощаясь: «Ну ладно, если он (кем я

интересовался) здесь объявится, куда прийти сказать? В Ge-Pe-U, на такую-то штрассе?»

Почему-то из всех названий бывшего НКВД немцы чаще всего знали это.

Легко себе представить, что началось в нашем учреждении со всеми его строгостями, когда однажды исчез сотрудник. Накануне был у кого-то в гостях, что-то там, как потом шепотом передавали, ужасное говорил — о похожести советской власти на фашистскую в Германии. Когда он вдвоем с другом рано ушел, присутствовавшие были, естественно, только рады.

Потом уже вспоминали, что раньше было известно — спит Саша на голой кровати без одеяла, утром и вечером поднимает гири, не пьет и не курит. С чего бы это? Может быть, он даже записку оставил, не знаю. В общем, быстро стало ясно — сбежал на Запад. (Очень может быть, что это был первый такой беглец «из органов»; о нем в газетах не писали и по радио, как бывает в теперешнее время, не рассказывали.) Через несколько дней разведали, что пропавший находится в лагере для «перемещенных лиц» в Западном Берлине, общается там с американскими офицерами и ждет отправки в западную зону. «На улицу» не выходит, так что изловить его вряд ли удастся. Узнали и про какую-то его немецкую подругу, бросились за ней. Наверное, не нашли.

Не стало и того парня, с которым они вместе ушли с вечеринки, — его арестовали и увезли допрашивать куда-то в другой город. Все у нас об этом знали, но никто ничего не говорил; строгости пошли такие, что всем стало не по себе, а нам, переводчикам «с плохой анкетой», — особенно.

В то время разгорался начавшийся как бы из ничего — с первомайской вечеринки — наш бурный роман с переводчицей Инной. Со ссорами и примирениями, непреодолимыми препятствиями и неистовыми страстями. (Сказать об этом что-нибудь вразумительное с сегодняшней колокольни не умею.)

Оперсекторское общество делилось довольно определенно на «классы», а правильнее будет сказать — даже касты. Общение между ними происходило в пределах службы, в остальном же не поощрялось. Во всяком случае, следователя или оперуполномоченного могли запросто выгнать с работы или, по меньшей мере, перевести в другой город с понижением за амурные с переводчицей. А вот, допустим, с секретаршей — пожалуйста...

Мы с Инной принадлежали к одному «классу», так что такого рода нареканий наш роман вызвать не мог; вызывал только

зависть: Инна была если и не красавица, то, уж во всяком случае, необыкновенно эффектна. Высокая, стройная, всегда с иголки одета. Умница, воспитанная, остра на язычок и к тому же много чего знающая как раз о тех вещах, в которых большинство нашего брата, от шофера до высокого начальства включительно, были полными невеждами. Литература, например. И даже правила приличия.

Жила в большой квартире со своей мамой, с которой они вместе были в лагере в Германии. Мама же работала теперь у генерала, начальника Оперсектора, дома — личной поварихой.

...В тот день, еще до обеда, я переводил какую-то очередную бумагу, когда зазвонил телефон. Возбужденный голос Инны: «Миша, я уезжаю!» — «Куда? С чего вдруг?» — «Совсем уезжаю, сегодня! Приходи сейчас, иначе не увидимся...»

Я пошел к подполковнику Зубову и спросил разрешения уйти — «помочь собраться и проводить девушку». Начальник понимающе покачал головой и разрешил. Я выскочил из проходной на улицу. И сразу понял, что происходит что-то необычное. Множество переводческого народа в спешке расходилось по домам. При каждом — сопровождающий. В большинстве — те, с кем переводчик или переводчица работали. И за Инной уже ходил следом ее начальник-следователь, и было хорошо видно, что чувствует он себя в роли соглядатая не в своей тарелке. Мама Инны уже собирала вещи, а в коридоре их квартиры торчал кто-то из генеральской свиты. То есть они находились уже как бы под стражей...

Дали машину, мы с Инной и следователем поехали покупать какую-то тару для вещей. А потом она отправила меня восвояси — иди, все равно расстаемся, ничего теперь не изменишь. Я зашел домой, потому что из наших с Митей окон были видны окна Инниной квартиры. Дома у нас оказался тоже полный разгром и переполох: кем-то охраняемый Митя громко сквернословил и собирал пожитки.

Так началась, чтобы закончиться к вечеру, первая «эвакуация», действо, нам до тех пор совершенно неизвестное, а в теперешние времена не раз описанное авторами посольско-шпионских воспоминаний.

Часов в шесть вечера пришли грузовые машины. Чуть не половина нашего переводческого народа погрузилась в них. Остальные сгрудились поблизости. Гнетущая тишина стояла... Проследовал с бумагами комендант, убежал (с докладом начальству?) и вернулся начальник отдела кадров.

Раздалась команда трогаться. И машины покатили куда-то на станцию, к эшелону. Была ли с отъезжающими охрана и если

была, то какая — не запомнил.

Тем летом мы близко подружились с переводчиком-лейтенантом Марком Борисовичем и свободное время, субботние вечера и воскресенья, проводили вместе. Вечера — к сожалению, за бутылкой, к которой он норовил добавить вторую, утверждая, что пить ее всю не обязательно, но что одной бутылки двум серьезным военным мужчинам — мало...

Как-то вечером заходит наша приятельница лейтенантша Люся. Предложили и ей рюмку. Люся кокетливо отвечает: «Мальчики, а вы знаете, что в высшем обществе пьют кофе с коньяком?» Я не знал, а Марк сказал, что где-то об этом читал. Хорошо бы попробовать...

Коньяка, правда, у нас не водилось. Решили, что можно и с водкой. Тем более что она там была почти всегда цветная и чем-то подслащена. А кофе у Марка был, правда не настоящий, а какой-то суррогат, оставшийся от немецких хозяев его квартиры. Мы стали варить эту дрянь в алюминиевой кастрюльке. А сколько надо «коньяка», т.е. в нашем случае — водки, и сколько кофе — Люся не знала, а мы с М.Б. предположили, что, уж наверное, не меньше половины. Согласились на треть.

Посомневались — когда ее добавлять? И влили водку, когда бурая жидкость в кастрюльке закипела. Цвет ее от этого не изменился, а по квартире пошел весьма сильный сивушный запах. Разлили жидкость по чашкам, попробовали пить...

Кто не подвержен обморокам, может повторить наш опыт. Хоть кофе теперь настоящий, а водка, наверное, получше тогдашней, подозреваю, что результат будет не очень отличаться от нашего.

Лейтенант Марк Борисович Р., как и все офицеры (или, может быть, почти все), был партийный. Но в отличие от других — как бы «не до конца»: не член ВКП(б), как тогда именовалась КПСС, а всего лишь кандидат в члены партии. Он был на фронте командиром пулеметной роты, и там его принимали в кандидаты. А работать переводчиком его послали после войны, потому что он хорошо знал немецкий язык.

Так вот, по всем партийным правилам ему давно вышел срок становиться членом партии. Были какие-то заминки по причине не вполне пролетарского происхождения кандидата, но оно вроде бы компенсировалось боевым прошлым и орденом Красной Звезды. И Марка должны были вот-вот принять в полноправные члены.

Не тут то было.

На партийном собрании ему пришлось объяснять и каяться:

почему, записанный при рождении Мордухаем Берковичем, он оказался по военным и комсомольским документам Марком Борисовичем. А также почему не написал в автобиографии, что при нэпе его папа то ли торговал фуражками, то ли имел мастерскую, где эти фуражки шили. Разумеется, все это не с потолка взялось, а пришло в секретных бумагах соответствующих «проверок». Однако же проверки — проверками, а голосует собрание. А оно могло повернуться по-разному.

Так вот, не приняли Марка Борисовича в члены коммунистической партии большевиков. И немало усилий приложила к тому «наша», из «Смерша», лейтенант Куликова. В отделе, куда ее в Оперсекторе назначили переводчиком, она не ужилась; перевели ее опять — теперь на какую-то чисто канцелярскую работу. И Ольга Ивановна стала отводить душу в «общественной деятельности». Кого-то честила за недостаточную бдительность, кому-то тыкала в нос «анкетными данными» и тому подобное. В общем, многим попортила по меньшей мере настроение.

Ну и задала она жару кандидату в члены партии лейтенанту Р.! Как же, мол, можно доверять утаившему от партии свое происхождение? Да еще записавшему в документах имя-отчество не те!

Собрание, правда, эту пилюлю немного подсластило: Марку Борисычу продлили кандидатский стаж. (На самом деле — все равно что не приняли в партию.)

Зато спустя какое-то время многие, кому пришлось иметь дело с Куликовой, порадовались: кадровое начальство почему-то заинтересовалось личной жизнью Ольги Ивановны. И прознало, что бдительная лейтенант Куликова еще со времен «Смерша» состоит в нежной дружбе с фельдшером Д. Фельдшер же хотя и вольнонаемный, но из бывших пленных. А значит, числится по кадровой табели о рангах репатриантом. Крутить с ним любовь партийной лейтенантше на секретной работе — не допускается... И Ольгу Ивановну откомандировали из Германии куда-то в СССР.

Разумеется, все эти лазанья чужими лапами в личную жизнь были и тогда любому нормальному человеку, что называется, поперек души. И все же поглазеть, как будет уезжать лейтенант Куликова, собралось целое общество. Слышались смешки и довольно соленые шутки.

Что-то не вышло с полагавшейся по такому случаю грузовой машиной, и Ольга Ивановна покинула нас, восседая поверх своего многочисленного имущества, погруженного на телегу. Тащила ее здоровенная лошадь.

Высоко в небе днем и ночью, не утихая, гудят моторы. Если смотреть от нас, снизу, то самолеты очень похожи на виденные много раз со двора «шарашкиной мастерской» в сорок четвертом, когда американцы летали бомбить Германию. Только теперь машины идут не строем, а по одной. Самолет приближается с запада, проходит — кажется, что прямо над нами, — через зенит и начинает снижаться. Идет на посадку в Западный Берлин. А высоко в небе уже появляется следующий. И так непрерывно, днем и ночью... Я сплю крепко, мне ничего, а многие жаловались: мешают спать, когда же им запретят летать, куда смотрит начальство? Нам утром на службу идти!

Это — воздушный мост. Начало «холодной войны», которая будет продолжаться чуть не сорок лет.

...Красная Армия занялась «ремонтom» железной дороги между западной зоной Германии и Берлином; вчерашним союзникам вежливо объяснили, что доступ в город, увы, «ограничен»... И тогда американцы стали снабжать Западный Берлин по воздуху.

Нас всех собрали однажды в клубе, и незнакомый лектор в гражданском костюме объяснял нам, что союзники отказываются управлять Германией вместе с нами, устраивают свои капиталистические порядки в западных зонах. А раз так... «Вы, товарищи, выполняете здесь очень важное для нашего советского государства дело, и от вас не должно быть секретом, что наша цель — вытеснить их из Берлина...» — не ручаюсь, что это дословно, но так объяснял нам «политику» важный немолодой человек, специально приехавший из Москвы читать лекции о международном положении.

А воздушный мост все гудел и гудел над нашими головами. И вызывал, несмотря на лекцию и разные служебные «мероприятия по обеспечению безопасности», недоуменные вопросы, про которые я уже понимал, что лучше их никому не задавать. Как же так — ведь только что вместе разгромили фашистский рейх, а теперь — «вытеснить их»? А как же боевое содружество? Дружба стран и народов антигитлеровской коалиции? И многие другие красивые слова, которые звучали совсем недавно?

Повторяюсь, к сожалению: то, из чего потом возникают дела, не из воздуха берется, а от осведомителей, агентов, если хотите. От тех, кого называют стукачами. Один из самых тщательно оберегаемых секретов всей этой кухни — их настоящие имена и фамилии. Но кто-то не всегда соблюдает правила секретной работы, и не все дела у него на столе перевернуты «задом кверху». Или начальник выговаривает оперу по службе в

присутствии того, кому знать, чем занимается этот опер, мягко говоря, не полагается.

И мне случалось видеть написанные вместе псевдоним («кличку», на деловом жаргоне) и имя того, кому он присвоен. Увиденное поражало еще и тем, что из него следовало: такая информация поступает про нас тоже. От товарищей по работе, откуда же еще...

И кто про меня доносил, я тоже знал.

Утром двенадцатого августа сорок восьмого года меня позвал новый начальник (Александра Мефодьевича Зубова у нас уже не было). Сказал, что просят зайти в отдел кадров, прямо сейчас. Я пошел туда, а там заместитель генерала по кадрам подполковник К. без всяких предисловий ласково объяснил: «Есть приказ замминистра откомандировать вас. Домой поедете, в распоряжение харьковского управления МГБ. Документы подготовлены, ехать надо сегодня. Понимаете...»

Очень даже хорошо понимаю: это «эвакуация», меня увольняют. (Дату знаю точно, потому что осталась запись в красноармейской книжке: «Сдан пистолет «ТТ», номер такой-то». И проставлено число.) В приемной уже возник, как полагается, «сопровождающий» — недавно переведенный в наш отдел капитан. Дали нам машину, мы поехали покупать ящик для багажа и чемоданы. Еще я успел дать телеграмму домой, что скоро буду. А капитан ходил за мной целый день как привязанный. Остался, можно сказать, без обеда...

К вечеру я собрался, попрощался с друзьями. И нас отвезли (капитану было велено сопровождать меня аж до советской границы) к поезду.

Через час или два военный эшелон въезжал на восстановленный мост через Одер. Немецкий железнодорожник держал какой-то разрешающий знак, флажок, наверное, а может, жезл. Кажется, я пробормотал: «Прощай, Германия!» или что-то в этом роде. В полной уверенности, что эта моя жизнь закончилась, что дальше настанет совсем другая. В ней уже не будет ни Германии, где я пробыл почти семь лет, ни ее жителей, немцев, у которых я был сначала невольником, над которыми был потом господином.

Очень нескоро, через двадцать лет, окажется, что это не так. Но то уже совсем другая история.

Дома встречало нас наше ведомство без особых восторгов.

Переводчица Марина Л., отправленная из Оперсектора домой через два года после меня, в числе самых последних (между прочим, это значило, что никаких подозрений о ней не было), вернулась в свой украинский городок. Курсы «Ин-Яз» она к тому времени закончила, учила второй язык, кажется английский. Стала искать подходящую работу. Учителей в школах не хватало, но Марину почему-то не брали. Наконец после долгих мытарств нашлось для нее место учительницы младших классов. И первого сентября Марина пришла в школу на первый урок.

Но урок не состоялся. Директор позвал ее к себе в кабинет, усадил, запер дверь и тихим голосом объяснил, что ничего не вышло: «сверху» ему категорически велено приказ о зачислении отменить, Марину к работе по воспитанию подрастающего поколения — не допускать. После чего директор, умный человек и добрая душа, объяснил, что ей надо делать: «Уезжайте потихоньку отсюда, и забудьте вы про Германию. И про госбезопасность вашу забудьте, пожалуйста! Ну, придумайте что-нибудь. И езжайте туда, где вас не знают...»

Марина послушалась и уехала.

Жизнь ее в другом городе устроилась. Работала в школе, окончила заочный институт. Школьники и родители ее любили. Вышла замуж за хорошего человека, родился сын. Никто из «прежней жизни» не знал ни адреса, ни телефона, ни новой фамилии Марины. Любимая подруга, с которой они вместе были в лагере и служили потом в Оперсекторе, уверяла, будто даже муж не знает, что Марина была в Германии.

В общем, несмотря на тайны в биографии, все шло хорошо. Пока...

Пока не случилось вот что. Перед очередными «выборами» в Верховный Совет пришла в тот город нормальная советская «разнарядка». Указание, что «выбирать» там надлежит женщину. И чтоб была та женщина таких-то лет, русская, замужняя, имеющая детей, беспартийная и — школьная учительница. Представить на таковую документы для высокого утверждения. Точка.

Кандидатуру местное начальство нашло быстро — известную чуть не всему городку учительницу. Русскую, замужнюю, беспартийную и так далее... Одним словом, Марину Л.

Она, разумеется, сразу поняла, что со дня на день начнется

«спецпроверка» — анкеты, запросы и прочее. Как уж она там вертелась, ложилась ли в больницу, изображала ли скандалы в семье и развод с мужем или еще что — подробностей не знаю.

Знаю только, что сумела ответить.

...Часам к двенадцати ночи прилежно, но с многозначительными перерывами (подождите в коридоре! я вас вызову когда надо!) кадровик харьковского ГБ, изумленный документами, с которыми я прибыл из Германии, добрался по анкете до предков второй ступени — бабушек и дедов. Я уже начинал злиться и сказал, что «заниматься» нам придется, наверное, до утра. Потому что я знаю и про прадедов, а одного из них даже хорошо помню.

Тот на полном серьезе собрался записывать: «Как фамилия? Состав семьи? Где проживает?» Я ответил, что давно не «проживает», а всю семью уничтожили в городе Феодосии каратели из СС. Кадровик застеснялся самую малость, но все же спросил, где прадед работал. «На табачной фабрике». — «Кем работал? — Тут в его голосе зазвучал так хорошо мне знакомый металл. — Хозяином фабрики?..»

Чего уж тут говорить! Встречал иногда на улице девушек из фюрстенбергского лагеря. Идет она навстречу, а тебя как бы не видит, потому что больше всего хочет забыть про все это. Незнание друг друга — был такой синдром у вернувшихся домой, в кого без конца тыкали пальцем и заставляли снова и снова заполнять анкету: «находился...», «где, когда и при каких обстоятельствах...». И прочие радости поднадзорной, по существу, жизни в своей стране, записавшей нас в люди уж не знаю какого сорта. Во всяком случае, ниже второго.

Продолжалось это, наверное, лет десять, если не больше. Потом стало понемногу как бы стираться. Начиная с Никиты Сергеевича Хрущева случалось даже, что старшее начальство «давало по рукам» младшему, усердствующему с анкетой. Спасибо такому начальству. В том числе, между прочим, — бывшему члену Политбюро ЦК КПСС, соратнику Горбачева, фронтовику Александру Николаевичу Яковлеву.

Товарищи мои и друзья в лагерях и в Красной Армии названы в этих записках своими именами. Фюрстенбергские и берлинские немцы — тоже, а там, где не совсем, — это оговорено. Оперуполномоченные же и иные лица в «Смерше» и Оперсекторе — нет; мало ли что и кому из них могло бы здесь не понравиться. Фамилия господина З., увезенного в девятой главе на самолете в Москву, тоже, конечно, не совсем такая. Жил он

потом в Германии; написал книжку. Теперь его уже давно нет в живых.

Обоих моих начальников, память о которых искренне чту, звали действительно Михаилом Филипповичем и Александром Мефодьевичем.

Мой старший друг Сергеев Михаил Иванович погиб вскоре после освобождения от руки убийцы. Коля-Запалка служил в Красной Армии и состоял в армейской футбольной команде. Юзик, Иос Смитс, благополучно вернулся домой и живет с семьей в маленьком бельгийском городке. Устроил там совершенно замечательный музей своего города. Его брат Фрэд, которому я предрекал Сибирь, — там же по соседству. Несколько лет назад мы повидались, обнялись.

Уцелел ли тогда, в последние дни войны сталинградец Леша, с которым прятали в шарашкиной мастерской пистолет, Иван, с которым воровали картошку, лихой Федя Кожушко, — не знаю. И бухгалтера Ивана Алексеевича, спасшего мою маму в сорок втором, мы после войны найти уже не смогли.

С шофером из «Смерша» Васей Смирновым дружили много лет, до самой его кончины. С лейтенантом-переводчиком Марком Борисовичем и лейтенантшей Люсей остались друзьями, теперь уже можно сказать — на всю жизнь. С довоенными одноклассниками, написавшими мне первое письмо в Красную Армию, — тоже.

Года три назад в Москве разговорились мы с пожилым берлинским доктором, приезжавшим сюда помогать по ветеринарной части. Рассказал он, как в последние дни войны его, тогда четырнадцатилетнего, призвали в «фольксштурм», дали винтовку и поставили «защищать Берлин от русских». Рота его была возле берлинского зоопарка «ZOO». Очень может быть, что первого мая сорок пятого года мы с ним стреляли друг в друга...

И еще одно. Лет пять назад на Франкфуртской книжной ярмарке приходил к русским стендам пожилой сутулый человек. Седой, лицо не немецкого типа, одно плечо ниже другого. С ним всегда была собака, явная дворняга, тоже очень немолодая. Наверное, не с кем было ее оставить.

Собачку звали Сашей, все вокруг ее уже знали и привечали. А хозяин дворняги разглядывал наши книжки и разговаривал с нами — на явно подзабытом русском. «Я был там у вас... О, город Харьков! Я не стрелял, нет... Я был в гражданской службе». — «А где?» — «Ну, служба. Улица Сумская, я хорошо помню!»

Меня не оставляет догадка, что это он в мае сорок второго отправил меня в Германию.

Ну, а если и так, его ли в том вина? Бог с ним! Хорошо еще, что не попал в «Смерш» или в «Ge-Рe-U».